

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

«НАУКА»

МОСКВА — 1989

Главный редактор: Т. В. ГАМГРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.	МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
АРИСТЕ П.	МАРТИНЕ А. (Франция)
ГАБЕР В. (ГДР)	МЕЛЬНИЧУК А. С.
БЕРНШТЕЙН С. Б.	НЕРОЗНАК В. П.
БИРНБАУМ Х. (США)	ПЕЛЬХ Г. (ФРГ)
БОГОЛЮБОВ М. Н.	ПОЛОМЕ Э. (США)
БУДАГОВ Р. А.	РАСТОРГУЕВА В. С.
ВАРДУЛЬ И. Ф.	ГОБИНС Р. (Великобритания)
ВАХЕК Я. (ЧССР)	СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
ВИНТЕР В. (ФРГ)	СЛОСАРЕВА Н. А.
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)	ТЕНИШЕВ Э. Р.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.	ТРУБАЧЕВ О. Н.
ДЖАУКЯН Г. Б.	УОТКИНС К. (США)
ДОМАШНЕВ А. И.	ФИШЬЯК Я. (ПНР)
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)	ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ДУРИДАНОВ И. (НРБ)	ХЕМП Э. (США)
ЗИНДЕР Л. Р.	ШВЕДОВА Н. Ю.
ЗВИЧ П. (СФРЮ)	ШМАЛЬШТИГ В. (США)
КЕРНЕР К. (Канада)	ШМЕЛЕВ Д. Н.
КОМРИ Б. (США)	ШИМИДТ К. Х. (ФРГ)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)	ШИМИТТ Р. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)	ЯРЦЕВА В. Н.
МАЖЮЛИС В. П.	

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.	КОДЗАСОВ С. В.
АПРЕСЯН Ю. Д.	ЛЕОНТЬЕВ А. А.
БАСКАРОВ А. Н.	МАКОВСКИЙ М. М.
БОНДАРКО А. В.	НЕДЯЛКОВ В. П.
ВАРБОТ Ж. Ж.	НИКОЛАЕВА Т. М.
ВИНОГРАДОВ В. А.	ОТКУШЩИКОВ Ю. В.
ГАДЖИЕВА Н. З.	СОВОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.	СОЛНЦЕВ В. М.
ГАК В. Г.	СТАРОСТИН С. А.
ДЫБОВ В. А.	ТОПОРОВ В. Н.
ЖУРАВЛЕВ В. К.	УСПЕНСКИЙ Б. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.	ХЕЛНИМСКИЙ Е. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.	ХРАГОВСКИЙ В. С.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.	ШАРБАТОВ Г. Ш.
КАРАУЛОВ Ю. Н.	ШВЕЙЦЕР А. Д.
КИБРИК А. Е.	ШИРОКОВ О. С.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)	ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волховка, 18/2. Институт русского языка,

редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

СОДЕРЖАНИЕ

Ходорковская Б. Б. (Москва). К проблеме корневого вокализма индоевропейского сигматического аориста (Вокализм сигматических образований глагола в латинском языке)	5
Откущиков Ю. В. (Ленинград). К вопросу об огласовке корня латинских сигматических форм	20
Климов Г. А. (Москва). Рефлекс индоевропейского ларингального в картвельских языках?	23
Зиндер Л. Р., Касевич В. Б. (Ленинград). Фонема и ее место в системе языка и речевой деятельности	29
Касаткин Л. Л. (Москва). Одна из тенденций развития фонетики русского языка	39
Рахилина Е. В. (Москва). Отношение причины и цели в русском тексте	46
Плунгян В. А. (Москва). К определению результата (универсальна ли связь результата и предельности?)	55
Векшин Г. В. (Москва). К проблеме суперсегментной организации стиха (Лингвостетистический аспект)	64
Чрелашвили К. Т. (Тбилиси). К типологическому изоморфизму баскского и иберийско-кавказских (грузинского, баббийского, кубачинского) языков	78
Князев Ю. П. (Ленинград). Конструкции с русскими причастиями на <i>-и</i> , <i>-т</i> в семантической классификации предикатов	83
Гуревич В. В. (Москва). Модальность, истинностное значение, референция	95

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Лихачев Д. С. (Ленинград). О готовящемся издании трудов по языкознанию И. Е. Аничкова	102
Апресян Ю. Д. (Москва). О работах И. Е. Аничкова по идиоматике	104
Гинди С. И. (Москва). Представления о путях развития языка русской поэзии в канун XX в.	120

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Щербак А. М. (Ленинград). <i>Doerfer G. Mongolo-Tungusica</i>	132
Цвиллиг М. Я. (Москва). <i>Чернов Г. В. Основы синхронного перевода</i>	136
Кондрашов Н. А. (Москва). <i>Lamprecht A. Praslovanština</i>	139
Мокиенко В. М. (Ленинград). Л. А. Булаховский и современное языкознание. К 100-летию со дня рождения	142
Бахиян К. В. (Москва), Семчинский С. В. (Киев). Дикционар експликатив ал лимбий молдовенешть	145
Попов И. А. (Ленинград). Архангельский областной словарь	150

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	154
Указатель статей, опубликованных в 1989 г.	158

CONTENTS

X o d o r k o v s k a j a B. B. (Moscow). On the root-vocalism of the Indo-European sigmatic aorist (Vocalism of sigmatic formations of the verb in Latin); O t k u p š ě i k o v J u. V. (Leningrad). Vowel-gradation of the root in Latin sigmatic forms; K l i m o v G. A. (Moscow). Reflex of the Indo-European laryngeal in Kartvelian languages?; Z i n d e r L. R., K a s e v i ě V. B. (Leningrad). The phoneme and its role in the system of «langue» and «parole»; K a s a t k i n L. L. (Moscow). A trend in the development of Russian phonetics; R a x i l i n a E. V. (Moscow). Relation of cause and purpose in the Russian text; P l u n g j a n V. A. (Moscow). On the definition of the resultative meaning of the verb (Is the link between the resultative and telic meaning universal?); V e k š i n G. V. (Moscow). Contribution to the supersegmental structure of the verse (The linguo-aesthetic aspect); C r e l a š v i l i K. T. (Tbilisi). Typological isomorphism of the Basque and Ibero-Caucasian (Georgian, Batsbi, Kubachi) languages; K n i a z e v J u. P. (Leningrad). Constructions¹ with the Russian participles in -*n*, -*m* in the semantic classification of predicates; G u r e v i ě V. V. (Moscow). Modality, truth value, reference; **From the history of science:** L i x a ě v D. S. (Leningrad). On the forthcoming edition of the linguistic works of I. E. Aničkov; A p r e s i a n J u. D. (Moscow). I. E. Aničkov's works on idiomatics; G i n d i n S. I. (Moscow). The language of Russian poetry and concepts of its development on the eve of the XX century; **Reviews:** Š ě e r b a k A. M. (Leningrad). *Doerfer G. Mongolo-Tungusica*; Z w i l l i n g M. Ja. (Moscow). *Černov G. V. Principles of synchronic translation*; M o k i e n k o V. M. (Leningrad). L. A. Bulaxovskij and contemporary linguistics. On the centenary of his birthday; B a x n i a n K. V. (Moscow), S e m ě i n s k i j S. V. (Kiev). Explanatory dictionary of the Moldavian language; P o p o v I. A. (Leningrad). The Arkhangelsk regional dictionary; **Scientific life**; Index of articles published in 1989.

ХОДОРКОВСКАЯ Б. Б.

К ПРОБЛЕМЕ КОРНЕВОГО ВОКАЛИЗМА ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО СИГМАТИЧЕСКОГО АОРИСТА

(Вокализм сигматических образований глагола в латинском языке)

Вопрос о вокализме индоевропейского (и.-е.) сигматического аориста не имеет в современной лингвистике общепринятого решения. Одни ученые следуют теории классической индоевропеистики о ступени продления, характеризующей формы и.-е. сигматического аориста активного залога и отличающей его от других образований глагола [1; 2, с. 217], по мнению же других исследователей, ступень продления не является его первичным признаком [3, с. 22; 4, с. 47—77; 5; 6]. К. Уоткинс, доказывая возникновение и.-е. сигматического аориста в сфере меди, считает первичной ступень *-e-* вокализма корня [3, с. 22—25]. К. Штрук [7] относит аорист на *-s-* к акростатически акцентированному флексивному типу и поэтому также считает первичной полную ступень его корневого вокализма. Ступень продления в формах активного залога и нулевая ступень в меди появились в сигматическом аористе, по его мнению, вторично в результате морфологических процессов и аналогического влияния корневого аориста.

Ф. Бадер [8, с. 33] считает возможной реконструкцию, по крайней мере для одного глагола (**dhē-* «класть»), двух вариантных основ сигматического аориста, которые различаются ступенями корневого огласовки и формой суффикса: I. **dhē-* с полной ступенью вокализма и суф. **-s* (вед. *dhās*, месоп. *hi-pa-des*) и II. **dhə-* с нулевой ступенью вокализма и суф. **-es* (хет. *daiš*, др.-фриг. *zδax-*). Ф. Бадер отмечает, что вопрос этот требует еще изучения.

С оценкой своеобразия вокализма и.-е. сигматического аориста связано решение проблемы его происхождения, где также нет единого мнения, и наряду с традиционным доказательством становления категории сигматического аориста в позднем общиндоевропейском языке высказываются предположения о более раннем его происхождении [9, с. 58; 10, с. 193—205; 11].

При решении вопроса о вокализме и.-е. сигматического аориста материал латинского языка привлекался мало, т. к. считается, что вокализм перфекта на *-sī*, продолжающего и.-е. сигматический аорист, совпадает, как правило, с вокализмом презенса [12, с. 592; 4, с. 57]. Однако это совпадение может быть результатом проходивших в истории латинского языка более поздних морфологических процессов. Поэтому при изучении вокализма перфекта на *-sī* необходимо отделить более поздние его формы от древнейшего пласта форм, зафиксированных в наиболее ранних латинских текстах или в глоссах. Подтверждением архаизма этих форм может служить наличие в других и.-е. языках основ сигматического аориста.

соответствующих латинским сигматическим основам. Одновременно это дает возможность контроля над вокалическими соотношениями в латинском языке, который невозможен, если сигматические формы представлены только в одном латинском языке.

Помимо перфекта на *-sī* в раннем латинском языке есть еще один тип сигматических образований глагола, это — формы типа *faxō, -is, -it, -int*. Поскольку по своей первичной функции они сходны с формами будущего II и в римской грамматической традиции интерпретировались, как правило, посредством форм будущего II, то их называют сигматическим будущим. Происхождение сигматического будущего и генетическое отношение его к сигматическому аористу спорны. В свое время Э. Бенвенист, доказывая различное происхождение сигматического будущего в латинском языке и перфекта на *-sī*, указывал на различие корневого вокализма в типе *faxō* и в типе *dixī* [13]. Поэтому параллельное исследование вокализма форм того и другого морфологического разряда необходимо для более углубленного изучения ранней истории латинского глагола. С другой стороны, поскольку формы сигматического будущего стоят вне обычных парадигматических схем и морфологических рядов, они в меньшей степени были подвержены изменениям под давлением системы, и анализ сохранившихся среди них чрезвычайно архаичных структур может дать новые данные для решения некоторых спорных вопросов морфологии и.е. сигматического аориста.

Есть еще один аспект проблемы вокализма латинского перфекта на *-sī* и его отношения к и.е. сигматическому аористу. Известно, что перфект на *-sī*, как и другие морфологические типы латинского перфекта, имеет формы только активного залога. Примечательно, что формы сигматического будущего тоже, как правило, относятся к активному залого. Но во многих и.е. языках, в индоиранских, древнегреческом, тохарских, сигматический аорист (претерит) имеет формы активного и медиального залога, которые различаются по вокализму. Каким же основам сигматического аориста — активного или медиального залога — соответствуют по вокализму латинские сигматические основы? Традиционный и единственный пример соответствия лат. *vēxī* по вокализму др.-инд. *avāksam* и ст.-слав. *věsъ*, подтверждающий ступень продления в и.е. сигматическом аористе активного залога, не раз оспаривался [3, с. 37; 4, с. 57]. М. Лойман доказывает, что ни у одного латинского глагола ступень продления в перфекте на *-sī* не может считаться первичным признаком [12, с. 593].

Задачей настоящей работы является исследование вокализма латинских сигматических основ в сравнении с соответствующими основами сигматического аориста в других и.е. языках. Для большего удобства описания глаголы распределены по классам в зависимости от структуры глагольного корня: I — корни типа *-eT*, II — корни типа *-eRT*, III — корни типа *-eR*, IV — долговокалические корни.

I класс. Корни типа *-eT*

Clepō, clepsī, clepere «воровать» (и.е. **klep-* «утаивать, воровать»). В раннем латинском языке помимо перфекта *clepsī* есть форма сигматического будущего *clepsit* [ср. текст архаического закона, который приводит Цицерон в трактате «О законах» (2, 9, 22): *sacrum ... qui clepsit rapistue* «кто украдет или похитит святыню»]. Латинской основе *cleps-* соответствует в древнегреческом языке основа сигматического аориста $\dot{\epsilon}\kappa\lambda\epsilon\phi\alpha$ «украл» с той же огласовкой *-e-* в корне. Основы же презенса рас-

ходятся: греч. κλέπτω относится к основам на *-i^c/o-, лат. *clepō* к корневым тематическим основам. Наличие в древнегреческом и латинском языках корневых имен: греч. βοῦ-κλέψ and лат. *cleps: fur* (ср. GGL V, 349, 51) подтверждает архаичность корня **klep-*.

Speciō, spexi, specere «наблюдать, смотреть» (и.-е. **spek̑-* «наблюдать»). В ранней латыни представлены формы и перфекта на -*sī* (*spexi*) и сигматического будущего (ср. Плавт «Канат» 679: *si respezes, scies* «если оглянешься, узнаешь»). Латинской сигматической основе *spex-* со ступенью -*e* вокализма соответствует в древнегреческом языке основа сигматического аориста σκεψάμενος (Od. 12, 247).

От и.-е. корня **spek-* имеется сигматический аорист в албанском языке — *paše* «я видел», но огласовка корня не вполне ясна: Ю. Покорный [14, с. 984] предполагает в сигматической основе вокализм -*o-*: *[s]pōk̑-s-, Г. Мейер [15] — вокализм -*a-*: **pas-še*. Но сам факт, что основа сигматического аориста от и.-е. **spek̑-* «наблюдать» представлена в трех и.-е. языках, позволяет считать ее достаточно древней и, опираясь на этимологическое тождество основ в латинском и древнегреческом языках, утверждать изначально полную ступень вокализма -*e* — **spek̑-s-*.

Regō, rēxi, regere «направлять, управлять» (и.-е. **reg* «направлять по прямой линии»). Мы следуем мнению тех исследователей, которые утверждают вторичность долготы *ē* в *rēxi* и объясняют ее или аналогическим влиянием корневого перфекта -*rēgīt*, еще употреблявшегося в ранней латыни, или действием закона Лахмана [3, с. 31; 4, с. 58; 12, с. 593; 14, с. 854]. Латинской исторически более ранней основе с кратким -*e* (**rexi*) соответствует в древнегреческом языке основа сигматического аориста ῥεξῆα. От того же и.-е. корня **reg-* имеются формы сигматического претерита в тохарском языке: тох. В 3 л. ед. ч. акт. зал. *rekxa*, тох. А *rakā*; начальный вокализм их подвергся значительному изменению вследствие слияния сигматического аориста с перфектом [16], но само наличие этих форм подтверждает древность сигматического аориста от корня **reg-* в и.-е. языках.

Edō, ēdi, edere «есть» (и.-е. **ed-* «есть»). В ранней латыни встречается форма сигматического будущего от корня **ed-* в комедии Плавта «Менехмы» 611: *at tu ne clam te comesses prandium* «а ты не съдай завтрак тайком от меня». Двойное -*ss-* указывает на краткость корневого гласного в форме *comesses*, т. е. основа **ed-s-* представлена с полной ступенью вокализма. Этой латинской основе соответствует в древнеирландском языке основа сигматического конъюнктива глагола *ith-* «есть»: **ed-s-*, ср. 3 л. ед. ч. -*estar*, 1 л. мн. ч. -*essamar* и т. д. [17, с. 435; 3, с. 140; 10, с. 199]. Этимологическое тождество сигматической основы **ed-s-* в латинском и древнеирландском языках и структурное сходство ее с рассмотренными выше основами сигматического аориста **klep-s-*, **spek̑-s-*, **reg-s-*, образованными от и.-е. корней того же типа -*eT*, позволяет видеть в **ed-s-* отраженные основы и.-е. сигматического аориста, получившего в латинском и древнеирландском языках вторичные модальные функции. В отличие от латинской и древнеирландских форм старославянский сигматический аорист глагола *ѣсъ, из-ѣсъ* «есть» имеет долгий корневой вокализм (**ēd-s-*), совпадающий с вокализмом презенса *ѣмь* [18], от которого, по мнению Вяч. Вс. Иванова [10, с. 201], он образован.

Полная ступень корневого вокализма *-*e*- налицо также в тех основах перфекта на -*sī*, которые содержат корень типа -*eT*, но не имеют соответствий в других языках: *cessī* — *cedō* «ступать» (и.-е. **sed-* «ходить»),

illexi (*laciō* «заманивать», корень **laqu-* «опутывать»), *gessi* (*gerō* «нести», корень **ges-*), *pressi* (*premō* «давить», корень **pre-m-*, **pr-es-*) и также в форме будущего времени, которую приводит как глоссу Фест [19, т. IV, с. 235, 99], — *insexit* «dixerit» (и.е. **seq^u* «говорить»).

Итак, сигматические основы глаголов I класса (корни типа *-eT*) имеют полную ступень вокализма (*-eT-s-*), которая обнаруживается как в формах перфекта на *-sī*, так и в формах сигматического будущего.

II класс. Корни типа *-eRT*

Iubeō, *iussī*, *iubēre* «побуждать, приказывать» (и.е. **jeudh-* «быть в напряженном движении»). По общепринятому мнению, корневой вокализм перфекта глагола *iubēre* на протяжении истории латинского языка менялся. В ранней латыни основа перфекта характеризовалась долгим *-ū-* и графически была представлена двумя вариантами — *ious-* и *iūs-* — в противоположность основе инфекта, имеющей краткое *-i-* (*iubē-*). На рубеже II и I вв. до н.э. корневой вокализм основы перфекта изменился под аналогическим влиянием огласовки *-i-* причастия *iussus*: *iūs-* → *iuss-*, и корневой вокализм *-i-* стал единым для всех форм глагола. Однако, что явилось причиной возросшего на рубеже II и I вв. до н.э. влияния причастия, вызвавшего аналогическое изменение вокализма перфекта, остается без объяснения.

Сопоставление форм латинского глагола *iubeō* и соответствующих им форм в других языках дает возможность иначе объяснить историю форм этого глагола. Написание формы презенса *ioubeatis* в надписи 186 г. до н.э. (CIL I² 581) и лексическое значение «приказывать» (= «заставить кого-то быть в движении») позволяет видеть в основе презенса *iubē-* древнюю основу каузатива (**ioubej^e*°), которой в древнеиндийском языке соответствует каузатив *yōdhayati* (и.е. **jeudhej^e*°) [12, с. 541]. Основа перфекта в надписях II в. до н.э. имеет следующую графическую фиксацию: *ious-*, *ius-*, *iuss-* (*iussit*— CIL I² 478, 614, 1529; *iussissent* — 581; *iussisse* — 582; *iussit* — 633, 634, 636; *iuserunt* — 584; *iussit* — 2200). Написание *ious-* может указывать на дифтонг *-ou-* или на *-ū-*, поскольку монофтонгизация дифтонга *ou* > *ū* проходила в латинском языке в III—II вв. до н.э. При написании *ius-* количественный признак гласного *-u-* не ясен (*iūs-* или *iis-*), т. к. геминированные согласные в надписях II в. до н.э. отмечаются еще весьма непоследовательно. Таким образом, в трех видах написания отражены два морфологических варианта основы перфекта *ious-* (*-iūs-*) и *iis(s)-*.

В варианте основы перфекта *ious-* (*-iūs-*) та же огласовка, что и в каузативной основе презенса *iubē-*, и никаких соответствий вне латинского языка нет. Для второго же варианта основы перфекта *iis(s)-* имеется соответствие в ведийском языке в основе сигматического аориста медиального залога *yutsmahi* (Атхарваведа) с нулевой ступенью огласовки (корень **yudh-* «сражаться»; и.е. **jeudh-*). Наличие этого соответствия дает основание считать вариант основы латинского перфекта *iis(s)-* более древним и позволяет предполагать в архаическом периоде истории латыни соотношение каузативной основы презенса *iubē-* и сигматической основы перфекта (=аориста) *iis(s)-* с нулевым вокализмом. Появление морфологического варианта основы перфекта *ious-* было связано, по всей вероятности, с общей тенденцией к выдвиганию презенса в центр глагольной системы и распространением вокализма презентной основы на другие основы. Морфологическая вариантность перфекта, возникающая как следствие объеди-

нения разновременных по происхождению форм, в дальнейшем была устаревана: утвердился более древний вариант основы перфекта *iuss-*, ставший нормой в классической латыни. Этому способствовала более высокая частотность перфекта глагола «приказывать», чем презенса. Так, у Плавта встречается 12 раз форма 3 л. ед.ч. презенса *iubet*, форма же перфекта *iussit* — 53 раза. Эта же высокая частотность перфекта и совпадение ступени его вокализма с вокализмом причастия *iussus* было причиной, надо думать, изменения корневого вокализма презенса под воздействием вокализма перфекта: *ioubē- → iubē-*. Так установилось соотношение основ инфекта и перфекта *iube-ō- → iuss-ī* с одинаковой ступенью вокализма.

Dicō, dixi, dicere «говорить» (и.-е. **deik-* «показывать»). Перфект *dixi* считается вследствие совпадения его корневого вокализма *-ei-* (ср. *deixistis* CIL I, 586) с вокализмом древнегреческого сигматического аориста $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota\acute{\xi}\alpha$ одним из немногих латинских перфектов на *-si*, которые восходят к и.-е. сигматическому аористу (**dēik-s-*) со ступенью продления (**ēi* > лат., греч. *-ei-*) [20, с. 557; 2, с. 217]. Однако некоторые особенности написания форм этого глагола в раннелатинских надписях заставляют пересмотреть вопрос о первоначальной ступени вокализма перфекта *dixi*.

В надписях II в. до н.э. и первой половины I в. до н.э. фонемы */i/* и */ī/* графически фиксировались по-разному: графическим знаком долгого */ī/* было *ei*, краткого */i/* — *i*. В надписях этого периода в формах глагола *dicō* наблюдается странное несоответствие. В формах, образованных от основы инфекта, долгое */ī/* регулярно передается через *ei* (*deic-*): ср., например, CIL I² 581: *exdeicendum, deicerent*. В формах же, образованных от основы перфекта, наблюдается двойное написание основы: *deix-* и *dix-*: CIL I² 586 *deixistis*; 582 *deixerit*; 825 *indeixit*, но CIL I² 584 *dixserunt*; 1211 *dixi* и рядом *deico*. Очевидно, что *deix-* и *dix-* представляют собой не графические варианты (в этом случае можно было бы ожидать аналогичные варианты написания основы инфекта), но свободные морфологические варианты основы перфекта: *dix-* (графически *deix-*) и *dix-*. Для того и другого варианта латинской сигматической основы есть соответствия в других языках: основа *dix-* соотносится в ведийском языке с основой сигматического аориста медиального залога *ádikṣi, ádiṣta*, имеющей нулевой вокализм корня, основа же *dix-* — с древнегреческим $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota\acute{\xi}\alpha$. Следует принять во внимание, что в древнегреческом языке и.-е. сигматический аорист подвергся перестройке, и сформировался тип аориста на *-σα-* с корневым вокализмом, идентичным, как правило, вокализму презенса — одна из самых значительных инноваций в древнегреческом языке. Тенденция к распространению вокализма презенса на другие основы глагола была и в латинском языке. Основа перфекта *dix-* с той же ступенью вокализма, как и в презенсе *dicō*, может быть более поздней, основа же *dix-* с нулевой ступенью вокализма — более древней.

Lungō, iūnxī, iungere «соединять» (и.-е. **jug-* «соединять»). Вторичность назального инфикса в основе перфекта *iūnxī* и в причастии *iūnxus* предполагал Ф. Зоммер [20, с. 500], опираясь на сравнительный материал. Но и в самом латинском языке сохранилось образование, которое позволяет судить о более ранней форме перфекта этого глагола. Это наречие *iūxtā* (и *iūxtim*) «в близком соседстве, рядом», которое по происхождению представляет собой застывшую форму аблатива причастия **iūxtus* [21, с. 673], ср. подобные формы наречий *exploratō, meritō, rectā*. Но каково происхождение самого причастия **iūxtus*? Античные грамматисты сообщают о дублетных формах причастия перфекта у ряда латинских глаго-

лов. Так, Присциан [22, с. 488] отмечает причастия *fluctus* и *fluxus* от глагола *fluō*, причем указывает, что последнее возникло под влиянием основы перфекта *fluxi*. Имеющаяся уже на раннем этапе истории корреляция перфекта на *-xi* и причастия на *-lus* позволяет предположить, что глагол *iungō* тоже имел дублетные формы причастия: *iu(n)ctus* и **iuxus* и что последнее было дополнительно маркировано суф. *-t-*: **iuxus* → **iurtus* (ср. варианты формы причастия *comēsus* и *comēstus* от глагола *comedō*) [20, с. 609]. Сохранившаяся в виде наречия форма причастия *iārtā* свидетельствует, что перфект **iāxi* представлял собой первоначально независимое от презенса образование с нулевой ступенью огласовки корня (**iāg-s-*). Этой латинской основе перфекта **iāg-s-* соответствует в ведийском языке основа сигматического аориста медиального залога *ayukṣata* (Ригведа) *ayukṣitam* с той же нулевой ступенью вокализма корня. Архаичность формы *ayukṣata* подтверждается тем, что во всех трех случаях употребления в Ригведе она стоит в одной и той же метрической позиции в конце стиха [23, с. 215].

Verrō, verri (u versi), verrere «тащить по земле, мести» (и.е. **vers-* «тащить по земле»). Глагол *verrō* и его производные — *ēverriāe* «ритуальное очищение дома после выноса покойника», *ēverriātor* «человек, получивший наследство и обязанный выполнить обряд очищения дома покойного» — относятся к архаической культовой лексике древнего Рима. Глагол *verrō* широко использовался и в разговорном языке в значении «мести». В доклассической латыни глагол имеет огласовку *-o-* в основах инфекта и перфекта, например, в комедии Плавта «Стих» 389: *revorram hercle hoc quod conuorri modo* «снова подмету то, что только что подметл». По сообщению Сервия [22, т. II, с. 532], глагол *verrō* имел также форму перфекта на *-si* — *versī* (арх. *uorsi*). Известна также глосса *eversit: trazit vel vertat vel funditus movet* [24, т. V, с. 628]. Истолкование значения лат. *eversit* посредством трех различных глагольных форм — перфекта индикатива *trazit* «тащить», презенса конъюнктива *vertat* «поворачивать» и презенса индикатива *funditus movet* «основательно ворошить» — позволяет считать, что в *eversit* совпали формы 3 л. ед. ч. перфекта индикатива и сигматического будущего.

В научной литературе имеются два различных объяснения сигматической формы *versī*. Согласно распространяемому мнению, сигматический перфект *versī* является более поздним образованием, чем корневой перфект *verri*. По предположению же Я. Сафаревича [25], в *versī* могла сохраниться основа сигматического аориста с нулевым вокализмом корня **urs-s-*. Два факта подтверждают мнение Я. Сафаревича, один внутрילатинский, другой — сравнительно-исторический. По типу морфологической структуры форма *versī* (**urs-s-*) стоит в одном ряду с другими формами сигматического перфекта от корней типа *-ert*, имеющими нулевой вокализм корня: *iussī* (**judh-s-*), *dixī* (**dik-s-*), *iu(n)xi* (**jug-s-*). С другой стороны, правильность анализа *versī* как **urs-s-* и архаичность этой латинской основы подтверждаются тем, что ей соответствует в хеттском языке основа претерита глагола *uars-* «стирать; снимать урожай» [26, с. 429], *ya-ar-aš-ta* (**urs(s)-to*). Таким образом, и морфологические, и функциональные характеристики, отмеченные глоссографом, позволяют видеть в перфекте *versī* след архаичного образования, которое восходит, по-видимому, к и.е. сигматическому аористу.

Rumpō, rūpī (u rupsit), rumpere «ломать, разрывать» (и.е. **reup-* «рвать, ломать»). Наличие в ранней латыни перфекта на *-si*, наряду с корневым перфектом *rūpī*, удостоверяет глосса Пластида *derupsit: dispersit* [24, т. V,

с. 16]. Сохранилась также форма сигматического будущего *rupsit* в тексте законов XII таблиц в обычном для форм сигматического будущего употреблении в придаточном условном предложении: VIII, 2 *si membrum rupsit* «если переломит (кому-то) член тела». Нет никаких оснований предполагать в форме *rupsit* долготу корневого гласного, как отмечается в словаре Вальде — Гофмана [27, т. 2, с. 451]; в этимологическом словаре Эрну — Мейе [28, с. 581] долгота не указывается. Эту сигматическую форму можно интерпретировать, как сохранившийся в архаичной латыни форму сигматического аориста от и.-е. корня **reup-* «ломать» с присущим ему значением предшествования и морфологической структурой основы **rup-s-* с нулевым вокализмом. В древнеиндийском языке и.-е. корень **reup-* представлен двумя вариантными корнями — *rup-* и *lup-* «ломать». От корня *lup-* Уитни [29, с. 149] указывает, ссылаясь на индийских грамматистов, медиальную форму аориста на *-s-* — *alupta*, которая по морфологической структуре основы с нулевым вокализмом соответствует архаической латинской форме *rupsit* (**rup-s-*).

Ūrō, ussī, ūrere «жечь, гореть» (и.-е. **eus-* «гореть»). Это единственный во II классе глагол, имеющий в классической латыни различные ступени вокализма в основах инфекта и перфекта. Согласно установившейся в науке традиции, краткий вокализм в перфекте *ussī* объясняется влиянием причастия *ustus*, имеющего нулевой вокализм, свойственный и.-е. отглагольным прилагательным на **-to-* (ср. др.-инд. *uṣṭāb* «сожженный»). Однако краткий вокализм в *ussī* может быть исконным, как и в других формах перфекта на *-sī* II класса: *iusī, versī (vorsī)* и т. д. То, что сигматический аорист от корня **eus-* может считаться древним образованием, подтверждается тем, что в древнегреческом и в древнеиндийском языках соответствующие глаголы имеют сигматический аорист $\epsilon\upsilon\omega$ — $\epsilon\upsilon\sigma\alpha$, $\acute{o}\varsigma\alpha\tau\iota$ — $\acute{a}\upsilon\sigma\acute{\iota}\tau\iota$, но ни тот, ни другой не сохранили нулевого вокализма корня, как лат. *ussī* (**us-s-*): др.-греч. $\epsilon\upsilon\omega$ имеет ту же огласовку, что и презенс, др.-инд. $\acute{a}\upsilon\sigma\acute{\iota}\tau\iota$ — ступень врddхи, в языке зафиксирован, начиная с текстов Брахман [29, с. 13].

Таким образом, как латинский перфект на *-sī*, так и формы сигматического будущего ряда глаголов, содержащих корень типа *-eRT*, характеризуются нулевой ступенью корневого вокализма, и древность этого признака подтверждается соответствиями в хеттском и главным образом в ведийском языке в аористе на *-s-* медиального залога.

Исследование показывает, что совпадение вокализма перфекта на *-sī* и презенса возникло на протяжении истории латинского языка и является следствием определенных фонетических и морфологических процессов. У глагола *iubeō*: *iusī* более древнее соотношение презенса и перфекта было **ioubeō*: *iusī*. Возможно, что такое же соотношение каузативной основы презенса и сигматической основы перфекта (=аориста) с нулевым вокализмом было в архаическом периоде истории латинского языка у глагола *lucēre* «светить, быть светлым», имевшего в ранней латыни каузативное значение «зажигать» (ср. Плавт «Казина» стих 118), т. е. **loukeiō*: *luxī* (прямых свидетельств, подтверждающих долготу или краткость *-u-* в *luxī*, нет). В этом случае для той и другой латинской основы имеется соответствие в древнеиндийском языке: в каузативе *rocāyati* «делает освещенным» и аористе на *-s-* медиального залога с нулевым вокализмом корня *aruca* [29, с. 141]. У тех глаголов, у которых основа презенса образована с помощью назального инфикса, дополнительный признак этой основы — нулевая огласовка корня — совпала с нулевым вокализмом основы перфекта: *rumpō* (ср. др.-инд. *lumpāti*): *rupsit* (ср. др.-инд. *alupta*), *iungō*

(ср. др.-инд. *yunākti*) : *iu(n)xī* (ср. др.-инд. *ayukṣata*). У глагола *ūrō* : *ussī* на протяжении всей истории латинского языка сохранилось различие в вокализме презенса и перфекта.

III класс. Корни типа *-eR*

Единственный глагол этого класса, имеющий в классической латыни перфект на *-sī*, это *manēō, mānsī, manēre* «оставаться» (и.-е. **men-* «оставаться, ждать»). Считается, что нулевая огласовка *-an-* в перфекте *mānsī* объясняется аналогическим влиянием вокализма презенса *manēō*, и форма перфекта поэтому является новообразованием в латинском языке. Представляется, однако, что для исторически правильной интерпретации перфекта *mānsī* необходим дополнительный материал для сравнения, и его дают глоссы и формы сигматического будущего.

В собрании архаических глосс Псевдоплатона есть глосса, которая в кодексах имеет различное толкование: *delisit* : *delivit, inquinavit* и *delisit* : *deleverit, inquinaverit* [19, т. IV, с. 60, 35]. Интерпретация сигматической формы посредством будущего II обычна у глоссографов, толкование же с помощью формы перфекта индикатива встречается очень редко и восходит к более раннему источнику. Лексическое значение словоформы *delisit* поясняется двумя глаголами: *dēlere* «стереть, уничтожить» и *inquināre* «измазывать, пачкать». Значения этих глаголов указывают на связь словоформы *delisit* с глаголом *linere* «мазать». Один из древних семантических контекстов употребления глагола *linere* и однокоренного существительного *littera* «буква» (и.-е. корень **lei-*) был связан с ситуацией письма: *littera* имеет первичное значение «намазанный, начертанный знак, буква»; причастие глагола *linere* с превербом *dē-* — *dēlitus* имеет значение «стертый» в сочетании *dēlitae litterae* «табличка со стертой записью». Это же значение «стер, уничтожил» имеет сигматическая форма *delisit*, включающая тот же преверб *dē-*. С точки зрения морфологии словоформа *delisit* примечательна тем, что этимологически связанная с глаголом *linō, lēvi* (*livī*), *linere*, она представляет собой автономное образование непосредственно от корня **lei-* «мазать», что не может не свидетельствовать об архаизме этого образования. Определить степень корневого вокализма в изолированной форме *delisit* трудно, т. к. неизвестно количество гласного *-i-*: речь может идти и о нулевой ступени *-i-*, и о полной ступени *-ī-(<*ei-)*.

Помимо перфекта на *-sī(mānsī)* и глоссы *delisit* «*delivit, inquinavit*» в раннелатинских текстах встречаются формы сигматического будущего от корней типа *-eR*. Это дошедшая как глосса Феста [19, т. IV, с. 397] — форма *surempsit* : *sustulerit* и формы *ambisset* и *ambissent* из комедии Плавта «Амфитрион» (стихи 69 и 71). Корневой вокализм словоформы (*sur-*) *emp-sit*, как и соответствующей ей в старославянском языке формы сигматического аориста *jesъ* от *jeŕi* «братъ», не ясен, т. к. *-em-* (п ст.-слав. *-ę*) может быть рефлексом **em* или **m̃*. Что же касается форм *amb-isset, amb-issent*, имеющих значение «обжаживать, домогаться» (и.-е. **ei-* «идти»), то написание с двойным *-ss-* свидетельствует о краткости *-i-*, т. е. наличии нулевой ступени вокализма корня **-i-*. Ту же нулевую ступень вокализма имеет соответствующая латинской форме *-isset* древнеумбрская сигматическая форма *-ise(t)* [30, 31], которая входит в состав энклитической группы *vaçetumise* «[если дело] идет к ошибке» (Игувинские таблицы Ib 8), ср. в умбрском языке формы того же глагола «идти» с полной ступенью вокализма *e* (**ei*): императив *etu, eetu*, будущее I *est, eest*. Нулевая ступень корневого вокализма в сигматических формах глагола «идти» позволяет

предполагать аналогичную структуру сигматических основ у глаголов, принадлежащих тому же классу (корень на *-eR*), вокализм которых не вполне ясен из-за возможности двойкой его интерпретации: (*dē-*)*līsit* (основа *li-s*, и.-е. корень **lei-* «мазать»), (*sur-*)*empisit* (основа **ṃ(p)-s-*, и.-е. корень **em-* «брать»). К этому же типу сигматических основ с нулевым вокализмом корня **-R-s-* принадлежит также основа перфекта *mānsī* (основа **mṃ-s-*, и.-е. корень **men-* «оставаться, ждать», долгота *ā* в *mānsī* вторична). Вопрос вызывает, однако, отражение **ṛ* в виде *-an-* в отличие от обычного рефлекса **ṛ* и **ṃ* в латинском языке: *-en-*, *-em-*. Для решения этого вопроса необходимо рассмотрение еще нескольких архаичных форм сигматического будущего, имеющих корень типа *-eR*, но иную морфологическую структуру основы.

Архаичный тип основ на *-eR-*

Есть несколько изолированных форм сигматического будущего, которые, совпадая по ряду формальных и функциональных признаков с другими формами сигматического будущего, отличаются от них тем, что имеют сигматический суффикс не *-s-*, но *-es-* или *-er-* (с переходом *-s-* в *-r-* по закону ротацизма). Они сохранились в ритуальных формулах обращения к богам, в архаичном законодательном тексте, а также в виде глосс. Это следующие словоформы: *adiūerit* (*iūvō, iūvī, iūvāre* «поддерживать, помогать»); *sierit* (*sinō, sīvī, sinere* «допускать, позволять»); *monerint* (*monēō, monūā, monēre* «напоминать, указывать») и глосса Феста [19, т. IV, с. 460] *uallesit* «perierit» «погибнет».

Единого объяснения этих словоформ нет. Гласный элемент *-e-* в каждой словоформе объясняется по-разному при полном несопадении взглядов ученых. Так, словоформа *adiūerit* считается одними исследователями по происхождению формой конъюнктива сигматического аориста от и.-е. корня **ioua-* и гласный *-e-* перед *-r-* (**-s-*) рассматривается как рефлекс и.-е. **ə* [32, с. 225; 20, с. 581], другие же ученые видят в *adiūerit* и также в *sierit* правильные формы будущего II или конъюнктива перфекта, образованные от основ перфекта *iūv-ī, si-ī* — морфологических вариантов основ *iūv-ī, sīv-ī* [12, с. 596; 33, с. 264]. В словоформе *monerint* элемент *-e-* считается многими учеными по происхождению конечным гласным каузативной основы **moni-* (вариант основы **monei-*), который перед ротацистическим *-r-* закономерно изменился в *-e-* [32, с. 202; 20, с. 581; 33, с. 274; 34]. М. Лойман же считает *monerint* окказиональным образованием, возникшим по образцу формы *adiūerit* в сходном семантическом контексте [12, с. 596]. Словоформа *uallesit* сопоставляется с формами типа *prohibēssit* (глагол *prohibēre*), т. е. предполагается форма **uallēssit*, и в *-e-* видят основообразующий гласный *-ē-*, хотя глагола **uallēre* в латинском языке нет [20, с. 587; 28, с. 729].

Представляется возможным дать единое объяснение этих сигматических форм, предварительно рассмотрев каждую словоформу отдельно.

Словоформа *adiūerit* встречается в комедии Плавта «Канат» (305) в формуле обращения к богине: *Uenerem ... uenerem bonam ut nos... adiūerit* «Будем молить милостивую Венеру, чтобы помогла нам». По виду употребления *adiūerit* относится к сигматическим образованиям типа *faxit*, и это позволяет предполагать, что *adiūerit*, как и *faxit*, стоит вне системы форм инфекта и перфекта, но представляет собой корневое образование. В этимологических словарях Покорного и Вальде — Гоффмана [14, с. 508; 27, т. I, с. 736] латинский глагол *iūvō* «помогаю» сопоставля-

ется с древнеиндийским глаголом *yuyóti* «держит вдалеке» и намечается путь семантического развития, который позволяет соединить значения этих глаголов: «держит вдалеке > оберегает > помогает». Если это сопоставление верно, то лат. *iuvō*, как и др.-инд. *yuyóti*, содержит и.-е. апит-корень **ieu-*, и в словоформе *adiuerit* можно видеть корневое образование с нулевым вокализмом корня и суф. *-*es-* (**iu-es-*). В ведийском латинскому (*ad-*)*iuerit* соответствует по вокализму сигматической аорист медиального залога *yusmahi* (Атхарваведа), отличающаяся формой суф. *-*s-* от лат. *-*es-*. Но совпадение нулевой ступени вокализма корня в латинской и ведийской сигматических формах может свидетельствовать о глубоком архаизме этого признака.

Sinō, *sivī*, *sinere* «допускать, позволять» (и.-е. **sei-* «ослаблять, отпускать»). В законах XII таблиц встречается форма *sierit* в придаточном относительном предложении (VIII, 22): *Qui se sierit testarier* «Кто согласится быть свидетелем...» М. Лойман [12, с. 600] сопоставляет *sierit* с плавтовской формой *siveris* и считает их дублетными формами, образованными от двух вариантов основы перфекта *siv-ī* и *si-ī*. Однако в ранней латыни эпохи Плавта области распространения перфекта на *-ivī* и на *-ī* были четко разграничены: только перфект глагола *eō* «иду» имел форму *īī*. Остальные первичные глаголы имели перфект на *-ivī* (*sciō* — *scīvī*, *ciēō* — *civī*, *sinō* — *sivī*) [20, с. 566; 33, с. 271]. Форма перфекта *sīī* впервые зарегистрирована у Теренция, и в классической латыни *sīī* становится нормой. Поэтому трудно допустить, что в таком раннем тексте, как законы XII таблиц, могла быть форма от основы *si-ī*; более вероятно, что *sierit* представляет собой архаичное сигматическое образование того же типа, что и *ad-iuerit*, с нулевым вокализмом корня и суф. *-es-* (**si-es-*).

Среди архаичных сигматических форм есть одна форма, которая отличается графической презентацией сигматического суффикса. Это глосса Феста [19, т. IV, с. 465]: *vallesit* : *perierit*, *dictum a vallo militari, quod fit circa castra, quod qui eo eiciuntur pro perditis habentur* «Слово *vallesit* „погибнет“ происходит от *vallum* „вал“, который окружает военный лагерь, поскольку те, кто за вал выходят, считаются погибшими». Принятому толкованию глоссы *vallesit* как формы сигматического будущего типа *prohibēssit*, т. е. **vallēssit*, противоречит не только незафиксированность глагола **vallēre* в латинском языке, но и тот факт, что при наличии двойного *-ll-* в написании словоформы отсутствует двойное *-ss-*, которое налицо во всех формах типа *amāssit*, *prohibēssit*. Между тем есть основание предполагать, что двойное *-ll-* в словоформе является позднейшей вставкой глоссографа, необходимой для толкования *vallesit* посредством слова *vallum*, что явно относится к области народной этимологии [27, т. 2, с. 729; 28, с. 712]. Известно, что такие приемы использовались в античной филологии [21, с. 126]. В этом случае первоначальной формой была **vallesit*.

Ничто не препятствует отнести словоформу *val(l)esit* к ряду сигматических форм *ad-iuerit* (**iu-es-*), *sierit* (**si-es-*) и видеть в ней сигматическую основу от корня **g^uel-* «колоть, умирать» [14, с. 471] с нулевым корневым вокализмом и суф. *-*es-*, т. е. **g^ul-es-*¹ > лат. *valet-it*, в которой интер-

¹ Точнее, это основа с редуцированной ступенью огласовки корня **g^ull-es-*, но ради удобства сопоставления латинских форм с соответствующими формами в других языках в данной работе противопоставляются только полная и нулевая ступени огласовки.

вокальное *-s-* еще не подверглось ротацизму, как, например, в глоссе Феста *astasent* [35]. Вальде и Гофман, Покорный, Льюис и Педерсен [27, т. 2, с. 729; 14, с. 471; 17, с. 400] сопоставляют лат. *vallesit* с древнеирландским глаголом *at-bail* «умирает». Возможно, что не только общность и.-е. корня **g^uel-* «сколоть, умирать» объединяет лат. *val(l)esit* «погибнет» и древнеирландский глагол *at-bail* «умирает». Если верно предположение К. Уоткина [3, с. 124] о происхождении древнеирландского претерита на *-t-* из и.-е. сигматического аориста, то латинской сигматической основе **g^ul-es-* словоформы *val(l)esit* соответствует по вокализму основа претерита этого древнеирландского глагола *at-ru-balt* (**g^ul-s-*) [17, с. 400]. Но при совпадении ступени корневого вокализма эти основы расходятся в форме сигматического суффикса: лат. **-es-* — др.-ирл. **-s-*. Подобное соотношение было отмечено выше между основами латинской словоформы *ad-iaerit* (**iu-es-*) и ведийского сигматического аориста *yusmahī*(**iu-s-*).

Таким образом, в архаичной глоссе Феста *vallesit* «perierit» сохранилась единственная в латинском языке сигматическая форма, суффикс которой *-es-* представлен в своем первоначальном виде без изменения *s > r*.

Moneō, monuī, monēre «напоминать, указывать» (и.-е. **men-* «думать»). Словоформа *monerint* встречается в тексте формулы благословения, которую приводит Варрон в трактате «О латинском языке» (7, 102): *di monerint meliora atque amentiam averruncassint tuam* «да напомнят боги о лучшем и отвратят твое безумие». Форму 2 л. *moneris* с интерпретацией «*moneris pro monueris*» приводит Ноний [36], подтверждая ее цитатой из Пакувия: *dic quid faciam, quod me moneris, effectum da* «Скажи, что мне делать; то, что мне укажешь, дай выполнить». Употребление формы *moneris* в придаточном относительном предложении в функции выражения предшествования соответствует обычному типу употребления форм сигматического будущего в ранней латыни.

По своему значению «напоминать, указывать» формы *moneris, monerint* совпадают со значением каузативного глагола *moneō*, но морфологически стоят вне системы форм инфекта и перфекта этого глагола. Наибольшее признание получило объяснение этих форм, данное Р. Турнайзеном [32, с. 202]. Он считал форму *moneris* по происхождению опативом сигматического аориста, образованного от варианта основы презенса **moni-* глагола *moneō* (**monej-ō*). От этого варианта презентной основы **moni-*, по мнению Турнайзена, было образовано причастие *monitus* и сигматический аорист **moni-s-* > *moner-is*.

Однако функциональное и структурное сходство словоформы *moneris* с формами *ad-iaerit, sierit, val(l)esit* позволяют видеть в *moneris* тот же тип основы с суфф. **-es-* и первоначально с нулевой огласовкой корня. Поскольку **r* отражается в латинском языке в предвокалической позиции в виде *-en-* или *-an-* [20, с. 45], то огласовку *-on-* словоформы *moneris* следует признать вторичной, возникшей под влиянием огласовки каузативного презенса *moneō*, с которым в плане содержания соприкасался сигматический аорист с присущим ему каузативным или транзитивным значением [37]. Если такое предположение верно, то первоначальной основе **m₁-es-* словоформы *moneris* соответствует по вокализму в ведийском основа сигматического аориста медиального залога от того же и.-е. корня **men* «думать» *masiya* (Ригведа) (основа **m₁-s-*). Возможно, что для латинского *moneris* (**m₁-es-*) обнаруживается соответствие в основе претерита хеттского глагола спряжения на *-hi mema-* «говорить», *me-mi-iš-ta* [*memesta*] (основа **me-m₁-es-*). В интерпретации хеттского [*memesta*] как

формы, характеризующейся редупликацией, нулевой огласовкой корня и суф. *-es-*, мы следуем Х. Педерсену [38]².

Итак, общей характеристикой сигматических форм 3-го класса (корни типа *-eR*), относящихся к обоим морфологическим разрядам — перфекту на *-sī* и сигматическому будущему, — является нулевой вокализм корня. Однако в структуре основы форм того и другого разряда полного совпадения нет, т. к. в формах сигматического будущего представлены два типа основ: 1) *-R-s-* [например, *amb-iss-et*, умб. *-ise(t)*] и 2) *-R-es-* (например, *ad-iaerit*), в формах же перфекта на *-sī* находим только тип основы *-R-s-* (*mansī, delisit*). Тот факт, что параллельные основы на **-s-* и **-es-* представлены только в формах сигматического будущего, находящихся на периферии системы форм латинского глагола и потому в меньшей степени подверженных изменениям под давлением системы, позволяет считать образование на **-es-* архаизмом в латинском языке. Тип основы *-R-s-* по всей вероятности, более поздний. Форму перфекта *mansī*, в которой вокализм *-an-* был бы закономерен в предвокалической позиции, можно рассматривать как результат происшедшей в перфекте на *-sī* унификации алломорфа суф. **-s-* при сохранении прежнего вокализма *an-* (более ранняя основа **mṛ-es- > -man-es- → man-s-*).

Таким образом, в латинском языке в синхронии отражены две разные исторические модели: *R-s-* и *-R-es-*, из которых вторая относится к более раннему этапу дописьменной истории латинского языка. Это предположение подкрепляется распространённостью в индоевропейских языках типа основы *-R-s-*, что обнаруживается и в том, что латинским основам типа *-R-es-* соответствуют в ведийском и в древнеирландском языках основы на *-R-s-*, и только в хеттском языке тип основы *-Res-* сохранился в формах 3 л. претерита некоторых глаголов спряжения на *-hī*.

IV класс. Долговокалические корни

Единственная в латинском языке сигматическая форма, относящаяся к 4-му классу, это сохранившаяся как глосса Феста [19, с. 123, 24] словоформа *astasent* «statuerunt» (н.-е. **sthā-* «стоять»). Полное морфологическое и семантическое сходство этой латинской формы с древнегреческим сигматическим аористом 3 л. мн. ч. *ἔ-σ-ῥαζν* «поставил» (**sthā-s-nt*) позволяет видеть в лат. *astasent* уцелевшую в собраниях архаических глосс форму сигматического аориста. Эта словоформа свидетельствует, что на раннем этапе истории латинского языка сигматический аорист еще сохранил статус автономной морфологической категории с окончанием 3 л. мн. ч. **-s-nt* в отличие от окончания 3 л. мн. ч. перфекта **-r...* и что на этом этапе еще не было ограничения в образовании сигматического аориста только от консонантных в исходе корней, как это установилось в латинском перфекте на *-sī*.

Другой тип основы сигматического аориста от н.-е. корня **sthā-* представлен формой *εστειλε* «поставил» в новфригийском языке. Хотя новфригийский язык отделен от древнефригийского более чем полутысячелетием, но формульный характер новфригийских надписей и свойственный им консерватизм способствовали сохранению более раннего состояния языка, в частности, стабильности гласных фонем /a/ и /e/ [40]. Это

² Интенсивную редупликацию в хеттском глаголе *meta-* видит также Дж. Яснофф [39]; иначе объясняет происхождение этого глагола и гласный *-e-* перед *-s-*. Н. Эттингер [26, с. 71, 486]. См. также об этом глаголе в работе Вяч. Вс. Иванова [10, с. 172].

позволяет видеть в н.-фриг. $\epsilon\sigma\tau\alpha\epsilon\zeta$ морфологическую структуру подобную др.-фриг. $\epsilon\delta\alpha\epsilon\zeta$ с нулевым вокализмом корня и суф. $-es$. В таком случае соотношение двух типов основы сигматического аориста от и.-е. корня $*sth\bar{a}$ - I. $*sth\bar{a}$ -s (др.-греч. $\epsilon\text{-}\sigma\tau\eta\sigma\alpha\varsigma$, лат. *a-stasent*) и II. $*sth\bar{a}$ -es- (фриг. $\epsilon\sigma\tau\alpha\epsilon\zeta$) параллельно тому соотношению, которое было реконструировано Ф. Бадер [8, с. 33] на материале форм сигматического аориста от и.-е. корня $dh\bar{e}$ - «класть»: I. $*dh\bar{e}$ -s (вед. *dhās*, мессап. *hi-pa-des*) и II. $*dh\bar{e}$ -es (хет. *daiš*, др.-фриг. $\epsilon\delta\alpha\epsilon\zeta$)².

Совпадение функций глагольных форм с суф. $*-s$ и $*-es$ дает основание видеть в них два алломорфа суффикса сигматического аориста. Оба вида основы на $*-es$ — с сонантным корнем типа $-eR$ и с долговокалическим корнем — характеризуются нулевой ступенью вокализма корня, и в этой закономерности строения основы: нулевая ступень огласовки корня и полновокалический суф. $*-es$, обнаруживается древнее аблаутное правило сочетаемости морфем в сопряженной основе, детально исследованное в книге Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [42].

Итак, исследование корневого вокализма сигматических образований глагола в латинском языке показывает, что ступени огласовки одинаковы у форм обоих морфологических разрядов — перфекта на $-s\bar{i}$ и сигматического будущего. Имеющиеся различия в вокализме связаны не с принадлежностью форм к тому или другому морфологическому разряду, но определяются структурой глагольного корня. Выявилась следующая зависимость:

Корень	Сигматическая основа		Образец	
$-eT$	$-eT$ -s	$*klep$	«воровать»	<i>clepsi</i>
$-eRT$	$-RT$ -s	$*jeudh$	«приказывать»	<i>iussi</i>
$-eR$	1. $-R$ -s	$*ei$	«идти»	<i>amb-isset</i>
	2. $-R$ -es	$*ieu$	«охранять»	<i>ad-iuerit</i>
$-eH$	1. $-eH$ -s	$*sth\bar{a}$	«стоять»	<i>a-stasent</i> ,
	2. $-H$ -es		фриг. $\epsilon\sigma\tau\alpha\epsilon\zeta$	

Общность структурных признаков основы и совпадение ступеней корневой огласовки форм перфекта на $-s\bar{i}$ и сигматического будущего подтверждают гипотезу об их генетическом единстве, позволяя считать, что латинское сигматическое будущее так же восходит к сигматическому аористу, как и перфект на $-s\bar{i}$. Единственный морфологический признак, по которому они различаются, это — ряды окончаний: окончания перфекта у одних, и флексия, включающая показатель оптиматива $*-i$, у других. Есть основания считать, что тот и другой ряд окончаний являются результатом перестройки всей системы латинского глагола, вызванной слиянием перфекта и сигматического аориста и процессом реинтерпретации сигматического элемента. Этот вывод, к которому приводит сравнительно-историческое изучение латинского материала, согласуется с общим выводом Г. Шмидта [9, с. 58], что с формальной стороны нет оснований для отделения и.-е. аориста на $-s$ от и.-е. будущего на $-s$.

Зависимость ступеней корневого вокализма сигматических форм глагола от структуры корня, достаточно сохранившаяся в латинском языке, оказывается сходной с закономерностями вокализма медиальных форм сигматического аориста в ведийском языке: полная ступень огласовки при корне $-eT$, нулевая при корне $-eRT$ и у некоторых корней типа $-eR$, полная или нулевая ступень при долговокалическом корне. Целый ряд соответствий латинским сигматическим формам в ведийском языке под-

² Иное объяснение $\epsilon\delta\alpha\epsilon\zeta$ дают Л. С. Баян и В. Э. Орел [41].

тверждает это сходство. Тот факт, что в ведийском языке это формы медиального залога, а в латинском — формы активного залога, можно интерпретировать как свидетельство первоначальной индифферентности сигматического аориста к выражению залоговых противопоставлений. В тех языках, где сигматический аорист имеет формы активного и медиального залогов, как в древнегреческом и индоиранских языках, это противопоставление более позднего происхождения и возникло под влиянием системы «презент: претерит (= корневой аорист)». Соответственно более поздней является ступень продления огласовки корня, утвердившаяся в формах активного залога в индоиранских и старославянском языках. Медиальный же вокализм, сохранившийся в ведийском сигматическом аористе и остаточно в латинских сигматических образованиях глагола, — вокализм, определяемый структурой глагольного корня, — является более ранней характеристикой и.-е. сигматического аориста.

В группе глаголов, имеющих корень типа **er* (**ieu* «держать вдали, помогать», **men-* «думать»), латинским архаичным основам на **-es-* соответствуют в ведийском языке основы сигматического аориста, тождественные по вокализму корня, но с суф. **-s-*. Отсутствие основ сигматического аориста на **-es-* в большинстве и.-е. языков, возможно, объясняется изначально разной степенью устойчивости основ на **-s-* и **-es-*. Отсутствие какой бы то ни было вариантности в основах на **-s-* с корнем типа *-eT*, *-eRT*, *-eH* (основы *-eT-s-*, *-RT-s-*, *-eH-s-*) способствовало устойчивости этого типа сигматического аориста. Эта устойчивость обнаруживается в том, что в разных языках наблюдается тенденция к образованию сигматического аориста на **-s-* преимущественно от консонантных корней со смычным согласным в исходе (корни типа *-e(R)T*) и от вокалических корней, так в древнеиндийском языке [23, с. 22]; та же тенденция привела в латинском языке к ограничению в образовании перфекта на *-si* лишь от консонантных корней типа *-e(R)T*.

Напротив, в основах на **-es-*, включающих сонантный корень типа *-er* в нулевой ступени огласовки, изначально имела место вариантность, обусловленная различной реализацией нулевой ступени корня в зависимости от слоговой структуры основы, от наличия преверба (основы *-R-es-* или *-RR-es-* по закону Зиверса). Эта вариантность основ на **-es-* могла быть одной из причин исчезновения их в и.-е. языках.

Сохранившиеся в отдельных индоевропейских языках такие характеристики сигматического аориста, как 1) зависимость ступени корневого вокализма — полной или нулевой — от структуры корня, 2) наличие двух алломорфов суф. **-s-* и **-es-*, 3) сочетаемость ступеней вокализма корня и суффикса в сопряженной основе позволяют видеть в сигматическом аористе архаичную морфологическую категорию индоевропейского глагола, получившую, однако, распространение в позднем общиндоевропейском и в отдельных языках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Семе́ренки О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980. С. 301.
2. Riz H. Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt, 1976.
3. Watkins C. Indo-European origins of the Celtic verb. I: The sigmatic aorist. Dublin, 1962.
4. Откупщиков Ю. В. Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.
5. Kuryłowicz J. Problèmes de linguistique indo-européenne. Wrocław, 1977. P. 79.
6. Schmidt G. Lateinisch *amāvi*, *amasti* und ihre indogermanische Grundlagen. // Glotta. 1985. Bd. 63. Hf. 1—2. S. 57.

7. *Strunk K.* Flexionskategorien mit akrostatischem Akzent und die sigmatischen Aoriste // *Grammatische Kategorien: Akten der VII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft / Hrsg. von Schlerath B.* Wiesbaden, 1986.
8. *Bader F.* Flexions d'aoristes sigmatiques // *Etrennes de septantaine: Travaux de linguistique et de grammaire comparée offerts à M. Lejeune.* P., 1978.
9. *Schmidt G.* Zum indogermanischen s-Futur // *O-O-PE-RO-SI: Festschrift für E. Risch zum 75. Geburtstag / Hrsg. von Etter A. B.; N. Y., 1986.*
10. *Иванов Вяч. Вс.* Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981.
11. *Burrow T.* The Sanskrit precative // *Asiatica: Festschrift Fr. Weller.* Leipzig, 1954. P. 40.
12. *Leumann M.* Lateinische Laut- und Formenlehre. München, 1977.
13. *Benveniste E.* Les futurs et subjunctifs sigmatiques du latin archaïque // *BSLP.* 1922. T. 23. P. 37.
14. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. B., 1959.
15. *Meyer G.* Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Strassburg, 1891. S. 323.
16. *Krause W., Thomas W.* Tocharisches Elementarbuch. Heidelberg, 1960. S. 247.
17. *Льюис Г., Педерсен Х.* Краткая сравнительная грамматика кольских языков. М., 1954.
18. *Вайан А.* Руководство по старославянскому языку. М., 1952. С. 259.
19. *Glossaria latina. V. 1—V.* / Ed. Lindsay W. M., Moynford J.-F., Whatmough J., Rees F., Weiz R. P., 1926—1931.
20. *Sommer F.* Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. Heidelberg, 1914.
21. *Lindsay W. M.* Die lateinische Sprache / Übersetzung von Nohl H. Leipzig, 1897.
22. *Grammatici latini / Ex recensione Keilii H. V. I—VI.* Lipsiae, 1857—1868.
23. *Narten J.* Die sigmatischen Aoriste in Veda. Wiesbaden, 1964.
24. *Corpus glossariorum latinorum. Bd. I—VI / Ed. Goetz G.* Lipsiae, 1888—1923.
25. *Safarewicz J.* Historische lateinische Grammatik. Halle, 1969. S. 226.
26. *Oettinger N.* Die Stammbildung des hethitischen Verbums. Nürnberg, 1979.
27. *Walde A., Hofmann J.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd 1—2. Heidelberg, 1938—1954.
28. *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. 4. éd. P., 1959.
29. *Whitney W. D.* The roots, verb-forms and primary derivatives of the Sanskrit language. Leipzig; London, 1885.
30. *Vetter E.* Handbuch der italischen Dialekte. Heidelberg, 1953. S. 262.
31. *Untermann J.* Forschungsbericht. Die Iguvinischen Tafeln // *Kratylos.* 1960. Jg V. Hf. 2. S. 118.
32. *Thurneysen R.* Inscriftliches // *KZ.* 1897. Bd 35.
33. *Троцкий И. М.* Историческая грамматика латинского языка. М., 1960.
34. *Narten J.* Zur Flexion des lateinischen Perfekts // *Münchener Studien zur Sprachwissenschaft.* 1973. Bd 31. S. 140.
35. *Radke G.* Archaisches Latein. Darmstadt, 1981. S. 46.
36. *Nonius Marcellus.* De compendiosa doctrina. / Ed. Lindsay W. M. Lipsiae, 1903. S. 507.
37. *Ходорковская Б. Б.* К проблеме индоевропейского сигматического аориста (Вопросы семантики) // *ВЯ.* 1983. № 6. С. 25.
38. *Pedersen H.* Hethitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. København, 1938. S. 95—97, 116.
39. *Jasanoff J.* The position of the *hi*-conjugation // *Hethitisch und Indogermanisch.* Innsbruck, 1979. S. 89.
40. *Brixhe C.* Epigraphie et grammaire du phrygien: état present et perspectives // *Le lingue indoeuropee di frammentaria attestazione.* Pisa, 1983. P. 110.
41. *Вайан Л. С., Орел В. Э.* Язык фригийских надписей как исторический источник. 1 // *ВДИ.* 1988. № 1.
42. *Гамкрелдзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. 1. Тбилиси, 1984. С. 223—226.

ОТКУПИШКОВ Ю. В.

К ВОПРОСУ ОБ ОГЛАСОВКЕ КОРНЯ ЛАТИНСКИХ
СИГМАТИЧЕСКИХ ФОРМ

Статья Б. Б. Ходорковской о вокализе сигматических образований глагола в латинском языке представляет собой тщательное исследование, выполненное на широком индоевропейском фоне. Автор хорошо знакома с литературой вопроса, весьма оперативна в ее использовании (учтены работы 80-х годов, включая 1988 г.). Выводы Б. Б. Ходорковской, безусловно, новы и оригинальны, они опираются на обширный фактический материал и представляют несомненный интерес для индоевропеистов и специалистов по классическим языкам.

Вместе с тем я должен выразить свое несогласие как с основным выводом статьи, так и с интерпретацией целого ряда приведенных в ней примеров.

Согласно традиционной младограмматической точке зрения, индоевропейский сигматический аорист имел продленную ступень огласовки корня. Единственный «дежурный» пример, постоянно приводимый в пользу этой гипотезы: др.-инд. *āvākṣam* — лат. *vēlī* — ст.-слав. вѣсь. Во второй половине XX в. все чаще высказывается мысль о том, что в оппозиции презенса : сигматический аорист не было противопоставления по долготе корневого гласного [1, с. 27 и сл.; 2; 3, с. 47—77; 4]. Релевантным признаком в этой оппозиции был суф. *-s-*, а не огласовка корня, совпадающая в презенсе и в *-s*-аористе. Б. Б. Ходорковская предлагает третью точку зрения: исконной для сигматического аориста (перфекта в латинском языке) она считает нулевую ступень огласовки корня — даже там, где в системе латинского презенса мы находим продленную ступень или дифтонг. Однако приведенные в статье Б. Б. Ходорковской реконструкции вызывают серьезные сомнения.

Так, лат. *iubeō* : *iussī* в архаических надписях отражается как *ioubeo* : *iouisi*. Обычно принято считать, что под влиянием причастия *iussus* в перфекте появилась форма с кратким *i*: *iussī*. А поскольку огласовка сигматического аориста (resp. перфекта) во всех случаях (кроме явно вторичных изменений) совпадает в латинском (и не только в латинском) языке с огласовкой презенса, краткое *i* появляется и в формах последнего. Б. Б. Ходорковская, напротив, считает форму *iussī* древнейшей. Затем огласовка презенса, по ее мнению, проникает в перфект (аорист): *iouisi*. Некоторое время здесь сосуществуют оба варианта, после чего более древняя форма одерживает верх, а ее огласовка распространяется на презенс — как менее частотную у этого глагола форму. Все это мне кажется весьма маловероятным. Получается, что сначала огласовка менее частотных форм презенса распространяется на более частотные сигматические формы (здесь, правда, автор о частотности предпочитает не упоминать), а затем — наоборот. Кроме того, речь идет не просто о долготе

или краткости *u* в корне, а о дифтонге, причем лат. *ioubeo* совпадает с др.-инд. *yōdhayati* (с *ō* = *eu* или *ou*, а не с *ū*). Следовательно, формы *ioubeo* и *iouisi* представляют собой древние архаизмы, последовательно изменившие огласовку своего корня под влиянием причастия *iussus*.

По тем же, в основном, причинам нельзя признать правдоподобной и реконструкцию **dixi*, предложенную Б. Б. Ходорковской. Здесь дифтонг в формах презенса, сигматического перфекта и будущего надежно подтверждается полным параллелизмом с греческим языком: лат. *deicō* (*deicerent* — CIL I², 581) > *dicō* : **deiksai* > *dixi* : **deiksō* > *dixō* = др.-греч. *δεικ-ω-μι* : *ἔ-δειξαι* : *δειξω*. В обоих языках мы имеем полное совпадение огласовки *ei* как в формах презенса, так и в сигматических образованиях перфекта (аориста) и будущего времени. В отличие, например, от причастия *dictus* — с нулевой ступенью огласовки корня. Невозможно реконструировать сигматический аорист с нулевой ступенью огласовки корня также в случаях с дифтонгом *ai* (*auxi*, *clausi*) или с *u* < *ou*, *eu* (*dūxi*).

В случае с *ingō* — *iūnxi* — *iūnctus* наличие носового инфикса в формах перфекта и причастия свидетельствует о позднем характере этих форм, возникших явно по аналогии с презентной основой *ing-*. Но каков был исходный перфект у этого глагола? Возможно, что по модели *vincō* — *vici* мы должны реконструировать *ingō* — **iūgi* или по типу *tundō* — *tundi* образовать перфект **iuiungī*. Б. Б. Ходорковская предпочитает реконструировать форму сигматического перфекта **iūxi* (< **iūg-s-ai*). Однако реконструированная таким образом форма представляла бы собой единственный случай, где глагольный корень с исходом на звонкий смычный не удлинил бы в сигматическом перфекте свой корневой гласный. Ср. *regō* — *rēxi*, *tegō* — *tēxi*, а также *flūxi*, *strūxi*, *divīsi* и др. [3, с. 58; 5, с. 87]. А поскольку подобного удлинения — в отличие от глагольных корней с исходом на глухой смычный — не знают другие индоевропейские языки, соответствующие формы сигматического аориста (перфекта) являются латинским новообразованием и не отражают древнего индоевропейского состояния.

Желая доказать исконность нулевой ступени огласовки корня латинских сигматических форм, Б. Б. Ходорковская всюду ссылается на древнеиндийские сигматические формы среднего залога. Но, как известно, эти формы регулярно чередуются с активными формами и противостоят им по своей огласовке. Им и положено иметь нулевую ступень, этим они и отличаются (наряду с флексией) от активных форм. *Mutatis mutandis* с таким же (если не с большим) основанием мы могли бы, например, доказывать исконность краткого *i* в корне лат. *vidi*, ссылаясь на то, что др.-греч. *οἶδα*, др.-инд. *vēda*, гот. *vait* имеют в парадигме мн. числа нулевую ступень огласовки корня: *ioudeu*, *vidmā*, *witum*. Медий и актив — разные грамматические категории, а ссылка на столь древнюю праиндоевропейскую эпоху, когда сигматический аорист, по мнению Б. Б. Ходорковской, был индифферентен к залогу, не убеждает. Ибо о поздней продуктивности сигматических форм перфекта в латинском языке свидетельствует хорошо известный факт вытеснения ими в поздних приставочных глаголах более архаичных форм перфекта: *rūpit*, но *dē-rupsit*, *ēmī* — *cōmpsit*, *pepulit* — *ex-pulsit*, *pepercit* — *com-per-sit*, *fūdit* — *dif-fūsisse*, *lēgit* — *intel-lēxit*. Типологически более поздний характер приставочных образований типа *ex-pulsit* можно сопоставить с вытеснением отглагольных прилагательных с суф. *-n-* причастиями с суф. *-t-* в процессе унификации типа причастий в латинском и литовском языках:

лат. *plē-n-us* → *im-plē-t-us*, литов. *pil-n-as* → *i-pil-t-as*. Здесь также у приставочных образований выступают менее архаичные формы.

В свое время Э. Бенвенист усомнился в том, что латинский *-s*-футурум и перфект на *-sī* имеют общее происхождение. Доказательство: разная огласовка корня в случаях *fāxō* и *dīxī*. Б. Б. Ходорковская хочет защитить тезис об общности происхождения этих форм, реконструируя перфект типа **dīxī*, вопреки др.-греч. $\acute{\epsilon}\text{-}\delta\epsilon\iota\acute{\xi}\alpha$. Это — едва ли перспективный путь. Мне кажется, здесь следовало просто указать на некорректность сопоставления Э. Бенвениста: в обоих случаях (*fāciō* — *fāxō* и *dīcō* — *dīxī*) сигматические формы имеют огласовку презенса. Поэтому *dīxī* нужно сопоставлять не с *fāxō*, а с *dīxō* (= др.-греч. $\delta\epsilon\iota\acute{\xi}\omega$). В последнем случае в определении долготы гласного колеблется П. М. Тронский [6, с. 272], но уверенно отмечает долготу А. Эрву [7, с. 125—126].

Таким образом, основной тезис статьи Б. В. Ходорковской об исконной нулевой ступени огласовки корня индоевропейского сигматического аориста представляется в высшей степени спорным. Так же, как и утверждение автора статьи о том, что сигматический аорист — древнейшая категория индоевропейского глагола. Однако о позднем характере сигматического аориста (как одного из типов индоевропейского аориста) писал, не говоря о более ранних авторах, А. Мейе [8, с. 200]. В начале 60-х годов об этом же писали В. Н. Топоров [9, с. 53], К. Уоткинс [1] (см. также [2, с. 151 и 171; 3, с. 47 и сл.]). Эта точка зрения стала преобладающей в наши дни. Так, О. Семереньи писал, что сигматический аорист «является наиболее поздним из способов образования аористных основ в индоевропейском языке» [10, с. 301]. В еще большей степени это относится к латинскому сигматическому перфекту, позднее время формирования которого выявляется вполне отчетливо. Поэтому нельзя не согласиться с выводом К. Уоткинса о том, что «аористы типа *uēxī* — явно поздние, внутрилатинские образования» [1, с. 27].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Watkins C. Indo-European origins of the Celtic Verb. I: The sigmatic aorist. Dublin, 1962.
2. Откупщиков Ю. В. О старославянском сигматическом аористе // Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР. 1963. Т. XXVII.
3. Откупщиков Ю. В. Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.
4. Leumann M. Lateinische Laut- und Formenlehre. München, 1977.
5. Откупщиков Ю. В. Закон Лахмана в свете индоевропейских данных. (Гипотезы и факты) // ВЯ. 1984. № 2.
6. Тронский П. М. Историческая грамматика латинского языка. М., 1960.
7. Ernout A. Historische Formenlehre des Lateinischen. Heidelberg, 1913.
8. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.
9. Топоров В. Н. К вопросу об эволюции славянского и балтийского глагола // ВСЯ. 1961. Вып. 5.
10. Семереньи О. Введение в сравнительное языковедение. М., 1980.

КЛИМОВ Г. А.

РЕФЛЕКС ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ЛАРИНГАЛЬНОГО
В КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ?

Современное состояние различных версий ларингальной теории по-прежнему характеризуется интенсивными поисками точек опоры в материале исторически засвидетельствованных индоевропейских языков. Естественно предполагать, вместе с тем, что определенные перспективы дальнейшей разработки этой теории могут быть связаны в какой-то степени и с поисками рефлексов ларингальных фонем в заимствованном фонде других языков, исторические контакты которых с индоевропейскими представляются реальными уже для древнейшей поры (ср., в частности, опыт подобного рода, предпринятый в [1]). Среди последних в свете недавно сформулированной Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым гипотезы о переднеазиатской прародине индоевропейцев, локализовавшейся, по мнению авторов, в регионе к югу от картвельской языковой области [2, с. 865 и сл.], несомненного внимания заслуживают данные картвельских языков — едва ли не единственных сохранившихся представителей древнепереднеазиатского языкового ландшафта. Одним из итогов начального, по своему существу, этапа соответствующих разысканий явилось обнаружение примерно 35—40 древнейших картвельских индоевропеизмов, которые, как правило, невозможно непосредственно сопоставить с их аналогами в исторически засвидетельствованных индоевропейских языках, ср. [2, с. 877—879; 3, с. 153—157] (мнение о наличии всего лишь двух общекартвельских индоевропеизмов [4, с. 237] основано на встречающемся среди авторов, затрагивающих эту проблематику, невладении картвельским материалом).

В настоящей статье обсуждается возможность истолкования некоторых картвельских индоевропеизмов как содержащих отражение одного из индоевропейских ларингальных. Материальной базой исследования служит здесь фонологическая структура нескольких лексем, характеризующихся наличием бифонемного сочетания $\gamma\omega$ на месте начального и.-е. * γ (* γu) и, следовательно, не подчиняющихся формуле регулярных фонологических корреспонденций между картвельскими и индоевропейскими языками, как она рисуется в ностратических исследованиях В. М. Ильич-Свитыча, а также обычно имеющих более или менее ощутимую культурную окраску:

Картв.	* $\gamma\omega b\bar{e}h$ -	«плести»	И.-е.	* $\gamma\omega b\bar{h}$	«плести, ткать»
	* $\gamma\omega d\bar{e}h$ -	«ремень»		* $\gamma\omega d\bar{h}$	«привязь, ремень»
	* $\gamma\omega l\bar{e}h$ -	«скручиваться»		* $\gamma\omega l$	«скручивать(ся), мотать»
	* $\gamma\omega n\bar{e}k\bar{h}$ -	«изгибаться»		* $\gamma\omega(n)k$	«изгибаться»
	* $\gamma\omega i\bar{n}\omega$ -	«вино»		* $\gamma\omega i\bar{n}\omega$	«вино»
	* $\gamma\omega i\bar{l}$ -	«можжевельник»		* $\gamma\omega i\bar{l}$	обозначает не вьющихся или узорчатых растений
	* $\gamma\omega r\bar{e}h$ -	«клясться»		* $\gamma\omega r$	«торжественно говорить»

Нетрудно заметить, что приводимая картвельская серия, реконструируемая в большинстве случаев в соответствии с межязыковыми фонетическими корреспонденциями, обнаруживает единообразное отражение их индоевропейских прототипов, что позволяет предположительно соотнести ее усвоение с некоторой более или менее единой хронологической плоскостью (ср. также характерное для занимающей стороны обычное сужение исходной семантики). Для большинства ее составляющих можно привести целую совокупность аргументов, говорящих в пользу большой давности функционирования соответствующих лексем на картвельской почве — во всяком случае соотносящихся со временем не позднее эпохи грузинско-занского единства. Исключение в этом плане составляют груз. *γvia-* «можжевелинник», обнаруживающее позднейший словообразовательный элемент *-a* (ср. др.-груз. *γwl-*; вероятно, на правах грузинизма слово *γvia-* // *xvia-* известно в мегрельском), а также глагольная основа **γwer-*, засвидетельствованная лишь в сванском (ср. масдар *li-γwer*, *li-γwr-e*).

В пользу давности бытования рассматриваемых лексем на картвельской почве можно привести немало аргументов.

Глагольная база **γweb-*, укладывающаяся в одну из типовых моделей фонологической структуры общекартвельского корня, реконструируется на основе сопоставления груз. *γob-va*, мегр. *γob-ua*, лаз. *o-γob-u*, а также ее очевидных следов в сванском (отглагольном производном?) *γweb-* «улей» (для объяснения расхождения в семантике можно сослаться на практику плетения ульев у древних картвелов). Поскольку представленный в грузинско-занском материале вокализм исторически свойственен лишь основам звукосемантической и звукоподражательной природы, он, по-видимому, вторичен по отношению к огласовке *e* (ср. аналогичную историю вокализма, предполагаемую Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани для грузинского и занских континуантов картвельского **šwēn-* «показывать(ся)» [5, с. 251—253]). Бесспорно к тому же, что семантика этой основы повторяет древнейшее значение ее индоевропейского антецедента.

Вторая лексема, повторяющаяся во всех картвельских языках в почти неизменном облике, характеризуется сохранением исторического комплекса *we*, наблюдающегося и в ряде других исконных именных основ (ср. **gwel-* «змея», **šwel-* «серна», **šwel-* «старый» и др.). Поэтому нет необходимости считать мегр. и лаз. *γved-* (> мегр. *γwend-*) позднейшим грузинизмом. В древнегрузинском слово имело также значение привязи ярма, являющегося, как известно, древнейшим достоянием материальной культуры картвелов.

Общекартвельский характер глагольной основы **γwel-* : *γwl-* «скручивать(ся)» удостоверяется не только проявлением в ней аблаутного чередования архаичной модели, но прежде всего ее древними производными, среди которых общекартвельское **γwl-arǝ-* той же семантики с его закономерными продолжениями по всем языкам и груз.-зан. **γwl-ek-* : *γwl-k-* «извиваться».

Пракартвельское **γwenk-* : *γwnk-* «изгибаться, извиваться» может быть реконструировано на основе сопоставления мегр. *γvanǝ-*, отражающего занское передвижение гласных, и сван. *γunkw-* (масдар *li-γunkw-e*), а также, возможно, груз. *γvenǝ-* «сустав». Естественно сомневаться в принадлежности обеих последних глагольных основ к фонду культурной терминологии. Если, однако, учитывать исторически изменчивый характер культурной лексики, то такие сомнения нередко теряют свою категоричность (так, например, глагол «скручивать(ся)» окажется бесспорным культурным словом в условиях нововведенной технологии производства ве-

ревки). Впрочем, возможная некорректность отдельных из предлагающихся здесь сближений, например, последнего, едва ли способна снять самый предмет настоящего обсуждения.

Картвельское обозначение вина считается одним из звеньев широко распространенного в языках Евразии миграционного термина индоевропейского происхождения. Следует подчеркнуть то обстоятельство, что производство вина и, тем более, знакомство с ним в Грузии восходит к эпохе, задолго предшествовавшей началу армянско-грузинских контактов, обычно приурочиваемых примерно к VI в. до н. э., о чем свидетельствует хорошо разработанная терминология винопроизводства, сложившаяся у картвелов во всяком случае к периоду грузинско-занского единства [ср. **ç₁neç* : *ç₁nix* «давить (виноград)», *(s)a-*ç₁neç-el* «давилица», **çkënd* : *çknd* «осаждать(ся)» (эта глагольная основа, по-видимому, также является одним из продуктов древнейшего ареального взаимодействия индоевропейских и картвельских языков: ср. и.е. **skendh* той же семантики), **txl-* «осадок молодого вина», **z₃mar* // *l* «уксус», а также общекартв. **ter* : *tr* «напиваться, пьянеть»]. Его обозначение имеет, по всей вероятности, общекартвельский характер (предпринимавшиеся в прошлом попытки выведения картвельского слова из армянского или протоармянского источника наталкиваются, как неоднократно отмечалось в специальной литературе, и на препятствия фонетического порядка; ср. [6, с. 42; 7, с. 139—140; 8, с. 334]; нелегко сближаются картвельские названия вина и с их аналогами в анатолийских языках).

Если за давность изолированно стоящего др.-груз. *çvi* «можжевелик» говорит только единообразное по сравнению с предшествовавшими примерами отражения и.е. *v* (по наблюдениям В. Н. Топорова, название можжевелика распространилось по обширным и разноязычным территориям именно как «культурное слово» [9, с. 116]), то значительная древность исключительно сванской глагольной основы *çver* : *çur* «клясться», по-видимому, подтверждается и характеризующим его вокализмом аблаутным чередованием архаичного типа (не менее существенно в последней связи наличие у этой основы апофонического именного коррелята *çwar* «клятва»).

Как нетрудно заметить, ключевую роль в решении поставленного здесь вопроса играет адекватное определение хронологии появления начального *ç* в рассматриваемой картвельской серии. И здесь естественно видеть две основных возможности. С одной стороны, можно допустить, что его развитие происходило уже на собственно картвельской почве в достаточно древнюю историческую эпоху в силу фонетического механизма своего рода обострения (*Verschärfung*) общекартвельского глайда *w* (и в пользу такой возможности говорит его билабиальный, по всей вероятности, характер, о чем свидетельствует, как полагают, остаточное функционирование губно-губного *w* как в древнегрузинском, так и — особенно в определенных позиционных условиях — в различных диалектах современных картвельских языков). С другой стороны, можно предположить, что *ç* картвельской серии является отражением некоторого сегментного элемента, уже наличествовавшего в ее индоевропейских антецедентах.

Принятие первого допущения наталкивается на серьезные трудности, поскольку, судя по имеющемуся в нашем распоряжении материалу, на картвельской почве подобное развитие представляет собой весьма позднее и, что еще более существенно — специфически сванское явление, не затрагивающее совокупности рассматриваемых картвельских фактов. Хронология этого процесса, реализованного и в самом сванском не впол-

не последовательно, определяется тем обстоятельством, что он охватывает здесь наряду с некоторыми исконными лексемами и явно поздние — в частности, средневековые — заимствования. Так, вместе со сван. *γwaš-«тур»* (< общекартв. **wac*₁- «тур, горный козел») здесь имеем сван. *γwaz-«виноградная лоза»* при груз. *vaz-* (< арм. *vaz*), сван. *γwāž-* «юноша, парень» при груз. *važ-*, сван. *γwažār-* «торговец» при груз. *vačar-* (< арм. *vačar*) [10, с. 57—59]. В то же время всего два примера, приводившиеся в специальной литературе с целью обоснования подобного развития в грузинском и мегрельском (груз. *(γ)oynašo-* «тернослива» и *γviala-* — род игрушки типа волчка при мегр. *oγurinaia-* и лаз. *virvil-* — род вращающейся игрушки с ниточным управлением) недостоверны: в первом случае имеем дело с явно некартвельским по своему происхождению словом, вторичность начального спиранта в котором трудно показать (в сванском эта лексема является недавним грузинизмом и лишена начального *γ*), а во втором сопоставлены разнокоренные слова (в мегрельской лексеме выделена основа *γurin-*, в то время как лазское слово либо является редуцированным образованием, либо может быть сопоставлено, согласно догадке Ю. С. Степанова, с известной индоевропейской основой, представленной особенно близкими балто-славянскими формами типа др.-русск. *вьрвь* и литов. *virvė* «веревка»).

Не видно аргументов и в пользу допущения подобного фонетического процесса для сколько-нибудь отдаленного прошлого истории картвельских языков. Весьма показательны в этом плане, что если противоречат грузинские и занские продолжения таких безусловно общекартвельских лексем, как **waš*- «яблоко» (ср. и сванский континуант последнего *wisgw-*) и **wac*₁- «тур, горный козел», не приобретающие начального *γ*. Не подвержены этому процессу и картвельские индоевропейзмы, по-видимому, соотносящиеся уже с последующей эпохой грузинско-занского единства, начальное и.-е. **u* в которых отражается в виде *v*: ср. груз.-зан. **wel*- «поле, луг» при и.-е. **uel* тж., груз.-зан. **wenaq-* «виноградная лоза» (сван. *wenāq-* «виноградник» отражает семантический сдвиг, характерный для соответствующего новогрузинского слова, и поэтому должно трактоваться как относительно поздний грузинизм) при и.-е. **ueinag* тж., груз.-зан. **werz*₁- «самец, баран» при и.-е. **uers* тж.

Если глубокая древность начального комплекса *γw* в рассматриваемой картвельской серии не может быть подвергнута сколько-нибудь серьезному сомнению, то возникает соблазн сопоставления ее составляющих с архетипами индоевропейских основ в их облике, предполагаемом в различных версиях ларингальной теории. В работах исследователей, разделяющих в принципе последнюю, встречаем запись соответствующих индоевропейских архетипов в виде **Hueb*^(h) [2, с. 585, 704, 884], **Huebh* [11, с. 147] или **uebh* [12, с. 192] и т. д. для первой основы, **Hued*^(h) [2, с. 756—757], **Huedh* [11, с. 84, 102] и т. д. для второй, *(*H*)*uel* [13, с. 38, 291; 14, с. 36—37] для третьей, **Hu* [2, с. 583] для шестой, **Huer* [11, с. 86] или *(*H*)*uerH*^u [13, с. 291] для седьмой, где *H* — символ того или иного ларингального. При условии правомерности непосредственного сопоставления картвельских фактов с этими архетипами возникает возможность подтвердить некоторые из известных положений современной ларингалистики. Так, с одной стороны, они оказываются в согласии с отмечаемой некоторыми авторами устойчивостью индоевропейских ларингальных в позиции в соседстве с сонантами и, в частности, с *w* [15, с. 27, 85]. С другой же стороны, представленное в них картвельское увулярное, а по другой классификации — фарингальное, *γ* могло бы как-то подкре-

пить точку зрения тех индоевропейцев, которые предполагают, что «позднее» индоевропейское *H* артикулировалось как звонкий фарингальный спирант [14, с. 88] (приводимые картвельские факты в лучшем случае способны пролить свет на антропофоническую характеристику «позднего» индоевропейского ларингала, считающегося продуктом совпадения обычно принимаемой для более ранней эпохи триады H_1 , H_2 и H_3 в единой фонеме).

В настоящее время не приходится, однако, переоценивать перспективы последовательного доказательства исторической зависимости картвельского γ от индоевропейского *H* в рассматриваемом материале. Необходимо подчеркнуть, что не во всех вовлеченных в сравнение индоевропейских основах видны достаточные основания для реконструкции начального ларингала, что получает свое отражение в несовпадении предлагаемых разными авторами их архетипов. Осложняет эти перспективы и обычный отказ исследователей от его реконструкции в индоевропейском обозначении вина. Преодолевающая, казалось бы, последнюю трудность стоящая особняком точка зрения А. С. Мельничука также не во всем согласуется с картвельским материалом. Автор постулирует в ходе принимаемой им дальней реконструкции единый индоевропейский глагольный корень **uei* (*uei*э, **ui*), несший широкую гамму значений, среди которых автор называет «вить, плести, ткать, гнуть», распределявшихся впоследствии между рядом производных от него основ [16, с. 4—5]. Признавая элемент *i* последнего историческим распространителем, на основе соображений как формального, так и семантического порядка, А. С. Мельничук приходит к выводу, согласно которому интересующие нас корни **uebh*, **uedh*, **uel* и некоторые другие, подобно **uei*, происходят в конечном счете от этимологически единого более древнего корня с начальным ларингальным (по автору — взрывным), отличаясь друг от друга различными распространителями [16, с. 7—9]. Нетрудно заметить, что сказанное выше приводит к постановке методически существенного вопроса о соотносительной ценности архетипа или конъектуры, получаемых в ходе дальней реконструкции, и облика их предполагаемого антецедента, реально засвидетельствованного в некотором языке на правах древнего заимствования.

Однако прежде чем задаться подобным вопросом, необходимо упомянуть другую возможность объяснения начального γ в рассматриваемой картвельской серии, подсказанную нам Э. Поломэ. В виду имеется возможность развития этого спиранта исключительно в заимствованном материале, подобно в некоторой степени аналогичному процессу, засвидетельствованному в истории французского языка, где в инициальной позиции перед историческим билабиальным *w* старых французских германизмов развивается заднеязычное *g*: ср. *guerre* < франк. *werra*, *guigner* < франк. *wingjan*, *guise* < франк. *wisa* и т. д. (ср. [17, с. 559—566]). Таким образом, в настоящее время вполне реально и возвращение к рассмотрению первой возможности на некотором новом уровне — с ограничением материала, подверженного закономерности развития начального γ , заимствованиями. Хотя в прошлом автор настоящей статьи уже высказывался в защиту версии о таком наращении [18, с. 174—175], нельзя не заметить, что принятие последней точки зрения ставит на пути решения вопроса свои препятствия. Так, в картвелистике обычно придерживаются мнения, согласно которому позднее специфически сванское наращение инициального γ объясняется адаптацией иноязычных заимствований с лабиодентальным *v* к сванской фонологической системе, в которой всецело гос-

подствует билабиальное *w* (ср. [10, с. 236]). Однако для глубокого прошлого аналогю подобного рода провести затруднительно, так как в пракартвельской фонологической системе предполагается наличие сонанта *w* (с неслоговым аллофоном скорее всего очень близким к билабиальному), едва ли сколько-нибудь существенно отличным от соответствующего индоевропейского сонанта, вследствие чего не видно оснований для его «обострения» в картвельских индоевропейизмах (как уже говорилось выше, в несколько более поздних индоевропейизмах, соотносящихся с грузинско-запским состоянием, начальное *ϰ* отражалось, по-видимому, в виде *v*).

В заключение остается подчеркнуть, что какой бы из рассмотренных здесь альтернатив мы ни отдали предпочтение, принятие любой из них вносит свой вклад в дальнейшее обоснование тезиса о древних ареальных контактах между картвельскими и индоевропейскими языками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Sköld T.* Drei finnische Wörter und die Laryngaltheorie // KZ. 1959. Bd 76. Hf. 1/2. S. 27—37.
2. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. I. Тбилиси, 1984.
3. *Климов Г. А.* Об ареальной конфигурации протоиндоевропейского в свете данных картвельских языков // ВДИ. 1986. № 3.
4. *Shevoroshkin V.* Indo-European homeland and migrations // Folia linguistica historica. 1987. VII/2.
5. *Гамкрелидзе Т. В., Мачавариани Г. И.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
6. *Lafon R.* Mots «méditerranéens» en géorgien (et dans quelques autres langues caucasiques) // Revue des études anciennes. 1934. T. XXXVI.
7. *Deeters G.* // IF. 1938. Bd 56. Hf. 2. Rec.: Die Indogermanen und Germanenfrage. Neue Wege zu ihrer Lösung.
8. *Vogt H.* Arménien et caucasique du Sud // Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. 1938. Bd IX.
9. *Топоров В. И.* Прусский язык. Словарь. I — К. М., 1980.
10. *Топуриа В. Т.* Фонетические наблюдения над картвельскими языками // Топуриа В. Т. Труды. III. Тбилиси, 1979 (на груз. яз.).
11. *Schmitt-Brandt R.* Die Entwicklung des Indogermanischen Vokalsystems. Versuch einer inneren Rekonstruktion. Heidelberg, 1967.
12. *Бенвенист Э.* Индоевропейское именные словообразование. М., 1955.
13. *Adrados Fr. R.* Estudios sobre las laringales indo-europeas. Madrid, 1964.
14. *Гамкрелидзе Т. В.* Хеттский язык и ларингальная теория // Тр. Ин-та языкознания. Сер. вост. языков. Т. III. Тбилиси, 1960.
15. *Lehmann W. P.* Proto-Indo-European phonology. Austin, 1952.
16. *Мельничук А. С.* Этимологическое гнездо с корнем **uej* в славянском и других индоевропейских языках: Докл. на VIII Международном съезде славистов. Киев, 1978.
17. *Fouché P.* Phonétique historique du français. V. III: Les consonnes et index général. 2^e édition revue et corrigée. P., 1966.
18. *Климов Г. А.* Дополнения к «Этимологическому словарю картвельских языков». II. // Этимология, 1983. М., 1985.

ЗИНДЕР Л. Р., КАСЕВИЧ В. Б.

ФОНЕМА И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. В настоящее время центр тяжести в лингвистических исследованиях закономерно сместился в сторону семантики, прагматики, изучения текста. Вместе с тем из признания закономерности такого изменения приоритетов отнюдь не следует, что другие аспекты языка и речевой деятельности — и, в частности, фонологический — уже получили в науке вполне удовлетворительное освещение, что можно говорить об основополагающих теоретических представлениях, принятых большинством специалистов, и т. п. Что касается фонологии, то именно в этой области продолжается бурный процесс возникновения и развития новых концепций и школ — достаточно вспомнить натуральную фонологию [1, 2], натуральную порождающую фонологию [3], аутоsegmentную фонологию [4], лексическую фонологию [5, 6]; существуют и попытки совместить, синтезировать в рамках единого подхода некоторые из концепций последних 10—15 лет [7].

Мы не ставим своей задачей анализ современного состояния фонологии. Более того, упоминание тех или иных из существующих фонологических концепций будет носить в нашей статье скорее попутный характер. Мы хотим лишь кратко обрисовать свое понимание объекта теории, который всегда стоял в центре фонологических штудий, — фонемы. Дело в том, что, как показывает знакомство с современной литературой, в термин «фонема» разные авторы вкладывают неодинаковое содержание, одновременно молчаливо исходя из того, что фонема есть нечто самоочевидное. Немало и исследователей — главным образом среди специалистов в области психолингвистики, автоматического анализа и синтеза речи, — которые вообще отрицают адекватность, полезность понятия фонемы. Продолжается полемика и вокруг соотношения фонологии и фонетики в узком смысле слова. Все это вызывает необходимость вернуться еще раз к рассмотрению некоторых кардинальных положений науки о звуковой стороне языка и речевой деятельности.

2. Начнем с определения фонемы, с которым, видимо, согласится большинство лингвистов: фонема есть минимальная линейная единица плана выражения. Важно, какое толкование получают компоненты приведенной дефиниции. Что касается м и н и м а л ь н о с т и фонемы, то она проявляется тройным образом.

2.1. Фонема — необходимый и достаточный звуковой минимум для конституирования морфемы, точнее, экспонента последней. Именно это и имел в виду Л. В. Щерба, говоря о потенциальной соотносительности фонемы со смыслом [8]: некоторое «звучание» приобретает статус языковой единицы в силу того, что оно «само по себе» способно выступать в качестве материальной оболочки знаковой единицы — морфемы. Иначе говоря, фонемный статус определяется функциональным. Коль скоро фонемы су-

ществуют именно для того, чтобы служить строительным материалом для языковых знаков (их экспонентов), мельчайшими среди которых являются морфемы, то и фонемная самостоятельность непосредственно определяется морфемной. Когда представители современной натуральной фонологии говорят, что «две главные функции сегментной фонологии — это сделать язык произносимым и воспринимаемым» [2, с. 32], то и в этом утверждении мы видим апеллирование к аналогичным функциональным признакам, но только без необходимых уточнений.

Оговоримся, что способность выступать в качестве экспонента морфемы не следует понимать как операциональный критерий. Если некоторый сегмент выступает как экспонент морфемы, то из этого вытекает, что он включает не менее одной фонемы. Неспособность самостоятельно выполнять указанную функцию еще ни о чем не говорит: случайности исторического развития могут налагать самые разные ограничения на употребимость в данном языке однофонемных морфем. Важна принципальная возможность для фонемы как таковой служить конститутивным минимумом по отношению к морфеме.

2.2. Фонема является тем минимумом, до которого можно «дойти» в процессе функциональной сегментации языковой единицы. Это — другой аспект того же функционального подхода. Как сам фонемный статус зависит от конститутивных потенций, так и линейная выделяемость фонемы в составе морфемного экспонента обусловлена мотивированностью ее границ морфологическими границами. Действительно, если фонема — минимальная единица плана выражения, конечная составляющая применительно к морфемным экспонентам, то у нее не может быть частей, которые оказывались бы в составе разных звуковых морфем, т. е. разрывались бы морфологической границей. Еще точнее — у фонемы вообще не может быть линейно вычленимых частей, оправдываемых функционально.

Наличие морфологической границы абсолютно недвусмысленно свидетельствует о бифонематичности, хотя ее отсутствие — не только в экспоненте данной морфемы, но и вообще в последовательности данного типа — еще не говорит о монофонематичности (подробнее см. [9, с. 17—33]). Для нас, впрочем, сейчас важны не проблемы фонологической сегментации как таковой, но лишь то, какой смысл следует вкладывать в положение о минимальности фонемы. Чтобы прояснить свою позицию, добавим, однако, что в вопросах, связанных с сегментацией, нужно различать несколько аспектов. Прежде всего, конечно, ясно, что фонологическая сегментация — это никак не установление временных границ в акустическом сигнале. Такая сегментация устанавливает лишь число фонем в данной последовательности. Необходимость сегментации с этой точки зрения диктуется потребностями фонологического лингвистического анализа, в задачи которого входит выяснение фонемного инвентаря языка. Правда, далеко не все фонологические школы признавали фундаментальную роль процедур сегментации, считая их скорее частной проблемой (ср., например [10]). Между тем принцип сегментации отнюдь не носит локального характера. Если фонологическая концепция не включает представлений о том, какие звуковые последовательности должны трактоваться в качестве поли-/монофонемных, то она очевидным и существенным образом неполна. Ведь без соответствующего теоретического и процедурного аппарата фонолог не в состоянии обосновать предлагаемые решения, не может, например, доказать, что в парадigmatике данного языка есть фонема /au/, а в синтагматике отсутствует внутрислоговое сочетание /aw/ или же наоборот.

Сегментация, которую лингвист устанавливает методами функционального анализа, конечно, имеет подлинную ценность тогда, когда она адекватна языковой компетенции (интуиции) говорящего/слушающего (как выявить последнюю — отдельная проблема). Но одновременно следует ясно сознавать различие ситуаций, в которых возникает проблема фонологической сегментации. Для лингвиста, занимающегося выяснением языковой системы (равным образом и для ребенка, усваивающего язык), способ сегментации должен быть установлен однозначно применительно к любой из разрешенных в языке звуковых последовательностей — ведь от этого зависит окончательный вид, который примет выявляемая система фонем. Однако для человека, в полной мере владеющего системой языка, уже не существует абсолютной необходимости фонологической сегментации в качестве предварительного условия успешного восприятия речи: понимание звучащего текста не требует обязательного текущего сегментирования и вообще «сплошного» фонологического анализа (подробнее см. ниже).

Итак, фонема выступает не только как конститутивный, но и как сегментивный минимум.

2.3. Наконец, фонему можно рассматривать и как л о к о м о ц и о н н ы й минимум: фонемы — минимальные линейные единицы, в терминах которых могут описываться трансформации слогов и/или морфем, реализующиеся как перемещения (опущения) звуковых последовательностей. Ясно, что если наблюдается переход наподобие *сок* → *со-ка*, где меняется слоговая отнесенность *к*, или *Брянск* → *брянцы*, где усечению подвергается *ск*, то такие процессы затрагивают по меньшей мере одну фонему. Таким образом, минимальность фонемы состоит в том, что она выступает одновременно как конститутивный, сегментативный и локомоционный минимум.

3. Обратимся теперь к л и н е й н о с т и фонемы. Речь разворачивается во времени и в этом смысле характеризуется линейностью. Для фонем как линейных единиц существенно отношение порядка, т. е. следования / предшествования (ср., например, *псарь* ~ *спарь*).

Линейность и минимальность тесно связаны. Все обсуждавшиеся выше аспекты («виды») минимальности относились к функциям фонемы как линейной единицы. Лишь одна функция фонемы — дистинктивная, выступающая следствием конститутивной, — не требует линейности. Для различения двух фонем и, соответственно, двух морфем достаточно «замены» одного дифференциального признака. Из этого, однако, не следует, как иногда полагают, что дифференциальный признак в таких случаях и является экспонентом морфемы. Морфема — также линейная единица (возможно, уже само понятие единицы предполагает линейность). Средством передачи значений в соотношениях наподобие рум. /lup/ «волк» ~ /lup'/ «волки» служит чередование фонем, различающихся одним дифференциальным признаком (разумеется, возможно и расхождение большего числа признаков).

Из признания линейности фонемы вытекает неприемлемость ее сведения к пучку (набору) дифференциальных признаков. Дифференциальные признаки нелинейны, для них недействительно отношение порядка¹:

¹ Р. Якобсон и Л. Во, признавая simultaneity дифференциальных признаков, считают возможным устанавливать фонемную сегментацию с опорой на признаки: «...сегментация [звуковой] цепочки на последовательность признаков позволяет ее [звуковой] цепочки. — З. Л., К. В.] дальнейшую сегментацию на фонемы» [11]. Однако обосновывается это тем, что всегда сохраняется порядок следования комплексов

невозможно утверждать, что, скажем, смычность предшествует сонорности или наоборот; с фонологической точки зрения все дифференциальные признаки фонемы реализуются одновременно².

Отсюда следует, в свою очередь, что фонема, «составленная» из дифференциальных признаков, была бы столь же нелинейной. В этом случае невозможно объяснить переход от принципиально нелинейной фонемы (= пучка дифференциальных признаков) к принципиально линейной морфеме, хотя именно такой переход должна обеспечивать центральная функция фонемы — конститутивная [9].

Отрицание фонемы, которая была бы тождественной набору дифференциальных признаков, разумеется, не означает отрицания самих дифференциальных признаков и их роли в фонологической системе языка. Именно дифференциальные признаки превращают инвентарь фонем в систему, именно закономерности распределения фонем по подсистемам в соответствии с их дифференциальными признаками в значительной степени объясняют происходящие в фонологии диахронические сдвиги и т. д.

4. Лингвист — а равным образом и ребенок, усваивающий язык, — «приходит» к фонемам исследуемого языка, абстрагируя их от существующих в языке морфем, которые, в свою очередь, абстрагируются от слов; слова таким же образом лингвист получает в отвлечении от высказываний, а высказывания — в отвлечении от текстов. Такая теснейшая «привязанность» фонем к значимым единицам приводит к важнейшим следствиям. Значение нематериально, поэтому тождественность/нетождественность значимых единиц — морфем — может реализоваться и поддерживаться, казалось бы, только за счет тождественности/нетождественности их экспонентов. Последние представлены фонемными цепочками, а это приводит к мысли, что одна и та же морфема должна всегда иметь экспонент, включающий постоянный набор фонем. Возникает известный в лингвистике тезис «одна морфема — одна фонема».

В рассуждениях подобного рода безусловно верно распространение функционального подхода на область парадигматики: подобно тому, как выделение фонологически минимальных сегментов лингвист производит с опорой на функциональные, морфологические критерии, отождествление полученных указанным способом сегментов — «сведение (алло)фонем в фонемы» — равным образом основывается на их функциях.

В то же время абсолютизировать взаимнооднзначность морфологического (морфемного) и фонологического (фонемного) тождества нельзя. Дело в том, что, кроме соотношения означающего и означаемого, знак характеризуется также синтактикой и прагматикой. Иначе говоря, реализация тождественности/нетождественности знака и, в частности, морфемы может обеспечиваться не только одинаковыми/разными означающими (экспонентами), но и различными синтагматическими, комбинаторными потенциями, вхождением в разные фрагменты системы, разным использованием в соответствии с актуальным выбором, который осуществляет носитель языка. Отсюда достаточно широкие возможности фонологической вариативности, синонимии и омонимии морфем. Вряд ли есть линг-

дифференциальных признаков по их ассоциированности с «минимальными сегментами цепочки». Что понимать под последними — не поясняется; если реально имеются в виду корреляты фонем, то рассуждение совершает порочный круг.

² На нелинейность дифференциальных признаков, их связанность в рамках фонем указывают и материалы речевых ошибок: в абсолютном большинстве случаев ошибки заключаются в перестановке согласных или гласных, а не их дифференциальных признаков [12].

висты, которые не признают синонимии слов, предложений (высказываний), но ведь, скажем, английские показатели множественного числа существительных *-s* и *-en* — тоже синонимы, а */-s/*, */-z/*, */-iz/* соотносятся как варианты, алломорфы, приуроченные к разным контекстам.

Как только мы лишаем тезис «одна морфема — одна фонема» его абсолютного прочтения, становится ясно, что существуют разные градации звуковых изменений экспонента морфемы: собственно фонетическое варьирование, ср. [čilav'ek] ~ [čilav'ek^o] (*человеку*), живое (автоматическое) фонологическое, ср. [čilav'ek'] (шутл. *человеки*), историческое фонологическое, ср. [čilav'eč] (*челoveчек* и т. п.), супплетивное, ср. /'ud'/ (*люди*), где налицо уже синонимия. Остается определить, где граница в этой последовательности, которая отделяла бы область фонологических вариантов морфемы и, отсюда, область вариантов фонемы. Как известно, школа Щербы (в одной из существующих редакций) решает этот вопрос так: вариантами, аллофонами одной фонемы являются фоны, которые в составе морфемы всегда взаимозаменяемы внеконтекстно или, наоборот, как следствие изменения контекста.

4.1. «Невстречаемость» фонем вне знаковых единиц имеет и другое, более частное следствие. Поскольку и у лингвиста, и у человека, стихийно усваивающего язык, нет иного источника установления фонем, кроме словаря, с которым он реально имеет дело, то состав фонем прямо зависит от состава словаря. С этой точки зрения пресловутая проблема фонемы /ы/ в русском языке, как неоднократно отмечалось [13], никак не связана с различиями в подходах той или иной школы: если есть в словаре слова, где /ы/ находится в независимой позиции, т. е. не всегда подлежит замене в составе того же алломорфа при изменении контекста, то существует в системе и самостоятельная фонема /ы/; если таких слов нет, то нет и оснований говорить о фонеме /ы/ [9, с. 54]. Другое дело, что «предрасположенность» к появлению такой фонемы реальна и вне зависимости от состава словаря: [ы] и [и] в большинстве контекстов соотносятся так же, как [а] и [æ] и т. п., однако в то же время основным вариантом выступает [а], а не [æ], именно [а], а не [æ] в большей степени независим от контекста. В результате возникает тенденция к возникновению единицы, которая, относясь к [и] так же, как [а] к [æ], [е] к [e] и т. д., была бы способна, подобно первым членам указанных пар, занимать независимую позицию. Надо заметить, конечно, что утверждение [ы] в ранге фонемы не устраняет асимметрии, т. к. [и], дистрибутивно и фонетически параллельный, как сказано, [æ], [e], выступает в качестве фонемы /i/, в то время как [æ], [e] не составляют отдельных фонем, будучи вариантами /a/, /e/ соответственно. По существу, именно эту особенность /ы/ имел в виду Бодуэн, говоря о ее «нестабильности».

4.2. Еще одно следствие тесной связи фонем со значащими единицами заключается в том, что уже экспоненты элементарных знаков — морфем — несводимы к цепочкам фонем (даже если отвлечься от слоговой структуры и просодических характеристик, что мы оставляем в стороне). Иначе говоря, специфичность экспонента не определяется полностью его фонемным составом. Можно выделить три самостоятельных аспекта указанного обстоятельства.

4.2.1. Как известно, не все правила, которым подчиняются фонемные последовательности, определяются в фонологических терминах. Абсолютно тождественные цепочки фонем ведут себя по-разному в неодинаковых морфологических и лексических контекстах (ср. хрестоматийные примеры наподобие *sing + er* → *singer* /sɪŋə/, но *long + er* → *longer* /lɔŋə/).

Отсюда, главным образом, и вытекает необходимость морфологии наряду с фонологией. Различие между ними понимается разными школами по-разному, а некоторыми не принимается вовсе. Уже Э. Сепир писал: «Если бы даже английский был бесписьменным языком, парадигматически (*configuratively*) обусловленное фонологическое различие между такими дублетами, как *sawed* и *soared*, все-таки „слышалось“ бы в качестве коллективной иллюзии, принимаясь за подлинное фонетическое различие» [14].

Здесь знаменательно упоминание письменности. Действительно, написание тоже сказывается на том, как носитель языка воспринимает языковые единицы. Л. В. Щерба писал о «неразрывном единстве», которое образуют «два ряда образов — зрительный и слуховой» [15]. Исследователи звукосимволизма утверждают, что определенные эмоционально-смысловые ассоциации связаны в типичном случае не столько со «звуками», сколько со «звукобуквами» [16]. Но ведь из тесного взаимодействия и даже «смешивания» разных сторон знака не следует, что последние не существуют в качестве относительно самостоятельных, автономных аспектов. Недавно М. Халле предложил в качестве образа, соответствующего знаку, проволочную спираль, которая соединяет листки тетради или записной книжки: листки символизируют своего рода файлы однотипной информации, относящейся к знаку — словарной единице (фонемный состав, просодические характеристики, морфологические, синтаксические свойства и т. п.) [7]. Образ остроумен и довольно выразителен, он передает именно как автономность, так и связанность разных сторон знака (хотя ему недостает отражения их сложных взаимоотношений и взаимозависимостей, вплоть до интерференции).

4.2.2. Менее исследована несводимость экспонента к сумме фонем, которая проявляется в реальности фонетического облика слова. Это понятие, введенное С. П. Бернштейном [17], помогает, в частности, объяснить некоторые диахронические сдвиги, которые иначе остаются загадочными. Примером могут служить в сущности любые виды фонологизации аллофонов наподобие возникновения германского умлаута: исчезновение контекста, обуславливающего появление данного аллофона (ср. ср.-в.-нем. *schoene* < др.-в.-нем. *scōni*), здесь не приводит, как ожидалось бы, к замене самого аллофона — напротив, последний не только удерживается, но и «повышается в ранге», становится самостоятельной фонемой. Можно думать, что для сохранения фонетического облика слова может быть релевантной и аллофоничная структура экспонента. При (некоторых) диахронических изменениях, соответственно, остается постоянным именно фонетический облик слова, хотя фонологический статус части его компонентов изменяется [13]. Делалась также попытка ввести в понятие фонетического облика слова представление о просодиях примерно в том значении, которое придается этому термину Лондонской школой просодического анализа: в этом случае предлагается считать, что, скажем, «палатальность» в гот. *fulljan* — аллофоническая для [y] и фонологическая для /j/ — выступает как признак (просодия) слова в целом, поэтому она и удерживается в /y/, фонологизируясь, несмотря на падение /j/, служившего каузальным контекстом (ср. совр. нем. *fällen* [18]).

4.2.3. Возможно, наиболее интересен аспект, связанный с тем, что в процессах восприятия речи слово и другие сложные знаки также, по-видимому, фигурируют как некоторые целостные объекты; в частности, их экспоненты и здесь не выступают как простые совокупности, «суммы» соответствующих фонем.

Обращение к словам как оперативным единицам восприятия речи (ниже мы будем говорить преимущественно о словах, на материале которых вопрос относительно лучше изучен) объясняется по крайней мере тремя взаимосвязанными причинами. Во-первых, для исключительно фонемного восприятия недостаточна разрешающая способность слухового анализатора человека: при необходимости постоянно осуществлять текущее перекодирование поступающего акустического сигнала в цепочку фонем слуховой анализатор должен перерабатывать слишком большое количество информации в единицу времени [19]. Во-вторых, значительная часть акустических сегментов «нормальной» речи характеризуется неполным типом произнесения [20]; их объективных характеристик просто недостаточно для того, чтобы дать им фонемную интерпретацию. Наконец, в-третьих, человеку вообще свойственна тенденция к укрупнению единиц и признаков в процессах восприятия, т. к. это повышает быстроту действия соответствующих механизмов, существенную с приспособительной точки зрения.

В указанных условиях слушающий, пользуясь признаками слова как целостной единицы, относит его к некоторому классу. В информационно насыщенной среде, обычной для речевого общения, идентификации слова с точностью до некоторого класса обычно достаточно: к тому моменту, когда появляется необходимость в распознавании данного слова, возможности выбора уже значительно сужены предтекстом, ситуацией, опытом и установкой слушающего. Если же выбор шире класса, с точностью до которого можно опознать слово как целое, то человек пускает в ход имеющиеся в его распоряжении стратегии более детального анализа звукового облика слова, устанавливая фонемный состав экспонента или его часть, достаточную для успешного распознавания.

Следует подчеркнуть, что идентификация фонем, входящих в экспонент слова, — необходимый компонент любых стратегий восприятия речи. Различны лишь пути, которыми достигается данный результат. В одном случае фонемный состав экспонента становится известным просто в силу того, что опознается — «угадывается» — слово благодаря опоре на его обобщенные признаки и использованию эвристических процедур: коль скоро слово не существует вне своей фонемной оболочки, то его распознавание, т. е. соотнесение с единицей словаря, есть одновременно установление фонемного экспонента. В другом случае фонемы экспонента устанавливаются в результате непосредственного анализа — тоже активного и направляемого некоторым смысловым заданием, — который прилагается к фонетической картине, «поставляемой» в распоряжение перцептивных процессов периферическими механизмами. Как правило, субъективного различия между двумя путями определения фонемного облика слов не существует.

5. В связи со сказанным нужно хотя бы очень кратко остановиться на следующих вопросах: соотношение обобщенных признаков (например, слов) и дифференциальных признаков фонем, соотношение дифференциальных признаков и их коррелятов.

Весь комплекс признаков слова как целостной единицы не изучен еще достаточным образом на материале какого бы то ни было языка (даже сама постановка вопроса не всеми признается законной). Часть их, однако, давно известна: это длина слова в слогах, акцентный или тональный контур, сингармоническая модель, консонантный «скелет» слова, обладающий особой информативностью. Последнее показывает, что в качестве признаков слова могут выступать особым образом организованные,

частично реинтерпретированные дифференциальные признаки фонем. Здесь мы опять приходим к целесообразности использования понятия просодий, разработанной Лондонской школой. По-видимому, наряду с более или менее стандартным набором просодий, упомянутых выше — как просодического характера в традиционном смысле термина, так и сегментной природы, — эвристические процедуры речевосприятия могут опираться на любые доступные признаки, которые в данном конкретном случае оказываются полезными.

Говоря о дифференциальных признаках фонемы, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что это — категория достаточно высокой степени абстракции. Когда, например, индологическая традиция вслед за древнеиндийской утверждает, что /t/, /d/, /n/ и т. д. единообразно противопоставлены /t/, /d/, /n/ и т. д. как простые — церебральным (букв. «мозговым»), то собственно лингвистический и даже, пожалуй, психолингвистический вопрос решается адекватно (остается лишь спорить об уместности термина). Ведь здесь верно определены ряды оппозитивных фонем, установлено, что в основе противопоставленности каждой пары лежит один и тот же признак. Акустико-артикулярные корреляты признака — отдельная проблема. Причем даже эти корреляты не следовало бы отождествлять с рецепторными (сенсорными) «чувственными впечатлениями», поскольку «непосредственные следы внешних воздействий на органы чувств еще не являются знанием или его самостоятельным элементом» [21]. В процессе речевосприятия корреляты дифференциальных признаков тоже в известном смысле «строятся» в результате активного поиска, одновременно перекодируясь в дифференциальные признаки.

6. Итак, обобщенные признаки слов (и других значимых единиц) существуют с дифференциальными признаками фонем, особым образом с ними взаимодействуя. Нет каких бы то ни было оснований сомневаться в реальности фонем и самостоятельного фонемного кода. Реальность фонем подвергают сомнению, выдвигая обоснования тройкого рода: фонем нет — есть морфемы (порождающая фонология); фонем нет — есть пучки дифференциальных признаков (также порождающая фонология и некоторые другие направления); фонем нет — есть признаки слов (или слогов), в терминах которых реально осуществляется восприятие речи [22]. В последнем случае для фонем обычно делается «уступка»: их необходимость признается постольку, поскольку фонемы — удобный «алфавит» для записи единиц словаря и/или результат дискретизации, вызываемой применением письменности и транскрипции [22—24].

Нам представляется, что изложенное выше показывает истоки такого рода концепций и одновременно их неосновательность. Фонемы — действительно наиболее удобный «алфавит» (код) для хранения в словаре языковых единиц. В связи с этим возникает объективное противоречие, которое можно было бы назвать парадоксом фонологического кодирования. С одной стороны, как сказано, фонемный код — самый экономный для записи и хранения словарных единиц, в силу чего последние просто не существуют без своих фонемных «оболочек». С другой стороны, в процессах восприятия речи тот же код оказывается наименее экономным, а в значительной части случаев даже неприменимым в силу ограниченности разрешающей способности слухового анализатора и несовершенства акустического речевого сигнала. Парадокс находит свое разрешение в том, что в процессах восприятия речи преимущественно используются «надфонемные» коды, а фонемная запись выступает как своего рода побочный продукт распознавания, обеспеченного в большой сте-

пени «в обход» фонем. Тем не менее фонемный код, пусть с перцептивной точки зрения недостаточно эффективный и экономный, остается принципиально доступным и необходимым, ибо в противном случае и языковая система, и перцептивные механизмы лишаются абсолютно необходимого свойства открытости: не имея возможности прибегать к фонемному коду, человек не смог бы воспринимать новые и вообще мало предсказуемые языковые единицы.

Фонемы — материальный фундамент языка, без которого его существование и функционирование немислимо.

7. В то же время данное утверждение теряет силу за пределами материала фонемных, или неслоговых, языков. Дело в том, что в слоговых языках — китайском, вьетнамском, бирманском и целом ряде других — просто нет звуковой единицы, которая одновременно обладала бы всеми тремя «минимальностями», придающими звуковой единице ранг фонемы. В слоговых языках конститутивным минимумом выступает слог, сегментативным — своего рода непосредственно составляющие в его составе, инициаль и финаль, а звуковой единицы, которая проявляла бы свойства локомационного минимума по отношению к слогу, здесь не существует вообще (подробнее см. [9]).

Однако указанная специфика слоговых языков с интересующей нас точки зрения сказывается лишь на том, что вместо одной звуковой единицы, одновременно минимальной в разных отношениях, слоговые языки выстраивают некоторую иерархию единиц, каждая из которых, так сказать, минимальна по-своему. Все же положения относительно сосуществования и взаимодействия фонологических кодов, разумеется, сохраняют силу и для слоговых языков.

Как можно видеть, фонологическая специфика слоговых языков определяется их грамматическими особенностями. Это лишний раз показывает, что системность языка всегда проявляется в двух противоположных тенденциях: в автономности разных аспектов и их взаимозависимости. Только учет обеих тенденций позволяет получить адекватное описание языка и его функционирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Stampe D.* A dissertation on natural phonology. Garland, 1980.
2. *Dressler W. U.* Explaining natural phonology // *Phonology yearbook*, I. Cambridge, 1984.
3. *Hooper J. B.* An introduction to natural generative phonology. N. Y., 1976.
4. *Goldsmith J.* The aims of autosegmental phonology // *Current approaches to phonological theory* / Ed. by Dinnsen D. A. Bloomington; London, 1979.
5. *Mohanan K. P.* Lexical phonology. Bloomington, 1982.
6. *Kiparsky P.* From cyclic phonology to lexical phonology // *The structure of phonological representations*. V. 1 / Ed. by van der Hulst H. and Smith N. Dordrecht, 1982.
7. *Halle M.* Speculations about the representation of words in memory // *Phonetic linguistics: Essays in honor of Peter Ladefoged* / Ed. by Fromkin V. Orlando, 1985.
8. *Щерба Л. В.* Фонетика французского языка. М., 1957.
9. *Касевич В. Б.* Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.
10. *Реформатский А. А.* Из истории отечественной фонологии. М., 1970. С. 109.
11. *Jakobson R., Waugh L. R.* The sound shape of language. Bloomington; London, 1979. P. 26.
12. *Fowler C. A.* Reply to commentators // *Journal of phonetics*. 1986. V. 14. № 1. P. 165.
13. *Зиндер Л. П.* Общая фонетика. М., 1979.
14. *Sapir E.* The psychological reality of phonemes // *Phonological theory: Evolution and current practice* / Ed. by Makkai V. P. N. Y., 1972. P. 27.

15. *Шерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 166.
16. *Журавлев А. П.* Звук и смысл. М., 1981.
17. *Бернштейн С. И.* Вопросы обучения произношению. М., 1937. С. 25.
18. *Касевич В. Б.* О фонетике и фонологии слова // Морфемика: Принципы и методы системного описания / Отв. ред. Герд А. С. и Бондарко Л. В. Л., 1987.
19. *Либерман А. М. и др.* Некоторые замечания относительно эффективности звуков речи // Исследование речи. Новосибирск, 1967.
20. *Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В., Зиндер Л. Р., Касевич В. Б.* Стили произношения и типы произнесения // ВЯ. 1974. № 2.
21. *Смирнов С. Д.* Психология образа: Проблема активности психического отражения. М., 1985. С. 136.
22. *Warren R. M.* Auditory perception and speech evolution // Origins and evolution of language and speech / Ed. by Harnard S. R. e. a., N. Y., 1976.
23. *Lütke H.* Die Alphabetschrift und das Problem der Lautsegmentierung // Phonetica. 1969. V. 20. № 1.
24. *Marcel T.* Phonological awareness and phonological representations: Investigation of a specific spelling problem // Cognitive processes in spelling. L., 1980.

КАСАТКИН Л. Л.

ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ФОНЕТИКИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Бодуэн де Куртене установил закономерность развития русской фонетической системы, которую М. В. Панов назвал «законом И. А. Бодуэна де Куртене»: «... в русском языке ... упрощается система гласных, усложняется система согласных» [1]. Можно установить еще одну тенденцию, действующую в русском языке с древнерусского периода. Она связана с изменением русской артикуляционной базы.

Одним из основных признаков, характеризующих артикуляционную базу языка, является степень напряженности артикулирующих органов в момент речи. Существуют языки с высокой и с низкой степенью напряженности органов речи при речеобразовании. К языкам первого типа относят, например, английский, французский, финский и ряд других языков; русский язык относится к языкам второго типа (см. [2]).

Одна из тенденций изменения артикуляционной базы русского языка может быть определена как переход от более напряженной артикуляционной базы к менее напряженной. Проявляется это в том, что большинство фонетических процессов русского языка, начиная с древнерусского периода, приводит к меньшей напряженности его артикуляционной базы.

Изучение в полном объеме степени напряженности органов речи в момент различных артикуляций при помощи инструментальных методов — дело будущего. Пока что мы можем выдвигать лишь более или менее правдоподобные гипотезы в этой области. В дальнейшем рассмотрении фонетических изменений в русском языке я буду исходить из четырех таких гипотез.

1. Различение большего числа звукотипов в одном и том же артикуляционном пространстве требует большего напряжения органов речи. Иначе говоря, чем меньше области рассеивания звукотипов, представляющих разные фонемы в одной и той же позиции, и чем ближе друг к другу центры этих областей, тем больше должно быть напряжение артикулирующих органов. (Чтобы выстрелить из заряженного ружья, надо нажать на спусковой крючок. Но чтобы при этом еще и попасть в цель, требуется гораздо больше усилий).

Ослабление напряженности артикуляции может произойти в результате а) уменьшения количества звукотипов, различающихся в данном артикуляционном пространстве, и б) увеличения самого артикуляционного пространства.

1.1. За тысячу лет развития значительно изменился состав гласных фонем русского языка за счет утраты особых звукотипов. В зоне переднего ряда последовательно происходила утрата таких звуков, как носовой [ē], затем [ь], позднее гласного, соответствующего ⟨ѣ⟩, им был, очевидно, дифтонг [iē]. Точно так же в зоне заднего ряда происходила утрата носового [ō], затем [ъ], затем [yō] — основного представителя ⟨о⟩. Таким

образом, на протяжении истории языка происходило уменьшение количества гласных, различающихся в одной и той же позиции в одном и том же артикуляционном пространстве.

1.2. Замена оканья аканьем была связана с возникновением неразличения гласных фонем неверхнего подъема в безударных слогах. В современном русском литературном языке под ударением различается в одной и той же позиции пять гласных звуков, являющихся представителями пяти фонем. Безударные гласные произносятся с меньшим напряжением: в безударном положении различается лишь три или два гласных. В настоящее время отмечается тенденция к полному неразличению безударных гласных в некоторых позициях (см. [3]). В современных окающих говорах, сохраняющих более древнее состояние, в разных безударных позициях различающихся гласных звуков либо столько же, сколько и под ударением, либо больше, чем в акающих говорах и литературном языке.

Меньшая напряженность артикуляции гласных в акающих говорах и в литературном языке по сравнению с окающими говорами связана также еще с одной особенностью: челюстной раствор акальщиков больше, чем у окальщиков. Большой челюстной раствор создает большее артикуляционное пространство.

Таким образом, замена оканья аканьем приводила к уменьшению количества звукотипов, различающихся в части позиций в том же артикуляционном пространстве, и к увеличению самого этого пространства.

1.3. В архаических русских говорах обнаружено особое качество мягких согласных — их палатальность, и высказано предположение, что палатальная зона — более древнее место образования мягких согласных русского языка: [4, с. 48—49; 5; 6, с. 41, 65—66, 70; 7, с. 72—76, 114—130, 159—163; 8]. Впоследствии палатальные согласные заменялись палатализованными. Механизм этого изменения можно представить как расширение зоны артикуляции мягких согласных.

Различия между разными палатальными согласными заключаются лишь в небольших особенностях конфигурации напряженной части языка. Так, [с', ш', х'] образуются при опущенном кончике языка и приподнятой средней части спинки языка. Различие между этими звуками создается главным образом за счет формы и длины щели, образуемой в верхней точке языка: круглой длинной щели у [с'], плоской длинной щели у [ш'], плоской короткой щели у [х']. Для того, чтобы звуки эти достаточно хорошо различались, необходимо значительное напряжение языка.

Звуки [т', д'] и [к', г'] образуются в близком соседстве в палатальной зоне. Небольшое ослабление напряженности их артикуляции приводит к смещению областей рассеивания этих звукотипов. Такое неразличение этих звуков наблюдается в некоторых русских говорах.

Сохранение различения мягких согласных фонем требовало удаления друг от друга зон образования воплощавших их звуков. Этим и следует, по-видимому, объяснить передвижение части этих звуков в переднеязычную зону. Во многих современных русских говорах, как и в литературном языке, [с'] — зубной согласный, [ш'] — переднеязычный, [х'] — среднеязычный, [т', д'] — зубные согласные, [к', г'] — среднеязычные. Расширение артикуляционной области этих звуков снимало напряженность органов речи при их образовании¹.

¹ О большей напряженности палатальных согласных по сравнению с палатализованными см. [6, с. 62—64, 66].

1.4. После падения редуцированных гласных возникает процесс оглушения звонких согласных на конце слова. В позиции конца слова стало различаться меньшее число звуковых единиц и тем самым должна была ослабиться напряженность артикулирующих органов в этой позиции. Оглушение звонких согласных на конце слова иногда называют редукцией [9].

Однако в разных языках этот процесс может приводить к противоположным результатам с рассматриваемой точки зрения. Глухие согласные слабее звонких в том смысле, что при артикуляции глухих нет вибрации голосовых связок. Следовательно, при оглушении звонких артикуляция упрощается, что может привести и к ее общему ослаблению.

Но при образовании глухих согласных больше напряжения органов, создающих преграду воздушной струе в полости рта. Чтобы глухие согласные воспринимались не хуже звонких, у них должен быть интенсивнее шум. Большая напряженность в ротовой полости — компенсация за ослабление напряженности мышц гортани.

Конец слова в разных русских говорах имеет разную силу. Это зависит от особенностей ритмической структуры слова. В севернорусских говорах конечный безударный слог выделяется большей напряженностью, чем в южнорусских. Но и в южнорусских говорах, как и в литературном языке, конечный безударный слог — единственная позиция, где в безударном положении нет полного совпадения, неразличения всех гласных фонем неверхнего подъема (см. [10]).

В севернорусских говорах оглушение звонких согласных на конце слова могло приводить к повышению напряженности конца слова: в этих говорах глухие — значительно напряженнее звонких. Так же было, например, в немецком языке. В южнорусских говорах это оглушение звонких на конце слова могло приводить к ослаблению общей напряженности. Но само по себе это изменение не свидетельствует однозначно о направлении изменения напряженности.

1.5. После падения редуцированных гласных происходят различные процессы ассимиляции согласных по глухости — звонкости, твердости — мягкости, месту и способу образования (см. [11]). Эти процессы привели к нейтрализации фонем, т. е. к различению меньшего количества единиц в одной позиции. Это могло способствовать и снятию доли напряженности.

2. Совершение за одно и то же время и в одной и той же артикуляционной зоне большего количества артикуляционных движений требует большего напряжения артикулирующих органов. (Чтобы механизм работал быстрее, необходимо больше затрат энергии.) Следовательно, переход от звука с более сложной артикуляцией к звуку с более простой артикуляцией приводит к уменьшению напряженности органов речи.

2.1. Современные диалектные данные позволяют высказать предположение, что в древнерусском языке некоторые гласные фонемы реализовались дифтонгами. Так, фонемы <ѣ, ѡ, е, о> могут быть представлены дифтонгами [iэ, уо, еи, оу] во многих современных архаических говорах. В севернорусских говорах, не развивших противопоставление согласных по твердости — мягкости и сохранивших противопоставление гласных по ряду, на месте фонем <а, ѡ, у> выступают дифтонги [ба, бо, iу] (см. [12]). В архаических южнорусских говорах на месте <а, о, у> после мягких согласных произносятся дифтонги [ia, io, iу] (см. [13—14]). История русского вокализма связана с монофтонгизацией дифтонгов, начавшейся еще в праславянский период и не закончившейся в некоторых русских говорах до сих пор (см. [15, с. 290—299]).

Произнесение дифтонга требует более сложной работы артикулирующих органов, чем произнесение монофтонга за то же время. Поэтому монофтонгизация дифтонгов приводила к уменьшению напряженности артикулирующих органов.

2.2. В разных русских говорах и в литературном языке обнаруживаются разные этапы одного и того же процесса — утраты смычного согласного в окружении щелевых: [ш'т'ш'] > [ш'ш'], [штш] > [шш], [ж'д'ж'] > [ж'ж'], [ждж] > [жж], [с'т'с'] > [с'с'], [стс] > [сс], [з'д'з'] > [з'з'] (см. [16]). В результате этого процесса сложная артикуляция заменяется на более простую, следовательно, и менее напряженную.

3. Чем более отклоняется положение органов речи в момент артикуляции от их положения в момент речевой позы, тем больше их напряжение. (Чтобы придать телу большую амплитуду колебаний, необходимо затратить больше энергии.) Следовательно, изменение артикуляции звука в сторону приближения к нейтральному положению органов речи приводит к уменьшению их напряженности.

3.1. Аканье привело к появлению [ъ] на месте [о] и [а] в ряде позиций. Произнесение [ъ] требует минимальной по сравнению с другими гласными звуками затраты мускульной энергии: его артикуляция близка к положению органов речи при речевой позе — речевой «изготовке». Напряжение органов речи при произнесении [ъ] меньше, чем при произнесении [а], требующем более широкого раскрытия рта, и чем при произнесении [о], требующем лабиализации — напряжения губ при их вытягивании.

Точно так же [ь] требует меньших произносительных усилий, чем лабиализованный [у] и узкий [ы], на месте которых возникает произношение [ь] во втором предударном прикрытом слоге и заударных слогах, кроме конечного открытого, в современном русском литературном языке и акающих говорах (см. [3]).

3.2. Типичная особенность артикуляционной базы русского литературного языка и многих русских говоров — преобладание дорсального уклада зубных согласных: [с, з] — дорсальные, [т, д, н] — апикально-дорсальные, [л] — апикальный, мягкие [с', з', т', д', н', л'] — дорсальные (см. [17]). В некоторых русских говорах обнаружены апикальные и какуминальные [с, з, т, д, н, л], способные при их смягчении становиться лишь полумягкими, сохраняя апикальный и какуминальный уклад (см. [4, с. 47; 6, с. 44 и сл.; 7, с. 64—70, 104—106]).

Артикуляция дорсальных согласных с расслабленным и опущенным кончиком языка гораздо ближе к нейтральной артикуляции речевой позы, чем артикуляция апикальных согласных с напряженным и вытянутым горизонтально кончиком языка. Еще дальше от положения речевой позы артикуляция какуминальных согласных с кончиком языка, загнутым вертикально вверх. Это говорит о большей напряженности апикальных и какуминальных согласных по сравнению с дорсальными².

Система с апикальными и какуминальными зубными согласными в русском языке, по-видимому, более древняя, чем система с дорсальными согласными. Вытеснение апикальной (какуминальной) артикуляции зубных согласных дорсальной их артикуляцией связана с возникновением и развитием в русском языке категории твердости — мягкости согласных. Апикальность (какуминальность) согласных вступала в противоречие с развивающимся противопоставлением твердых и мягких согласных. Для

² Есть и другие свидетельства большей напряженности апикальных и какуминальных согласных по сравнению с дорсальными (см. [6, с. 45, 47, 60]).

более контрастного их различия мягкие должны были развить палатализацию. Этому препятствовала апикальность (какуминальность) зубных согласных, т. е. тех согласных, у которых категория твердости — мягкости возникала в первую очередь. Препятствие это преодолевалось путем замены апикальных дорсальными³.

4. Долгие звуки требуют большего напряжения артикуляции по сравнению с краткими (см. [2]). Следовательно, замена долгого согласного кратким приводит к уменьшению напряженности артикулирующих органов.

4.1. В некоторых севернорусских говорах согласные противопоставлены не по глухости — звонкости, а по напряженности — ненапряженности (см. [15, с. 175—195; 18]). В этих говорах глухие согласные характеризуются большей длительностью, чем в литературном языке и в говорах такого же типа.

В частности, в сочетании согласных первый согласный указанных севернорусских говоров длительнее второго (*о[ѣ]тавил*, *Во[ѣ]ка*, *у[ш]ла*), а в литературном языке первый согласный короче второго. В русском литературном языке произошла утрата долгого согласного перед согласным даже в том случае, когда долгий согласный звук соответствует сочетанию двух одинаковых фонем: *классный* — *клас[с]ный*, *программный* — *програ[м]ный* и т. п. (см. [19]).

Точно так же в севернорусских говорах согласный может быть долгим на конце слова: *ле[ѣ]*, *види[ш]*, *мо[ѣ]*, *обиш[т]*, *песо[ѣ]*. В литературном же языке долгота конечного согласного утрачена даже в том случае, если он соответствует сочетанию фонем: *класс* — *клас[с]*, *вани* — *ва[н]* (см. [20, с. 88]).

Есть основание считать, что указанная особенность севернорусских говоров представляет собой праславянскую или даже праиндоевропейскую черту, а русский литературный язык и подобные ему говоры утратили эту особенность (см. [15, с. 194—195; 18]).

4.2. Мягкие согласные более долгие, чем соответствующие твердые, и более напряженные. Поэтому отверждение согласных есть вместе с тем и ослабление их напряженности.

В русском языке отверждение согласных возможно в тех случаях, когда мягкость согласного фонологически несущественна, не связана с противопоставлением фонем по твердости — мягкости. Во многих говорах и в литературном языке отвердели ранее мягкие согласные, уплотщающие фонемы <ш, ж, ц>, внепарные по твердости — мягкости. Идет процесс отверждения долгого [ж'], а во многих говорах отвердели также [ш'], [ч']. Причины этого процесса не ясны. Возможно, причину надо видеть в ослаблении напряженности артикуляционной базы русского языка.

Возможно, эта же причина вызывает отверждение мягкого согласного перед мягким. Этот процесс идет сейчас во всех русских говорах и в литературном языке: *ля[м']ки* > *ля[м]ки*, *[д']верь* > *[д]верь* и т. п. Следует учитывать при этом, что утрата палатализации первого согласного в со-

³ Ср.: «... в ряде русских говоров в прошлом апикальные и какуминальные взрывные были распространены в большей степени, чем в настоящее время, когда они все интенсивнее подвергаются воздействию систем с преимущественно дорсальным переднеязычным укладом... Вытеснение апикальной (какуминальной) артикуляции переднеязычных взрывных происходит в первую очередь под непосредственным воздействием инодialeктовых систем, а также, по-видимому, поддерживается чисто внутренними фонетическими факторами, связанными прежде всего со сравнительно большей физиологической неустойчивостью апикальной (какуминальной) артикуляции взрывных по сравнению с дорсальной в силу большей напряженности их образования» [6, с. 59—60].

четании двух мягких обычно не приводит к возникновению его веяризации. Артикуляция непалатализованного невеяризованного согласного (ср.: [п]сина, [к] тебе, ла[п]фи, во[п]зить и т. п.) ближе к артикуляции речевой позы, чем палатализованного. Это тоже свидетельствует о его меньшей напряженности.

5. Изменение степени напряженности артикуляционной базы протекало в русском языке не гладко. Диаграмма этого изменения представляла бы снижающуюся линию, но не ровную, а ломаную. На отдельных ее участках падение напряженности сменяется новым его повышением.

Фонетический процесс (как и всякий процесс языкового изменения) происходит лавинообразно. Начавшись в отдельных словах, он захватывает все большее и большее количество слов у все большего и большего количества говорящих. Лавина возникает в результате снятия напряжения в одном месте, но она может вызвать новое напряжение в другом. Так, снежная лавина может перегородить ущелье, по которому течет река. В результате вода накапливается за завалом, а затем сметает его и несетя вниз новой лавиной.

Падение редуцированных гласных приводило к ослаблению напряженности в одной области артикуляционной базы, области гласных: в одной артикуляционной зоне количество различных звукотипов в одной и той же позиции становится меньше. Но падение редуцированных привело к резкому повышению напряженности в других звеньях: возникают разные сочетания гетерогенных согласных, различных по месту, способу образования, по глухости — звонкости, твердости — мягкости. И дальнейшие фонетические процессы связаны с преодолением этих вновь возникших напряжений.

Выше были рассмотрены, конечно, не все процессы, происходившие в горах русского языка и в литературном языке за период примерно в тысячу лет. О некоторых процессах мы знаем недостаточно полно, неизвестны последовательные этапы их течения, как, например, смягчение полумягких согласных. Другие, как кажется, не вносят существенных изменений в степень напряженности артикулирующих органов, например, переход [e] в [ʲo]. Однако подавляющее большинство этих процессов было связано с изменением артикуляционной базы русского языка и приводило к ее меньшей напряженности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры. М., 1968. С. 10, 16, 21.
2. Якобсон Р., Фант Г. М., Халле М. Введение в анализ речи // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962. С. 204—208.
3. Касаткин Л. Л. Новая ступень в развитии системы гласных русского языка // Развитие фонетики современного русского языка. М., 1971. С. 255—257.
4. Высотский С. С. Определение состава гласных фонем в связи с качеством звуков в севернорусских горах // Очерки по фонетике севернорусских говоров. М., 1967.
5. Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980. С. 41, 140.
6. Кузнецова А. М. Некоторые вопросы фонетической характеристики явления твердости — мягкости согласных в русских горах // Экспериментально-фонетическое изучение русских говоров. М., 1969.
7. Кузнецова А. М. Разновидности способа образования согласных в русских горах // Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977.
8. Чекман В. П. Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Минск, 1979. С. 116—117.
9. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967. С. 197.
10. Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956. С. 121—122, 129, 133.

11. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. М., 1983. С. 183—186.
12. Касаткин Л. Л. Гласные одного вологодского говора, не знающего противопоставления согласных по твердости — мягкости // Исследования по русской диалектологии. М., 1973. С. 65 и сл.
13. Kasatkin L. L., Paufošima R. F. The use of the segmenting apparatus in the analysis of the vocalism of Russian dialects // Symposium: Proc. of dialectological data: Summaries. Tallinn, 1981. С. 8.
14. Пауфошима Р. Ф. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983. С. 40.
15. Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная фонетика как источник для истории русского языка: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1985.
16. Касаткин Л. Л. Об одном фонетическом гиперизме в смоленских и калининских говорах ([с'т'] на месте [с'с']). К методике реконструкции диалектов прошлых эпох // Диалектология и лингвогеография русского языка. М., 1981. С. 71—73, 76.
17. Скалозуб Л. Г. Палатограммы и рентгенограммы согласных фонем русского литературного языка. Киев, 1963. С. 25—27, 32, 44—45.
18. Kasatkin L. L., Kasatkina R. F. The correlation of tense-lax consonants in some Russian dialects and in other Slavic languages // Proc. of the XI-th ICPHS. V. 5. Tallinn, 1987.
19. Иванов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979. С. 136.
20. Иванов М. В. Русская фонетика. М., 1967. С. 88.

РАХИЛИНА Е. В.

ОТНОШЕНИЕ ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ В РУССКОМ ТЕКСТЕ

Настоящая работа посвящена сопоставлению категорий причины и цели в том виде, как они выражены в естественном языке. Материалом послужили вопросо-ответные пары русского языка, содержащие вопросы стандартной семантики со словами *почему* и *зачем*¹.

1

Общепринятым является такое противопоставление причины и цели, при котором вопрос о причине ситуации задается в русском языке с помощью слова *почему*, а вопрос о цели — со словом *зачем*². Ответы на такие вопросы вводятся соответственно так называемыми причинными и целевыми союзами (ср., с одной стороны, — *потому что, так как, ибо* и, с другой стороны, — *чтобы, для того, чтобы* и т. д.). Иными словами, есть два разных значения — «цель» и «причина» и есть специальные языковые средства, их различающие.

Этому представлению, с нашей точки зрения, противоречат следующие два языковых факта. Во-первых, имеется чисто поверхностный запрет на выбор «правильного» вопросительного слова, а именно: в современном русском языке не допускаются вопросы со словом *зачем* и глаголом с отрицанием: в таких случаях соответствующий вопрос задается с помощью слова *почему*:

- (1) — *Почему вы не сказали мне об этом?*
— *Не хотел вас расстраивать.*
- (2) — *Объясни, почему не сел в кресло?* — *спросил Пилат.*
— *Я грязный, я его запачкаю.*

(М. Булгаков)

Ср. недопустимость (1) и (2) со словом *зачем*, хотя целевые (с морфологической точки зрения) ответы в этих случаях вполне возможны:

- (1')* — *Зачем вы не сказали мне об этом?*
— *Чтобы вас не расстраивать.*
- (2')* — *Зачем ты не сел в кресло?*
— *Чтобы его не запачкать.*

Заметим, что если бы в примерах типа (1) и (2) не было отрицания при глаголе, то вопросы с *зачем* были бы допустимы, как и вопросы с *почему*: *Зачем (почему) вы сказали мне об этом? Зачем (почему) ты сел в кресло?* и т. п.

¹ В самом общем виде вопросы стандартной семантики можно определить как вопросы, задаваемые спрашивающим о некоторой неизвестной ему информации с целью ее получить. Такое определение, в частности, позволяет сразу же исключить из рассмотрения экзаменационные и в особенности риторические вопросы. Подробнее см. [1, 2].

² Мы отвлекаемся здесь от рассмотрения синонимических рядов каждого из названных вопросительных слов. Заметим, однако, что, согласно существующим синонимическим словарям, они не пересекаются (см., например, [3]).

Для понимания природы семантического противопоставления причины и цели факт запрета вопросов с *зачем* к глаголам с отрицанием — обстоятельство очень существенное, т. к. это создает зону употреблений, в которой никакого противопоставления нет.

Во-вторых, в реальных диалогах, как устных, так и письменных, очень часты случаи, когда на вопрос о причине отвечают целью, а на вопрос о цели — причиной³. Мы имеем в виду морфологическую несоотнесенность вопросов и ответов, когда вопрос оформляется как вопрос о причине, а ответ вводится целевым союзом, и наоборот, ср.:

(3) — *Зачем вы идете на войну?*

— *Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне.*

(Л. Толстой)

(4) — *Зачем ты приехал?*

— *Отец велел.*

(Л. Толстой)

(5) *⟨Рыцарь снимает латы и шагает через подоконник⟩.*

— *Почему он избрал столь опасный путь?*

— *Чтобы не разбудить нас, бедных.*

(Е. Шварц)

(6) — *Бабушка, почему у тебя такие большие уши?*

— *Чтобы лучше слышать.*

Показательно, что такие диалоги никак нельзя признать неудачными, «провалившимися» — они не нуждаются в продолжении: спрашивающий каждый раз оказывается удовлетворен ответом. Однако допустимость таких диалогов не может быть объяснена, исходя из изложенного выше представления о цели и причине. Устранению указанных противоречий в трактовке вопросо-ответных пар с *почему* и *зачем* будет посвящено дальнейшее изложение.

2

Нам кажется удобным, по крайней мере на первом этапе решения этой проблемы, отказаться от терминов «причина» и «цель» и ввести общее понятие «о правдании некоторой ситуации»⁴.

Пусть дана ситуация *B* и требуется построить ее оправдание. Существуют, как представляется, по крайней мере три различных способа, которыми это можно сделать, а именно:

1) Предъявить такую ситуацию *C* из множества ситуаций, не требующих оправдания, для наступления которой необходимо *B*. Последнее в данном случае означает, что, во-первых, ситуация *C* может иметь место только после ситуации *B*, а во-вторых, что если не имеет место *B*, то *C* не может иметь места. Иначе говоря: $\supset B \rightarrow$ позже $\supset C$.

2) Предъявить такую ситуацию *C'* из множества ситуаций, не требующих оправдания, для наступления которой достаточно *B*, т. е. такую ситуацию *C'*, которая, во-первых, может иметь место только после *B*, а во-вторых, если имеет место *B*, то *C'* будет иметь место: $B \rightarrow$ позже C' .

³ Ср. в этой связи следующее характерное рассуждение: «Зачем я пишу? Я пишу, потому что не могу не писать. На вопрос о цели — ответ о причине, и другого быть не может» (М. Цветаева, Поэт о критике).

⁴ В мире говорящего и слушающего практически всякая ситуация имеет оправдание, однако существуют ситуации, которые его не требуют; это такие ситуации, «ценность» которых очевидна, т. е. как бы заранее задана в мире говорящего и слушающего. Такова, в частности, ценность ситуации «лучше слышать» в примере (6).

3) Предъявить такую ситуацию A , не требующую оправданий, при которой $A \rightarrow$ позже B (т. е. A достаточно для B).

С морфолого-синтаксической точки зрения, указанные три типа возможных оправданий ситуации B оформляются следующим образом.

Для оправданий первого рода обычно используются целевые союзы: $\langle - \text{Зачем } B? \rangle - B, \text{ чтобы } C. \langle - \text{Зачем ты разве́л костер?} \rangle - \text{Я разве́л костер, чтобы не замерзнуть } (C).$ Ситуация C может, кроме того, вводиться непосредственно как входящая в формулу $\text{?}B \rightarrow$ \rightarrow позже $\text{?}C$, такое оправдание оформляется с помощью причинного союза: $B, \text{ потому что если } \text{?}B, \text{ то позже } \text{?}C \Leftrightarrow \text{Потому что иначе } \text{?}C \Leftrightarrow \Rightarrow \text{Иначе } \text{?}C.$

(7) — Зачем ты разве́л костер?

— Иначе я замерзну.

($\text{Я разве́л костер } (B), \text{ потому что если бы я не разве́л костер, то } \langle \text{позже} \rangle$ $\text{я бы замерз } (\text{?}C) \langle \text{а нужно, чтобы я не замерз } (C) \rangle$).⁵

Ср. также (9):

(9) — А иконка зачем?

— Ну да, иконка... но дело в том, что он, консультант, он, будем говорить прямо, с нечистой силой знается... и так его не поймашь.

(Булгаков)

\approx Нужна иконка (B), потому что так (т. е. без иконки. — $\text{?}B$) не поймашь консультанта (C), $\langle \text{а нужно поймать } (C) \rangle$.

Контрапозиции такого рода утверждений ($C \rightarrow$ раньше B) сохраняют истинность, хотя и не используются в качестве реальных оправданий⁶, ср.: $\text{Я не замерз, потому что } \langle \text{раньше} \rangle \text{ разве́л костер; Если консультанта поймали, то непременно с иконкой.}$

Оправдания второго рода вводятся причинными союзами: $B, \text{ потому что если } B, \text{ то позже } C' \Leftrightarrow \text{Потому что тогда (так)} C' \Leftrightarrow \text{Тогда (так)} C' \Leftrightarrow C',$ ср.:

(10) — Зачем ты разве́л костер?

— С ним не так холодно.

(11) — Послушайте, зачем вы сбрили баки?

— Гримироваться удобнее.

(Булгаков)

Оправдания третьего рода также вводятся причинными союзами: $B, \text{ потому что в некоторый более ранний момент имело место } A, \text{ такое, что если } A, \text{ то позже } B \Leftrightarrow \text{Потому что } A \Leftrightarrow \text{Потому что } A.$

(12) — Почему ты разве́л костер?

— Хотел посмотреть, как он будет гореть.

⁵ Последнее утверждение — в угловых скобках — условно эксплицирует идею входящего C в множество ситуаций, не требующих оправдания. Как только оказывается, что в качестве оправдания (любого типа) предъявляется ситуация, которая, по мнению слушающего, не принадлежит этому множеству, такое оправдание признается неудачным и начинается диалог типа (8):

(8) $\langle - \text{Еду сено косить} \rangle.$

— На что тебе сено?

— Горовок кормить.

— А на что коровки?

— Молоко доить.

— А на что молоко?...,

который продолжается до тех пор, пока спрашивающему, наконец, не будет предъявлена ситуация, не требующая оправдания.

⁶ Как можно заметить, все оправдания используются только в той форме, которая содержит стрелку \rightarrow позже.

Заметим, что указанные три типа оправданий представляют собой реализацию трех из следующих шести возможных отношений между двумя ситуациями — P и Q , где P — данная ситуация, а Q — ситуация, предлагаемая в качестве оправдания:

- | | |
|--|---|
| 1) $Q \rightarrow \text{позже } P$ | 5) $\neg Q \rightarrow \text{позже } P$ |
| 2) $P \rightarrow \text{позже } Q$ | 6) $\neg P \rightarrow \text{позже } Q$ |
| 3) $\neg Q \rightarrow \text{позже } \neg P$ | 7) $Q \rightarrow \text{позже } \neg P$ |
| 4) $\neg P \rightarrow \text{позже } \neg Q$ | 8) $P \rightarrow \text{позже } \neg Q$ |

А именно: случаю 1) соответствуют оправдания третьего рода, случаю 2) — оправдания второго рода, случаю (3) — оправдания первого рода: ситуация P , связанная с ситуацией Q отношением 5) — 8), не может служить ей оправданием. Случай 4), по-видимому, допускает интерпретацию P как оправдания Q (хотя в реальных текстах нам не встретилось соответствующих примеров), ср. следующий ответ на вопрос *Зачем ты развел костер?* (*Зачем P ?*) — *Не замерз бы, не разводил бы* ($\neg A \rightarrow \text{позже } \neg B$). Случай 4) мы в дальнейшем рассматривать не будем⁷. Таким образом, остаются три типа канонических отношений, которые естественно считать исходными при построении ответа на вопрос, требующий оправдания некоторой ситуации. Такие ответы мы будем считать прямыми. Косвенными будут в этом случае ответы, имеющие любую другую синтаксическую природу, но при этом не приводящие к провалу речевого акта, ср. (13):

(13) — *Зачем важ очки, Лида?*

— *Что я, хуже людей, что ли? Все вокруг носят.*

Утверждается, что во всех таких случаях существуют (семантические) преобразования, которые позволяют получить из косвенного ответа тот или иной тип оправдания ситуации (т. е. некоторый прямой ответ). Подобное исследование косвенных вопросов не входит, однако, в нашу задачу.

Примечание. Определяя прямой ответ на вопрос, мы фактически пользовались только синтаксическими критериями. Между тем у этой проблемы есть и семантический аспект — а именно, установление связи между P и Q и отождествление ее со связью 1)–3). Мы формулируем свою задачу таким образом, как если бы семантический аспект проблемы был уже исчерпан — т. е. как если бы мы располагали своего рода базой данных, в которой имелись бы все интересующие нас ситуации и типы связей между ними были бы заранее заданы, так что можно было бы легко определить их соответствие 1)–3). Определение прямого ответа было бы, возможно, иным, если бы мы, напротив, имели в виду решение следующей задачи: дан текст и база данных, содержащая ситуации, которые этот текст описывает; требуется установить все отношения между ситуациями, исходя из лингвистического анализа текста.

3

До сих пор мы говорили собственно об оправданиях, т. е., с точки зрения ситуации диалога, о возможных ответах на определенные вопросы. Перейдем теперь к анализу самих вопросов, а именно, вопросов со словами *зачем* и *почему*.

При описании значения конструкций *Почему P ?* и *Зачем P ?* естественно исходить из гипотезы об их семантическом тождестве. В таком случае семантика этих конструкций будет сводиться к требованию оправдания ситуации, попадающей в сферу действия вопросительного слова, причем оправдания, вообще говоря, любого рода. Различие между вопросами с *почему* и *зачем* может быть целиком отнесено за счет прагматического

⁷ Заметим, что в ответах, реализующих отношение 4), оправдание не может быть введено с помощью союза.

фактора — а именно, за счет разных исходных предположений⁸ этих вопросов. С нашей точки зрения, исходное предположение вопросов со словом *зачем* состоит в том, что ситуация *B*, оправдание которой требуется сообщить, представляется говорящему управляемой, тогда как исходное предположение вопросов со словом *почему* является противоположным и состоит в том, что соответствующая ситуация представляется неуправляемой. Поясним, что мы имеем в виду.

Говоря неформально, управляемость ситуации *B* предполагает наличие некоторого (разумного) деятеля (*X*), от которого зависит, будет или не будет ситуация *B* иметь место. Соответственно, ситуация *B* должна входить в некоторый ряд альтернативных ситуаций *B*, *B'*, *B''* и т. д.⁹, каждая из которых, в принципе, может быть «выбрана» *X*-м, т. е. *X* должен принять решение относительно того, какая из альтернативных ситуаций будет иметь место. Так, обычно неуправляемыми являются ситуации, описывающие явления природы: *смеркается*, *белеет снег*, *замерзает река* и т. п., поскольку предполагается, что не существует такого разумного деятеля, который бы мог «решать», шуметь лесу или нет, светать или нет и т. п., который мог бы быть ответственным за наступление этих ситуаций.

К предикатам, обозначающим ситуацию, которая интерпретируется как неуправляемая, в современном русском языке нельзя задать вопрос со словом *зачем*, ср.: *Зачем в полях белеет снег?* *Зачем смеркается?* *Зачем замерзает река?* Ср. также вопросы с другими предикатами, обозначающими неуправляемые ситуации: *Зачем вода состоит из водорода и кислорода?* *Зачем человек произошел от обезьяны?* и т. п.¹⁰

Существенными свойствами управляемости, выделяющими ее как особую характеристику ситуации, являются, с нашей точки зрения, следующие два.

1. Управляемость — это свойство конкретной ситуации, а не предикатной лексемы как таковой (а значит, это свойство не может быть занесено в словарную статью соответствующего предиката). Одна и та же лексема может в разных случаях обозначать как управляемые, так и неуправляемые ситуации. Так, вопрос, в обычной ситуации, видимо, грамматически неправильный, — например, *Зачем он так наивен?* — становится вполне приемлемым, как только оказывается, что этот вопрос задан автору или режиссеру пьесы об одном из ее персонажей: *Зачем он у тебя в первом акте так наивен?* (ср. в том же контексте: *Зачем ружье выстрелило?*). В этом случае утверждается существование такого лица (например, автора пьесы), от которого зависит «выбор» черт характера персонажа пьесы, — ситуация, в обычном мире вряд ли возможная. Именно поэтому в обычном

⁸ О понятии исходного предположения и некоторых связанных с ним проблемах см. ниже (с. 52).

⁹ Очевидно, что составление такого альтернативного ряда не является произвольным. Установление того, какие именно ситуации образуют альтернативный ряд по отношению к ситуации *B*, представляет особую и довольно сложную проблему, которую мы не имеем возможности подробно обсуждать. Некоторое представление об отношениях, связывающих ситуации из одного альтернативного ряда, может дать понятие ассоциативной связи (см. [4]). Более строгое определение этих отношений должно быть связано, по-видимому, с формализацией структуры толкования предикатных лексем. Один из вариантов такой формализации обсуждается (в связи с другими задачами) в [5].

¹⁰ Здесь современный русский язык отличается от языка прошлого века, о чем свидетельствуют, в частности, следующие пушкинские строки: *Зачем крутится ветер в овраге?*, *Зачем арана своего младая любит Деждамона?*, в которых предикаты *крутит* и *любит* обозначают явно неуправляемые ситуации.

мире, в отличие, например, от мира театрального, ситуации типа «быть наивным» не являются управляемыми и не допускают вопроса со словом *зачем*.

2. Деятель, управляющий ситуацией, не обязательно должен быть субъектом данной ситуации и даже ее участником. В частности, стивные предикаты, обозначающие типичные результаты каузативных ситуаций, обычно без труда осмысляются как описывающие управляемые ситуации именно потому, что они семантически связаны с такими предикатами, у которых есть актант, способный контролировать осуществление конечного результата. Соответственно, например, вопрос *Зачем здесь висит (стоит, лежит и т. д.) эта безобразная картина?* осмысляется как «Зачем эту картину повесили (поставили, положили...) здесь?».

В любом случае вопрос со словом *зачем* может задаваться говорящим, только если он считает, что ситуация, о которой задается вопрос, — управляема. Если это не так, то должен быть задан вопрос со словом *почему*. Сказанное означает, что если (при условии, что к данному предикату возможны оба типа вопросов) задан вопрос со словом *зачем*, то слушающий понимает, что ситуация представляется говорящему управляемой. Напротив, если при тех же условиях из двух вариантов вопроса об оправдании выбран вариант с *почему*, то слушающий понимает, что говорящий оценивает ситуацию как неуправляемую (ср. противопоставления типа: *Почему вы смеетесь? — Зачем вы смеетесь?; Почему вы так громко говорите? — Зачем вы так громко говорите?*).

Признание отвечающим (т. е. адресатом вопроса) факта управляемости ситуации предполагает предъявление в ответе оправдания первого или второго рода, тогда как признание факта неуправляемости предполагает предъявление оправдания третьего рода. Это связано с тем, что управляемость ситуации *В* включает, как уже было сказано, возможность выбора между *В* и ее альтернативами. Оправдание же в выбранной ситуации в сущности равносильно оправданию выбора как такового. Если в этом случае может быть предъявлено только оправдание третьего типа и никакого другого — значит, фактически никакого (свободного) выбора нет — ситуация неуправляема, ее существование можно объяснить только как обязательное следствие некоторой другой, не требующей оправданий ситуации. Выбор ситуации из множества альтернатив (т. е. управляемость этой ситуацией) возможен только, если у этой ситуации есть оправдание первого или второго рода. Поэтому вопрос со словом *зачем* в нормальном случае, т. е. в случае соблюдения слушающим (отвечающим) представлений говорящего (спрашивающего) об управляемости ситуации, предполагает обоснования первого или второго рода, а со словом *почему* — третьего рода.

Представления спрашивающего могут и не разделяться отвечающим, что, однако, не приводит к провалу речевого акта¹¹. Это последнее есть

¹¹ В отличие от заведомо неприемлемых предложений типа *Камень упал, чтобы убить собаку (см. [6]), вопросы типа *Зачем упал камень?* вполне имеют право на существование даже и тогда, когда в ответе говорится: *Его просто ветром сдуло*. Утверждение предполагает сообщение некоторого полнсения, которое должно быть истинно и в мире говорящего, и в мире слушающего. «Диалоговый режим» не может предполагать полного совпадения этих двух миров, т. к. такое совпадение может быть достигнуто лишь в результате успешного диалога и является, по-видимому, своеобразной конечной целью собеседников. Отсюда возможность квалифицировать какие-то вопросы как детские, глупые и т. д. — т. е. грамматически правильные, имеющие, вообще говоря, ответы, но обнаруживающие несовпадение мира спрашивающего с миром отвечающего. Таким образом, критерии семантической аномальности / неаномальности оказываются различными для повествовательного текста и для диалога.

основное свойство семантической информации, называемой исходным предположением вопроса [7, 2]. Обычно нарушение исходного предположения иллюстрируется примерами вопросов со словом *кто*, где спрашивающий предполагает непустоту некоторого множества лиц, а из последующего ответа выясняется, что множество было пусто:

- *Кто решил задачу?* (Предполагается, что кто-то решил)
— *Никто.*

Особенностью вопросов об оправдании является то, что нарушение исходного предположения в них сводится к замене одного предположения на другое: предположения об управляемости — на предположение о неуправляемости, и наоборот.

Примечание. Заметим, что вопросы с *почему* в принципе не допускают «стандартного» нарушения исходного предположения — если такой вопрос задан и является с языковой точки зрения правильным, то соответствующее множество оправданий не может быть пусто (в отличие, например, от множества лиц, решивших задачу, ср.:

- *Почему ты решил эту задачу?*
— *Ничему.*

где ответ понимается только как демонстративный отказ от диалога).

4

Остановимся теперь на тех случаях, когда ситуация не может иметь оправдания. Заметим прежде всего, что логически мыслимые и лингвистически приемлемые оправдания, вообще говоря, вовсе не совпадают. Примером противопоставления такого рода могут служить оправдания состояний. Логическим оправданием некоторого наблюдаемого состояния во многих случаях естественно считать ситуацию, которая способствовала его возникновению: *он знает, потому что узнал; он висит, потому что в некоторый момент повис.* Однако язык признает в качестве оправдания таких состояний нечто совсем другое — а именно, ситуацию *A*, которая препятствует их изменению. Вопрос *Почему в момент t_1 имеет место состояние B ?* означает \approx «Назови такую ситуацию *A* ($A \rightarrow$ позже B), что если бы *A* не имело места, то в момент t_1 имело место бы не B , а какое-то другое состояние, входящее в альтернативный ряд (B' , B'' , B''' и т. д.)». Таким образом, имеется альтернативный ряд (информация о нем, очевидно, составляет презумпцию) и требование предъявить ситуацию, мешающую данному состоянию перейти в альтернативное. Лингвистическим оправданием состояний *стоит, висит, лежит* и т. д. является, следовательно, не то, что привело к данному состоянию, а то, что мешает стоящему, висящему и т. д. объекту стоять, висеть и т. п., ср.:

- (14) — *Почему ты стоишь?*
— *Сесть некуда.*

а также:

- (15) — *Почему вы молчите?*
— *Потому что не могу говорить (= „Как только смогу говорить, перестану молчать“).*

Вернемся к задаче поиска ситуаций, не имеющих оправданий. Оказывается, что именно среди состояний есть такие, которые не могут иметь оправданий. Это те, которые не могут меняться на альтернативные в произвольный момент t_1 только потому, что изменились какие-то внешние по отношению к данному состоянию обстоятельства — и в этом смысле не входят ни в какой альтернативный ряд по отношению к произвольному моменту времени. Таковы, например, *помнить, владеть, знать, болеть* и др., а также: *быть молодым, быть высоким* и т. п. Например, для состо-

яния *быть* *больным* никакой внешней ситуации типа *A*, способной вдруг прервать это состояние, не существует: человек заболел и после этого какое-то время остается больным, но только в силу естественного течения болезни, а не каких-то других факторов. Такого рода состояния можно было бы назвать детерминированными — они развиваются, повинувшись своим внутренним законам и не могут внезапно прекращаться или переходить в другие. А значит, эти состояния не имеют лингвистического оправдания¹². Ср. недопустимость в обычной интерпретации вопросов:

* *Почему он знает?*, **Почему он болеет?*, **Почему он молодой?* и др.¹³.

Отступление. Здесь необходимо отметить существование другой интерпретации вопросов с *почему*, которая, в частности, допустима для приведенных выше вопросов. Имеется в виду такое понимание вопроса с *почему*, при котором вопросительное слово связано не непосредственно с предикатом состояния, а с некоторым опущенным предикатом мнения, который его подчиняет. Ср. вопрос *Почему он молодой?* в интерпретации «Почему ты думаешь (считаешь, полагаешь), что он молодой?». Такого рода интерпретацию вопросов с *почему* в литературе принято называть причина-основание (ср. в [8] противопоставление *cause* и *reason* — каузальной причины и причины-основания. см. также [9]). Вообще говоря, любой вопрос с *почему* может быть осмыслен как вопрос об основании. Рассмотренные выше примеры с детерминированными ситуациями допускают, как мы видели, только такую интерпретацию. Легко интерпретируются как вопросы об основании — согласно принципу семантического согласования — вопросы, содержащие оценку: оценка сама по себе есть мнение, ср.: *Почему он глухой?* (= «Почему ты думаешь, что он глухой?»).

Суть семантического противопоставления между оправданием ситуации и ее основанием состоит в том, что то, что является оправданием мнения о ситуации (т. е. основанием), является лишь следствием самой ситуации, а не оправданием ее:

— *Почему ты думаешь, что В?*

— *Я думаю, что имеет место В, т. к. имеет место S,*
а когда *В*, то [всегда] *S*.

Ср.:

— *Почему (ты думаешь, что) он рубит дрова?*

— *Потому что щелки летят.*

(Очевидно, что на вопрос об оправдании ответ такого рода невозможен.) Совпадение причины и следствия — т. е. фактически неразличение оправдания и основания — происходит в случае, когда *В* и *S* состоят в отношении необходимости и достаточности. Для утверждения: *если сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, то это необходимо и достаточно для того, чтобы треугольник был прямоугольным*, вопросы об оправдании и основании будут синонимичны, ср.:

(а) — *Почему треугольник прямоугольный?*

— *Потому что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.*

(б) — *Почему ты думаешь, что треугольник прямоугольный?*

— *Потому что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы*¹⁴.

Интересно, что противопоставление оправдание ~ основание встречается не только в диалоге. На наш взгляд, похожим образом организована пара союзов *если... то... — если... значит...*. Если..., то... аналогичен оправданию третьего рода: *если А, то В; если... значит...* — аналогичен основанию: *если S, значит В* ≈ «Я думаю, что *В*, т. к. *S*, (потому что всегда *если В, то S*). Ср.: *Если гора не идет к Магомету (А), то Магомет идет к горе (В)* и совершенно нетрадиционное понимание этого высказывания при замене союза *если... то...* на *если... значит...*: *Если гора не идет к Магомету (S), значит Магомет идет к горе (В)* — «Я думаю, что Магомет идет к горе, т. к. (я вижу, что) гора не идет к Магомету». Ср. также: *Если человек берется за два дела, прямо противоположных друг другу (А), то одно из них непременно не удастся ему (В)* (Экзюпери), где замена *если... то...* на *если... значит...* приводит к пара-

¹² Вопрос о логическом оправдании здесь, конечно, не обсуждается.

¹³ Что касается вопросов с *зачем* к этим предикатам, то они, как и следовало ожидать, допускаются только в тех нетривиальных случаях, когда данные состояния представляются управляемыми, т. е. подразумевают сознательно действующего каузатора этих ситуаций.

¹⁴ Такого рода совпадения касаются прежде всего постоянных свойств — языковым оправданием такого свойства может служить какое-то другое свойство, а в силу того, что постоянные свойства не зависят от времени, они легко могут вступать в отношении необходимости и достаточности.

доксу: ²Если человек берется за два дела, прямо противоположных друг другу (S), значит одно из них непременно не удастся ему (B) — «Я думаю, что одно из дел не удастся ему, раз он берется за два противоположных дела сразу».

5

Вернемся к оставленным нами терминам «причина» и «цель». Могут ли эти традиционные понятия быть использованы для описания рассмотренных выше явлений? По-видимому, да — но только в том случае, если будет учтено различие между, так сказать, поверхностными и глубинными причинно-целевыми отношениями. С одной стороны, под причинными и целевыми можно понимать такие вопросы или такие ответы, которые вводятся соответствующими вопросительными или союзными словами.

С другой стороны, под причинно-целевыми можно подразумевать более глубокие, логико-семантические отношения между событиями. В этом случае цели будет соответствовать то, что мы называли оправданиями первого и второго рода, а причине — оправдания третьего рода (и, возможно, причина-основание). При таком употреблении терминов семантического противопоставления вопроса о причине вопросу о цели нет — они различаются только исходными предположениями. Это позволяет объяснить отмеченный выше языковой феномен «структурной несоотнесенности», т. е. возможности замены в ответе логико-семантической причины на логико-семантическую цель, и наоборот. Обязательность замены *зачем* на *почему* при глаголе с отрицанием интерпретируется в таком случае как чисто поверхностный запрет на употребление одной из по сути дела синонимических (в строгом смысле — квазисинонимических) конструкций¹³.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hintikka F. Answers to questions // Questions / Ed. by Niž H. Dordrecht, 1973. P. 279—300.
2. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
3. Словарь синонимов русского языка: В 2-х т / Под ред. Евгеньевой А. П. Л., 1970.
4. Крейдлин Г. Е., Падучева Е. В. Взаимодействие ассоциативных связей и актуального членения в предложениях с союзом *а* // НТИ. Сер. 2. 1974. № 10.
5. Туровский В. В. О соотношении значений многозначного слова // Семиотика и информатика. 1985. Вып. 26.
6. Булыгина Т. В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
7. Kiefer F. Some semantic and pragmatic properties of WH-questions and the corresponding answers // Statistical methods in linguistics. 1977. V. 3.
8. Davidson D. Causal relations // The journal of philosophy. 1967. V. LXIV. № 21.
9. Арутюнова Н. Д. Некоторые типы диалогических реакций и «почему»-реплики в русском языке // ФН. 1970. № 3.

¹³ Настоящая статья не могла бы быть написана без помощи многих коллег. В первую очередь я хотела бы поблагодарить В. В. Рыжикова и Д. П. Скворцова за консультации, касающиеся формального аппарата описания. Кроме того, я признательна М. А. Кронгаузу, Е. В. Падучевой и В. А. Палуняну за советы и критические замечания, которые я, в меру своих сил, постаралась учесть.

ПЛУНГЯН В. А.

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВА

(универсальна ли связь результата и предельности?)

В последнее время появилось немало исследований (важнейшие из них перечислены ниже), посвященных так называемым результативным глагольным конструкциям в языках мира. Однако существует по крайней мере одна задача, поиска решения которой в целом остались за пределами интересов авторов указанных исследований. Это — задача установления грамматического статуса результативных глагольных образований. В частности, может ли быть противопоставление по результативности / нерезультативности грамматикализованным (словоизменительным)? И если может, то предполагает ли это изменения в семантическом содержании данного противопоставления?

С нашей точки зрения, на оба эти вопроса следует ответить утвердительно. Однако обоснование этого представляется весьма сложной задачей. Один из возможных вариантов ее решения и составляет предмет дальнейшего изложения.

В первой части работы дается анализ существующего понимания термина «результатив»; во второй части анализируется материал языка догон¹, призванный подтвердить положение о возможности грамматикализованного результата.

Несколько слов о том понимании грамматического, которого мы придерживаемся. Как известно, основным свойством грамматических значений является обязательность [3—5], предполагающая определенность соответствующего ряда значений (признака) на всем множестве лексем из некоторого класса (например, на всем множестве глаголов данного языка). Однако для так называемых несинтаксических значений (см. [4], ср. также [5, 6]) требование обязательности может вступать в противоречие с индивидуальными особенностями лексического значения тех или иных единиц из соответствующего класса; так, например, обязательность противопоставления по числу для (русских) существительных вступает в противоречие с невозможностью определенных групп существительных выражать количественные значения.

Указанное противоречие разрешается таким образом, что правила выбора того или иного значения грамматического признака приобретают неэлементарный характер [4, 7]². Описываемые ниже свойства результативного показателя в языке догон также могут служить своеобразной иллюстрацией этого положения.

¹ Язык догон, насчитывающий около 300 тыс. носителей, распространен в районе плато Бандиагара Республики Мали (Западная Африка). Предположительно включается в группу языков гур нигеро-конголезской семьи. Состоит из большого числа довольно сильно разошедшихся друг с другом диалектов. Подробнее см. [1, 2].

² Подробнее о семантических преобразованиях в структуре грамматического значения см. также [8].

1. К определению результатива

Сложившееся в настоящее время понимание термина «результатив» восходит (как и сам этот термин) к работам А. А. Холодовича и его последователей; см. в первую очередь [9; 10, с. 138 и сл.; 11, с. 5—41, 41—54]. Изложенная в этих работах теоретическая концепция сводится, в принципе, к следующему. Примем в качестве исходных понятия состояние и результат и условимся, что мы умеем (а) отличать состояния от не-состояний (и, соответственно, лексемы, описывающие состояния, от лексем, описывающих не-состояния) и (б) для всякой последовательности ситуаций P, Q отвечать на вопрос, является ли Q результатом P. В этом случае произвольная словоформа W языка L будет выражать результативное значение, если эта словоформа обозначает такое состояние S, которое является результатом некоторого (предшествующего) действия A. Далее, указанная словоформа W может быть признана результативной производной (результативом) от глагола V, если глагол V в языке L обозначает действие A, а словоформа W принадлежит либо к словоизменительной парадигме глагола V, либо к парадигме лексемы, производной от глагола V. Так, в русских предложениях (1) *Машина сломана* и (2) *Фёдор пьян* представлены две словоформы, выражающие результативное значение, из которых словоформа *сломана* является результативом от глагола *сломать*, тогда как словоформа *пьян*, выражая результативное значение (поскольку обозначает результат действия «напиваться»), не является результативом от глагола, ибо в современном русском языке не связана ни с каким глаголом ни словообразовательными, ни словоизменительными отношениями.

Если словоформа является результативной производной от некоторого глагола, то результативное значение выражается в ней с помощью специального показателя: словообразовательной или словоизменительной морфемы либо аналитической конструкции. В примере (1) таким показателем является суффикс пассивного причастия прош. времени *-н-*.

Очевидно, что во всяком языке есть словоформы, выражающие результативные значения, но не во всяком языке существуют результативные производные от глаголов. Другими словами, в любом языке можно выразить результативные значения, но не в любом языке для этого существуют результативные показатели. В зависимости от семантико-грамматических свойств результативных показателей различаются совмещенные и несовмещенные, словообразовательные и словоизменительные результативы. Результатив называется совмещенным, если соответствующий показатель, наряду с результативным, может выражать и другие значения (т. е. является полисемичным). В примере (1) представлен, таким образом, совмещенный результатив: пассивные причастия прош. времени в русском языке не всегда выражают состояние, ср. (3) *Машина была сломана ими в одно мгновение*. Далее, результатив является словообразовательным или словоизменительным в зависимости от статуса результативного показателя. Совмещенный словоизменительный результатив представлен в русском языке: это означает, что некоторые русские пассивные причастия могут выражать как значение состояния, так и значение действия (ср. *сломан*), некоторые могут выражать только значение действия (ср. *узнан*), а некоторые — только значение состояния (ср. *влюблен*). Таким образом, грамматический статус совмещенного результатива еще не свидетельствует о грамматикализации противопоставления по результативности / нерезультативности как такового: обязательный характер приобретает в этом

случае не оно, а некоторое более общее (и более сложное) противопоставление, составляющее в данном случае план содержания русской грамматической категории «залог»: в грамматическом отношении словоформа *сломан* отличается от других словоформ глагола *сломать* не результативностью, а пассивным залогом. Грамматичность же противопоставления по залогу не означает, что всякая глагольная словоформа должна быть либо результативной, либо нерезультативной: возможность описывать или не описывать состояние является для них вторичной и определяется их индивидуальными лексическими и / или контекстными свойствами.

Может ли, тем не менее, противопоставление по результативности / нерезультативности быть грамматикализованным? Иными словами, может ли существовать несомещенный словоизменительный результативный показатель? На этот вопрос, как мы уже отмечали, теория результатива в том виде, как она изложена в упомянутых выше работах, эксплицитного ответа не дает. Однако важную роль для ответа на него может сыграть исследование так называемых ограничений на образование результативов.

Принято считать, что основное ограничение, препятствующее образованию результативных производных от глагола, связано с признаком предельности: неопредельные глаголы не могут иметь результативов [10, с. 138—140; 11, с. 6—7, 25]. Указанное ограничение основано на том, что только предельные глаголы обозначают действия, имеющие естественный результат; неопредельные глаголы обозначают такие ситуации, которые либо вообще не подвержены изменению во времени, либо развиваются таким образом, что не приводят к появлению результирующего состояния: их естественное развитие может быть только прервано, а не завершено. К предельным глаголам (описывающим действия, имеющие естественный результат) в русском языке относятся, например, глаголы *ломать*, *ловить*, *искать*; их естественными результатами являются ситуации *сломать*, *поймать* и *найти* соответственно. К неопредельным глаголам (описывающим действия, не имеющие естественного результата) в русском языке относятся, например, глаголы *знать*, *спать*, *бежать*, *дышать*³.

Таким образом, в неявном виде принимается, что результативы могут описывать только естественные результаты; поскольку же понятие естественного результата имеет смысл не для всех глаголов, а только для «предельных», то и образовываться результативы могут только от предельных глаголов.

Данный тезис, однако, хотя и выглядит достаточно бесспорным, тем не менее оказывается поколебленным двумя различными группами фактов.

(1) Во-первых, во многих языках признак предельности часто не является единственным, а иногда и вообще сколько-нибудь существенным для формулировки правил, описывающих ограничения на образование результативов. Прежде всего следует отметить, что если в языке вообще есть подобные ограничения, то число возможных результативов в этом языке будет, в силу тех или иных конкретных особенностей, всегда меньше числа предельных глаголов. Это можно продемонстрировать даже на ма-

³ Строго говоря, противопоставление по предельности / неопредельности было введено в аспектологию достаточно давно, хотя до работ А. А. Холодовича и не использовалось непосредственно для описания результативов. По поводу различных подходов к описанию этого и связанных с ним противопоставлений см., в частности, [12, 13; 14, с. 221—224]. Несмотря на многочисленные попытки его уточнения, понятие предельности в некоторых существенных отношениях остается достаточно расплывчатым; впрочем, как будет показано ниже, для наших целей это не имеет особого значения.

териале, так сказать, «эталонных» языков с результативом. Например, в армянском языке не допускают результативов глаголы со значением каузации эмоционального состояния (типа *радовать*); однако эти же глаголы составляют одну из наиболее продуктивных результативообразующих групп в арабском языке (который, в свою очередь, характеризуется другими ограничениями — см. [11, с. 172, 206]). Весьма прихотливы ограничения, свойственные немецкому языку, ср. специальные наблюдения В. П. Недеялкова [15], а также эксплицитное утверждение В. П. Недеялкова и С. Е. Яхонтова, что для характеристики ограничений на образование результативов (в частности, в немецком языке) «критерий предельности, как видно, недостаточен» [11, с. 25]. Возможно, однако, что этот критерий не является даже и необходимым: по крайней мере для той группы языков, которые характеризуются результативами с так называемым «конкретно-результативным» значением (т. е. обладают наиболее сильными ограничениями на образование результативов — см. [11, с. 20, 24, 67 и сл.]), правила типа «результативные производные возможны только у глаголов, (естественный) результат которых является визуально наблюдаемым» или «...является обратимым» или даже «результативные производные возможны только у глаголов каузации физического контакта» (ср. материал китайского языка у С. Е. Яхонтова в [11, с. 67—80]), представляются более адекватными, чем соответствующие формулировки, включающие понятие предельности. Следует также иметь в виду, что, как правило, именно в языках с конкретным результативом встречаются лексемы, для описания которых потребовался специальный термин «нейтральные глаголы» (т. е. глаголы, не принимающие ни положительного, ни отрицательного значения признака «предельность» — ср. [11, с. 11]); тем самым, косвенным образом признается, что для решения вопроса о наличии результатива у таких глаголов их отношение к признаку предельности, вообще говоря, несущественно⁴.

(2) Во-вторых, запрет на образование результативов от непредельных глаголов также, как оказывается, не является абсолютным. Подобные факты — в качестве труднообъяснимых исключений «прагматического характера» — отмечаются уже в [11, с. 25] для таких языков, как нивхский, хауса, арабский (приводятся результативы от глаголов со значением «плакать», «работать» и некот. др.; показателен в этом отношении и материал русских говоров — см. [11, с. 216—226]).

Таким образом, все сказанное свидетельствует о том, что связь между предельностью и существованием результатива имеет отнюдь не бесспорный характер. Нам представляется более адекватным такое описание, которое не предусматривает ограничения на предельность в качестве универсально обязательного. Дело в том, что предельность (как бы ни конкретизировать это понятие) имплицитно не свойство ситуации иметь результат вообще, а несколько другое свойство — предсказуемость, единственность, естественность этого результата. Предельные ситуации, развиваясь нормально, могут завершиться только одним результатом — тем, который выводится из лексикографического толкования соответствующих предикатов. Ситуация *ломать* в нормальном случае всегда приводит к результату *сломать*, но это в принципе далеко не единственный вообще возможный ее результат. «Теория предельности» в описании результативов основана на (неявном) утверждении, что результативы в язы-

⁴ В этой связи представляет интерес точка зрения Н. Б. Телина, предлагавшего считать нейтральным по признаку «предельность», вопреки существующей традиции, большой класс глаголов в славянских языках, в частности, в русском [12].

ках мира обозначают только естественные результаты. Это утверждение требует проверки; уже факты, приведенные в [11], заставляют в нем усомниться. Но, как представляется, именно материал языка догон позволяет окончательно опровергнуть его универсальность.

Данный вывод чрезвычайно важен для ответа на вопрос, сформулированный нами в начале работы: может ли противопоставление по результативности / нерезультативности быть грамматикализованным? Действительно, если постулируется жесткая связь между предельностью глагола и возможностью образования его результативной производной, то, очевидно, искомое противопоставление не может быть определено на всем множестве глаголов данного языка, т. е. не может быть обязательным. В языках, где реальная ситуация близка к указанной, результативные производные являются типичным примером ограниченно-продуктивных образований и связаны с исходным глаголом словообразовательными отношениями. Таков, по всей вероятности, армянский язык, где результативные производные с суф. *-ač* являются отглагольными прилагательными и не должны включаться в число словоформ исходного глагола (иное решение принимается в [15, с. 54—64]; ср. также [16]). Однако если мы признаем возможным существование результативов, соотносящихся с непредельными глаголами, то грамматикализация противопоставления по результативности станет гораздо более реальной: признак со значениями (1) «обозначать какой-либо результат ситуации V» (= «результативность») и (2) «не обозначать результат ситуации V» (= «нерезультативность») теоретически вполне может быть обязателен для совокупности глагольных словоформ любого глагола. Таким образом, теоретическая возможность результатива как грамматической категории возникает именно в том случае, когда мы отказываемся от утверждения, что результативные производные обозначают только естественные результаты. Сдвиг «естественный результат» → «результат вообще» — та самая «плата» за грамматикализацию, о необходимости которой говорилось выше.

В языке догон результатив не обязательно обозначает естественный результат. И именно в языке догон противопоставление по результативности / нерезультативности имеет беспорно грамматический характер. Ниже будет подробно рассмотрен материал языка догон, необходимый для обоснования сказанного.

2. Результатив в языке догон

По крайней мере двум диалектам догон, донно-со и томмо-со, свойственна особая глагольная конструкция, выражающая результативное значение. Ниже мы будем опираться — как на наиболее надежный — преимущественно на материал диалекта томмо-со, собранный нами с помощью носителя этого диалекта И. Тембине ⁵; в отдельных случаях будут также привлекаться примеры из диалекта донно-со (по данным М. Кервана — см. [19]; ср. также [20, с. 88—89]). По нашим наблюдениям, равно как и по свидетельствам информантов, какой-либо принципиальной разницы между этими двумя диалектами в отношении семантики результативных форм нет ⁶.

⁵ Предварительное описание результатива в томмо-со содержится в нашем очерке [17]; ср. также данные в [18, с. 144—147].

⁶ Сделать абсолютно достоверные утверждения о наличии результатива в глагольных системах других диалектов в настоящее время затруднительно; во всяком случае,

Результативное значение в диалектах томмо-со и донно-со (далее для краткости просто «в языке догон») выражается особыми аналитическими глагольными словоформами, состоящими из глагольного деепричастия с суф. -а(:) и вспомогательного глагола *wò-* «быть» в форме наст. времени. Деепричастие на -а, помимо указанной конструкции (которую мы в дальнейшем будем называть результативной), входит в состав еще одной аналитической словоформы, а также употребляется и самостоятельно. В самостоятельном употреблении деепричастие на -а указывает на то, что действие, описываемое соответствующим глаголом, предшествует действию, выраженному главным глаголом предложения (глаголом в личной форме). Ср. пример (4):

- (4) *jòmòy gè ññgula ama yimú gè yàd*
 зяцк ОА? встав теци на-похороны ОА пошел
 «зяцк встал и пошел на похороны теци».

где деепричастие на -а от глагола *ññgulo* «вставать» обозначает действие, предшествующее действию, выраженному аористом 3 л. ед. ч. от глагола *ya* «идти, уходить».

Нерезультативная аналитическая форма с деепричастием на -а образуется с помощью вспомогательного глагола *be-* «быть» в форме прош. времени. Значение этой формы ближе всего к так называемому общефактическому значению: она описывает действие, однократно или многократно имевшее место в некоторый точно не определенный момент в прошлом. Так, форма 3 л. ед. ч. глагола «вставать» *ññgul-a be*, букв. «встав он-был», означает «он (уже) встал» ≈ «существует по крайней мере один момент в прошлом, в который было верно, что он встал». Ср.:

- (5) *jimiginè gè ññgula be, bèru gè badadè*
 большой ОА встав был, скоро он-выздоровеет
 «большой уже вставал, скоро он выздоровеет».

Кроме того, форма на -а *be-* употребляется в условных придаточных предложениях для выражения ирреального условия, см. [18, с. 154].

Форма на -а *be-* не описывает состояния и поэтому не является результативной; в силу этого обстоятельства формы на -а *be-* и -а *wò-*, по-видимому, нельзя трактовать как формы наст. и прош. времени особого «результативного вида» — их соотношение более сложно. В дальнейшем форма на -а *be-* рассматриваться не будет.

Таким образом, результативная конструкция в глагольной системе догон является в определенном смысле изолированной, поскольку противопоставляется всем остальным глагольным словоформам как выражающая результативное значение. Этот факт весьма существенен для последующего анализа.

Наиболее замечательным свойством результативной конструкции в догон является то, что она может быть образована практически от любой нестативной глагольной лексемы. В связи с этим результативные конструкции, естественно, не являются однородными в семантическом отношении. Для описания значения результата в догон нам представляется удобным разделить все результативные формы на два класса. В первый класс (называемый далее ядерными результативными) включаются формы, образованные от глаголов, описывающих ситуации с естественным резуль-

глагольные формы, этимологически соответствующие результатам томмо-со и донно-со, в обследованных нами системах либо отсутствуют, либо не могут быть признаны результативными.

¹ Определенный артикль.

татом; во второй класс (далее неядерные результаты) включаются все остальные формы — т. е., те, которые образованы от глаголов, описывающих ситуации без естественного результата. Примеры глаголов, образующих ядерные результаты: *yata* «портиться», *nngulo* «вставать», *die* «обучаться, осваивать», *awa* «хватать, ловить»: примеры глаголов, образующих неядерные результаты: *jòbò* «бежать», *birè* «работать», *sò* «говорить», *yè* «видеть».

Значением ядерных результатов, как и следовало ожидать, является «имеет место состояние S, являющееся естественным результатом А», где А — ситуация, описываемая исходным глаголом. Субъектом состояния S всегда является субъект исходного глагола; таким образом, в языке догон полностью отсутствует так называемый объектный результатив (см. [10, с. 9—10]), описывающий состояние несубъектного актанта исходного глагола (примером объектного результата является русское предложение (1) *Машина сломана*)⁸.

З а м е ч а н и е. Формальная невыделенность объектного результата не означает, что в языке догон отсутствуют способы обозначить состояние объекта. Так, например, достаточно точными переводами на язык догон русского предложения (6) *Вода разлила* (содержащего объектный результатив) могут служить предложения (7а) и (7б):

- (7а) *di gè yub-i-a wò*
вода ОА пролившись есть
(7б) *di gè yub-a wogè*
воду ОА пролив они-суть.

В предложении (7а) употреблен глагол *yub-i-* «проливаться», производный от *yub-* «проливать» с помощью рефлексивного показателя *-i-*, выражающего в данном случае (как и в русском языке) значение декаузативности. В предложении (7б) глагол *yub-* употреблен в форме результата 3 л. мн. числа, выражающей в данном случае имперсональное значение (≈ «имеется результат того, что воду пролили»). Семантическое различие между вариантом (7а) и (7б) заключается в том, что в случае (7б) возникновение результата «вода пролита» приписывается некоторому личному (хотя и неопределенному) агенту, тогда как в случае (7а) возникновение этого результата в значительной степени объясняется как бы свойствами самой воды; по крайней мере на синтаксическом уровне в (7а) представлен одностанный глагол с единственным актантом *di* «вода».

Приведем еще некоторые примеры употребления ядерных результатов:

- I. (8) *kèttè iwò gè jo-v wò*
калебас твой ОА наполнившись есть
«твой калебас полон» от *jo* «наполняться»
(9) *yu gè ntmèt gab-a wò, nndè iñndè diè ga*
просо ОА теперь выросши есть, человека роста от большое
«просо теперь высокое, выше человеческого роста» от *gaba* «расти, становиться
большим»
(10) *nata gè yat-a wò, tètènagu*
мясо ОА испортившись есть, не-ешь
«мясо протухшее, не ешь его» от *yata* «портиться, протухать»
II. (11) *wo gindy ba yèl-a wò*
он дом в придет есть
«он дома» от *yèlè* «приходить»

⁸ Это свойство языка догон нарушает еще одну универсалию, выдвинутую в [11], согласно которой, если в языке есть только один результативный показатель, то это показатель объективного результата, ср. [11, с. 17].

(12) *yaana gè dugòy dugi-a wò*
женщина ОА ожерелье надел есть
«у женщины на шею ожерелье» от *dugidè* «надевать (себе) на шею»

(13) *wo ñ ñigul-a wò*
он остав есть
«он стоит» от *ñ ñigulo* «вставать»

III. (14) *gamma gè ay aw-a wò*
кошка ОА мышь поймав есть
«кошка (поймала и) держит мышь» от *awa* «ловить, хватать»

(15) *wo gaw èb-a wò*
он лук купив есть
«он (купил и) имеет лук» от *èbè* «покупать».

Данные примеры представляют три наиболее употребительные группы ядерных результативов, образованных от глаголов: (I) *п з м е н е н и я* с о с т о я н и я вида: «начинать быть S», где S — предикат, обозначающий состояние или свойство; (II) *п е р е м е щ е н и я* вида: «(наблюдать) начинать / переставать находиться в L»; (III) *п р и о б р е т е н и я* вида: «начинать иметь Y». Все подобные глаголы имеют некоторый (единственный) естественный результат, описывающий состояние субъекта, который и выражается формами результатива.

Перейдем теперь к рассмотрению тех глаголов, которые обозначают ситуации, не имеющие естественного результата. Значение результативных словоформ от таких глаголов можно, в первом приближении, описать следующим образом: P_{res} - «в момент речи существуют такие (наблюдаемые) признаки, которые свидетельствуют о том, что до момента речи имело место P». Так, например, предложение (16) *wo job-a wò* букв. «он бежав есть», содержащее результативную словоформу глагола *jòbò* «бежать», означает, в общем случае, нечто вроде «он, как заметно, бежал»; обычно (16) интерпретируется информантами в смысле «он запыхался; он тяжело дышит после бега». Предложение (17) *wo niy-a wò*, букв. «он певши есть» (от *ni*; ò «петь») означает, в общем случае, «он, как заметно, пел» (такое выражение может, например, употребляться в той ситуации, когда порусски следует сказать *у него сел голос*). Результативная словоформа *bir-a wò* от глагола *birè* «работать» с общим значением «он, как заметно, работал» может интерпретироваться как в смысле «налицо (значительный) результат выполненной им работы», так и, например, в смысле «он утомлен (он устал от работы)»; результативная словоформа *yè-a wò* от глагола *yè* «плакать» означает «он заплакан» (например, если у него покрасневшие глаза, следы слез на щеках и т. п.).

Другие примеры употребления неядерных результативов:

(18) *wo odey wage ya (<*ya-a) wò*
он путь долгий пройдя есть
«он, как заметно, прошел долгий путь» (например, потому что устал и одежда в нали) от *ya* «идти; уходить».

(19) *wo dí mug-a wò*
он воду днвгав есть
«он, как заметно, купался» (например, потому, что мокрый и дрожит от холода) от *(dí) mugò* «купаться»

(20) *nnèè nò bônò yè-a wò*
человек этот трудности видел есть
«этот человек, как заметно, встретил в жизни немало испытаний» (это может быть заметно по выражению глаз, морщинам и т. п.) от *yè* «видеть».

Значения ядерных и неядерных результативов совпадают в том отношении, что в обоих случаях имеется указание на некоторое состояние, связанное с предшествующей ситуацией причинно-следственной связью. Особенностью же неядерных результативов является то, что они описы-

вают такое состояние, точная природа которого не может быть предсказана исходя из семантики соответствующего предиката. Таким образом, формы результатава в догон имеют две главные особенности:

- (1) они не обязательно описывают естественный результат ситуации;
- (2) они могут быть образованы от любого нестативного глагола⁹.

Тот факт, что ядерные и неядерные результативные значения дополнительно распределены в зависимости от семантики исходных глаголов, позволяет, в соответствии со сформулированной выше гипотезой, заключить, что перед нами результатив как одно из значений особой грамматической категории — грамматикализованный результатив. Грамматикализация результатава, подчеркнем еще раз, делает описанные преобразования неизбежными¹⁰.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Calame-Griaule G.* Le dogon // Inventaire des études linguistiques sur les pays d'Afrique Noire d'expression française et sur Madagascar/Ed. par D. Barreteau. P., 1978.
2. *Пауляк В. А.* Некоторые проблемы изучения диалектов догон // Лингвистические исследования (типология, диалектология, этимология, компаративистика). Ч. 2. М., 1984.
3. *Jakobson R.* Boas' view of grammatical meaning // American anthropologist. 1959. V. LXXX. № 2. (Русск. пер. в кн.: Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985).
4. *Зализняк А. А.* Русское именное словозменение. М., 1967.
5. *Meř'cik I. A.* Towards a language of linguistics: A system of formal notions for theoretical morphology. München, 1982.
6. *Перцов Н. В.* О грамматических категориях английского глагола // Предварительные публикации Ин-та русского языка АН СССР. Вып. 90. М., 1976.
7. *Поливанова А. К.* Выбор числовых форм существительных в русском языке // Проблемы структурной лингвистики. 1981. М., 1983.
8. *Пауляк В. А.* О некоторых свойствах грамматических оппозиций // НТИ. Сер. 2. 1988. № 10.
9. *Недялков В. П., Отаина Г. А., Холодович А. А.* Диатезы и залогов в вивском языке // Типология пассивных конструкций: Диатезы и залогов. Л., 1974.
10. *Холодович А. А.* Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
11. Типология результативных конструкций (Результатив, стив, пассив, перфект). Л., 1983.
12. *Thelin N. B.* Aspekt und Aktonalitat im Russischen // Die Welt der Slawen. 1980. Jrg. XXV. Hf. 2; N. F. IV. Hf. 2. (Русск. пер. в кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985).
13. *Булыгина Т. В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
14. *Падучева Е. В.* Высказывание и его соотносительность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
15. *Недялков В. П.* К типологии отношения результатава и пассива (на материале немецкого языка) // Прагматика и речевые единицы. Калинин, 1981.
16. *Козинцева П. А.* Видовые значения форм прошедшего времени в армянском языке // Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.
17. *Plungian V. A.* Resultative and apparent evidential in Dogon. // Typology of resultative constructions / Ed. by V. P. Nedjalkov. Amsterdam, 1988.
18. *Тембине П.* Категориальная система младописьменного языка (на материале языка догон): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1986.
19. *Keruran M.* Dictionnaire dogon: Donno so. Bandiagara, 1982.
20. *Keruran M., Prost A.* Les parlers dogons: I. Donno so. Dakar, 1969.

⁹ Существует еще ряд синтактико-морфологических особенностей, с нашей точки зрения, менее важных: практически полный запрет на сочетаемость с обстоятельствами времени, отсутствие особых форм отрицания и некот. др. (подробнее см. [17]). Для задач настоящего исследования учет указанных особенностей необязателен.

¹⁰ В 1983—1986 гг., когда писалась настоящая статья, автор пользовался советами и помощью многих коллег. Прежде всего это А. К. Поливанова и В. П. Недялков, способствовавшие возникновению замысла этой работы; первоначальные варианты были прочтаны Т. В. Булыгиной, В. А. Виноградовым, А. И. Коваль, И. Ш. Козинским, Н. В. Охотвиной, Е. В. Рахилиной и др. Наконец, данная работа была бы невозможна без постоянной терпеливой помощи моего малийского коллеги И. Тембине. Всем названным лицам автор приносит глубокую благодарность.

ВЕКШИН Г. В.

К ПРОБЛЕМЕ СУПЕРСЕГМЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТИХА

(Лингвостетический аспект)

1. Стрoение поэтического текста, взятое как эстетически обусловленная речевая структура, становится в последнее время в ряд с наиболее актуальными проблемами лингвистических исследований. Этому прежде всего способствует общее обострение интереса к организации текста как целого, и в частности к тем специфическим речевым средствам, которые позволяют оформить текст как единицу эстетической коммуникации (см., например, [1; 2, с. 128—135; 3]). Становление лингвистической поэтики как относительно самостоятельной языковедческой дисциплины обусловлено все более ясным осознанием основного ее предмета. В качестве такового выдвигаются не просто языковые характеристики того или иного произведения или идиостиля, не развитие канонической атрибутики художественных произведений самой по себе (последнее резко отличает лингвистический подход от стиховедческого), но принципы эстетической организации текста, механизмы текстообразования, обеспечивающие эстетическое воздействие.

В настоящей статье рассматриваются некоторые специфические звуковые средства языка, создающие и поддерживающие синтагматическую целостность стихотворного текста как эстетически мотивированной речевой структуры. Обсуждаются лингвистические предпосылки этих явлений.

2. Когда говорят о стихотворной речи, всегда имеют в виду основное свойство этой речи, заключающееся в том, что она распадается на специфические периоды — строки, стихи. Сущность поэтической структуры, по Б. В. Томашевскому, «в сравнении обособляемых рядов, „стихов“, осуществляемом в восприятии их смены» [4, с. 11]. Строка выступает, таким образом, как центральная единица синтагматики поэтического текста. Она представляет собой ритмически и семантико-синтаксически цельный импульс, любое разрушение которого воспринимается только на фоне его единства.

Вводимый стихом циклический принцип членения текста, нормированность, ожидаемость его просодической структуры создает уникальные условия «единства и тесноты» сегментного ряда строки, подчинения ее структуры мощной инерции «слияния в нераздельное целое членораздельных звуков, слогов, слов и целых предложений» [5]. Эта закономерность предопределяет существенные преобразования семантического механизма речи: внутри строки «смысл каждого слова является в результате ориентации на соседнее слово» [6, с. 125].

Развитие идей Ю. Н. Тынянова о характере семантической организации строки в трудах Н. С. Поспелова сделало очевидным, что фактор единства и тесноты стихового ряда может получать систематическое применение в целях объединения предложений в пределах высказывания [7,

с. 10]. Актуализация синтаксических связей слов на стыке предложений внутри строфы — специфическое свойство стихотворного текста. Ср.:

Исполнились мои желанья. Творец
Тебя мне испослал, тебя, моя Мадонна,
(Пушкин)

где слово *творец* может быть расценено как обращение и отнесено к первому предложению.

С другой стороны, синтагматическая автономность строки позволяет синтаксически ассоциировать ее с любой из смежных строк внутри строфы:

Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно
(Пушкин)

(словесный ряд второй строки может восприниматься как уточнение к к субъекту первого предложения).

Такого рода линейная амбивалентность поэтического слова в строке и строки в строфе отвечает в конечном итоге общей установке поэтического текста на многоплановость, многомерность смысла. Ср.: «Творческий, эстетически переживаемый момент состоит в переходе от одной точки зрения к другой, в лингвистике — от одного полюса амплитуды „колеблющегося“ значения к другому, в удержании полюсов (точек зрения)» [2, с. 133].

3. Наряду с тем, что нам известно о семантических последствиях линейного обособления строки, необходимо иметь более полное представление о речевых механизмах, поддерживающих синтагматическую целостность стиха и обуславливающих тем самым «единство и тесноту стихового ряда», а также позволяющих осуществлять его внутреннее ритмическое и смысловое членение.

Проблема средств оформления стиха как синтагматической целостности чаще всего решается с помощью инструментальных методов. Так, экспериментально-фонетические исследования позволили подтвердить эмпирические наблюдения о маргинальных позициях стиха как динамически и информативно наиболее сильных его точках [8, с. 54—55]; ср. [4, с. 42; 6]) и в целом свидетельствовали о статусе строки как основной синтагматической единицы стихотворного текста [9, с. 80—119; 10, с. 202]. Большой интерес с функциональной точки зрения представляют такие специфические свойства звучащего стиха, как тенденция к акцентной выровненности полиударных слов, увеличение долготных характеристик звуков, значительное увеличение длины пауз между стихами [11, с. 69—80] и др.

Вместе с тем очевидно и то, что основным объектом экспериментально-фонетических исследований стиха служит не столько стихотворный текст в его эстетико-речевом своеобразии, сколько особенности его производительной интерпретации. Это ограничивает применение инструментальных методов в области исследования стиха и делает их генерализацию противоречащей эстетической природе поэтического текста, сущностной характеристикой которого является инвариантность и функциональная «многомерность» знака. С точки зрения поэтов, «слово как внушающий символ всегда резко отличалось от слова как интонации и жеста» [12]. Сходную мысль, в связи с решением задач лингвистического анализа стиха, выразил С. И. Бернштейн: «Поэзия, как таковая, не

нуждается в полноте материального звучания и я» [13, с. 31] (разрядка наша. — В. Г.).

4. В последнее время традиционные представления лингвистики о надстроечном, «накладочном» характере суперсегментных единиц речи подвергаются серьезному пересмотру. Результаты ряда диахронических и синхронно-типологических исследований дают повод судить об органической взаимозависимости сегментных и суперсегментных средств в развертывании речи, а также о возможности взаимокомпенсаторных отношений между ними [14]. Распадение речевого потока на синтагмы различного формата обеспечивается единством его просодических и сегментных характеристик [15].

При таком подходе более полноправное место среди суперсегментных средств (т. е. средств оформления речевой структуры как целостности) получает такой способ сегментной организации речи, как гармония гласных, — явление, носящее как тенденция в языках различных типов универсальный характер [14, 16, 17]. Большой интерес как контурное средство языка, особенно — применительно к поэтической речи, представляет и порядок слов — словесная комбинаторика внутри синтагмы и высказывания.

Сказанное выше имеет, как кажется, непосредственное отношение к проблемам изучения поэтической интонации и суперсегментной организации стиха в целом.

5. Известно, что В. В. Виноградов, отвергавший, вслед за С. И. Бернштейном, принципы «слуховой филологии» Сиверса и его последователей, считал, что в качестве субститута интонации поэтический текст использует особую систему знаков «письменно-зрительного языка», которая, по его мнению, является «далеко не совпадающей и даже не соотносительной с интонационно-смысловой системой произносительно-слухового языка» [18, с. 15].

Как бы то ни было, превращение устной поэзии в факт литературы действительно связано с ее существенным переосмыслением как явления письменного, книжного языка. Это, по-видимому, выразилось и в «оречвлении» музыкального начала поэтической речи — первоначально синкретической формы коммуникации. «Музыка» не была утеряна поэзией, но средством ее восполнения стал не звук вообще, а звук языка, членораздельный и связанный со смыслоразличением элемент, имеющий графический субстрат; «точки и запятые, рифмы и периоды должны были заменить все то, что раньше... выражал живой голос самого певца» [19].

Следует предположить, что характер отношений между единицами языка, особенности реализации функций знака испытывают определенное влияние субстанциональных свойств системы, с помощью которой осуществляется коммуникация. Сообразно этому поэтическая речь, очевидно, стремится ослабить зависимость своей структуры от тех средств, которые реализуются лишь при устной передаче текста, что должно привести к активизации компенсаторных отношений между сегментно-звуковой и суперсегментной организацией речи.

Естественно, что более всего в такой компенсации нуждается интонационное оформление стиха. В этом смысле особый интерес представляет идея «вписанной в текст» интонации поэтической речи, высказанная Н. И. Жинкиным и в последнее время получившая развитие в работах И. И. Ковтуновой [20, 3].

Для полноценного включения в поэтическую структуру интонация должна неизбежно потерять некоторые необходимые ей в устной речи

свойства и вместе с тем эксплицируются в особых формах письменно-зрительного текста. Это происходит, вероятно, благодаря действию в поэтическом языке своеобразного закона компенсации, во многом аналогичного «принципу замены» А. М. Пешковского. Центр тяжести суперсегментного оформления речи в стихотворном тексте перемещается из области тональных, силовых и темпоральных средств в область комбинаторики и дистрибуции сегментных единиц.

Будучи «вписана в текст», непосредственно выражена в специфической сочетаемости речевых единиц различных уровней организации текста, интонация уже перестает быть таковой. Следовательно, применительно к лингвоэстетической проблематике стиха речь идет не о собственно интонации, а о ее субститутах, т. е. о тех элементах организации поэтического текста, которые служат средствами его в широком смысле суперсегментного оформления и, аналогично интонации, выполняют в качестве важнейших функции: 1) организации и членения речевого потока, 2) выражения степени связи между единицами членения [21].

6. Прежде чем перейти к рассмотрению случаев реализации суперсегментных отношений в звуковой структуре стихотворного текста, необходимо, насколько это позволяет рамки статьи, остановиться на проблеме графического фактора в распознавании звуков поэтической речи (в первую очередь нас интересуют гласные в силу их наиболее широкой употребимости для организации единиц суперсегментного уровня [11, с. 13]).

Известно, что поэты, в том числе и поэты — исследователи стиха, неисправимо путают звук и букву. Такое положение едва ли объяснимо их лингвистической некомпетентностью: В. К. Тредиаковский, первым из русских языковедов требовавший строгого разграничения звука и буквы, так же убежденно исповедовал графический принцип в рифме¹; М. В. Ломоносов в применение к звуковому строению стиха говорил о «письменах»; среди поэтов-стиховедов, не различавших букву и звук, были образованнейшие люди XX в. — В. Брюсов, А. Белый, Г. Шенгели. Скорее всего, эти факты свидетельствуют об особенностях поэтического речевого мышления.

Признание воздействия графического фактора на восприятие звуковой структуры стиха не только характерно для филологических штудий поэтов, оно определяет достаточно стойкую традицию лингвистических исследований стихотворной речи. О важной роли графемы в распознавании речи вообще, и особенно речи стихотворной, говорят, в частности, некоторые психолингвистические [23] и лингвопоэтические исследования [1, с. 291—299; 24, с. 96—98].

Прав ли был Л. В. Щерба, считавший, что орфография сковывает творческую волю автора и является «проклятием для поэта» [25, с. 32]? Вряд ли поэзия, с ее эстетически целесообразным, творческим подходом к языку, смогла бы стерпеть эти орфографические «оковы», не разрушая их либо не обращая их себе же на пользу. Ведь ясно, что отнюдь не все элементы графики целенаправленно используются поэтической речью. Например, очевидна ее потребность в «преодолении» нормативной пунктуации. Это, в частности, заставляет многих поэтов употреблять типе

¹ Графический принцип рифмовки был преодолен в русской поэзии лишь в середине XIX в. в результате исчерпанности рифменного репертуара [22]. Однако можно сомневаться, что это повлекло за собой переоценку роли графемы в стихе. Скорее здесь мы имеем дело лишь со святением запрета на уподобление в рифме различных «близкочувственных букв».

как универсальный заменитель знака препинания в функции сигнализации синтагматической границы, освобождающий от однозначной трактовки синтаксической связи.

В то же время попытки записать поэтический текст как прозаический, не прибегая к графике стихового членения, — явление редчайшее и допустимое больше как факт экспериментаторства или поэтического зпатажа (например, в некоторых стихах М. Шкапской, Л. Мартынова). Такого же рода беспрецедентным случаем является попытка применения «фонетического письма» или своеобразной фонетической транскрипции в стихе (поэт А. Чичерин — см. об этом [26]).

Таким образом, поэтическая речь охотно вовлекает в сферу системности и подчиняет эстетико-коммуникативным задачам внесистемные с точки зрения обычной речи факторы. При этом усваиваются и обретают системный характер лишь те элементы графики, которые оказываются наиболее адекватными языку в его эстетической функции.

Позиция Л. В. Щербы по вопросу о стихотворной графике особенно интересна тем, что она отличается существенной двойственностью: в ней ощутимы колебания между точкой зрения фонетиста, требующей полноценного слухового анализа речевого материала, и точкой зрения «толкователя», требующей пристального внимания к тем речевым особенностям текста, которые диктуются его эстетической природой. Так, Л. В. Щерба высказывает мысль о «благодетельности» графики, создающей в поэзии возможность неединственного «перевода письма в звук» [25, с. 32]².

Такой подход представляется плодотворным. Он позволяет взглянуть на звуковые единицы стиха как sui generis двусторонние сущности, способные соотноситься друг с другом в структуре текста: 1) на основе орфографических аналогий, 2) в плане их акустического сходства в потоке звучащей речи. В таком случае фонетический уровень поэтического текста может быть описан двояко: например, как сходные по вокалическому составу могут трактоваться, с одной стороны, слова *белить* и *пилить*, *женá* — *женá*, *оргán* — *аркán* и, с другой стороны, *велит* — *вэрит*, *перина* — *пеликán*, *оргán* — *брган*.

Совершенно объединить эти две точки зрения невозможно, однако и непроходимой пропасти между ними нет. Обе они реализуют в русском стихе единое начало — фонологическое, и залогом тому со стороны орфографии служит ее фонематический (фонологический) принцип. Фонологичность русской орфографии обеспечивает ей одновременно прочную связь и со звуковым, и со смысловым «мирами» языка, не позволяя ни пренебречь одним из этих «миров», ни «раствориться» в каком-либо из них. Вероятно, «слух» поэта и читателя поэзии более «фонологичен», нежели слух участвующего в практической коммуникации, ибо звучание речи не является поэту в отрыве от ее графической картины, а всегда сопутствует ей. Можно сказать, что поэты ([по]эты, а не [пл]эты!) «видят» звуки и «слышат» их начертания.

Естественно предположить, что подобная амбивалентность звуковых единиц в структуре стиха проявляется неравномерно. Видимо, это зависит от близости текста к устной поэтической традиции, от его стилистиче-

² По словам В. В. Виноградова, «Л. В. Щерба быстро осознал односторонность слуховой филологии и возвратился к более правильной точке зрения И. А. Бодуэна де Куртэна, признававшего равноправие письма и звучащей речи» [18, с. 14]. Ср.: «... вполне грамотный человек, объективизируя мыслимое по части языка, видит его прежде всего написанным, т. е. читает воображаемое, оперирует оптическими самовольными галлюцинациями» [27].

ских особенностей, от конкретного этапа в развитии поэтического языка. Так, поэтическая культура XX в., свидетельствующая о подрыве синтагматического единства строки и перенесении ее просодических закономерностей в область «самовитого слова», вероятно, тяготеет более к звучащему, нежели к зримому стиху. Этот поворот от строки к слову, в настоящее время, как кажется, утрачивающий характер ведущей тенденции в развитии поэтического языка, дает, однако, повод говорить лишь о перемещении «акцентов» в системе речевых категорий стихотворного текста, а не об их принципиальном изменении. Вряд ли этим устраняется и влияние графики на звуковую структуру стиха³.

Степень актуализации / дезактуализации графического, равно как и слухового факторов в различных условиях еще предстоит установить. Поэтому представляется возможным на данном этапе исследования (во всяком случае — для классической русской поэзии XIX в.) принять одну из крайних точек зрения и считать фактор графемы основной идентификации гласных во всех положениях. Сообразно количеству и составу гласных фонем «практического» языка, состав гласных графофоном (или фонографем [28]) поэтического языка может быть, таким образом, ограничен пятью единицами, выступающими в равноценных парных вариантах: а-я, о-ё, у-ю, э-е, ы-и (в предлагаемой здесь транскрипции — а-ä, о-ö, у-ÿ, э-э, ы-и).

Мы будем исходить из предположения, что поэтическая речь позволяет достаточно прочно ассоциировать фонему с ее графическим образом и в тех случаях, где она не представлена фонологически сильным вариантом, и, таким образом, дает основания решать вопрос о квалификации звуков в слабых положениях графофонологически: безударный гласный в звуковой структуре стиха связывается с тем ударным, который выражен аналогичной орфограммой.

8. Ниже мы рассмотрим два случая, в которых графика-фонетическая последовательность выступает самостоятельным экспонентом интонационно-просодической организации стихотворного текста.

А. Одной из форм субституции интонационного оформления синтагмы в поэтическом тексте может служить распределение ударных гласных в соответствии с различием их акустических характеристик.

На «ритмическое распределение отдельных звуков в произведении» [29], «циклическое голосоведение», делящее речь «по системе повторяющегося, но замкнутого закона чередования гласных» ([4, с. 22]; ср. [30]), указывалось неоднократно; в последнее время эта идея нашла отражение в ряде зарубежных исследований [31—33].

Так, ассонансные ряды в стихотворной речи способны подчеркивать акцентную пульсацию стиха, дифференцируя последовательность соотносно «тенденции интонационного членения» [4, с. 23]:

Текли лучи. Текли жуки с отливом,	И	И		И	И	И
Стекло стрекоз сповало по щекам	О	О		А	А	А
(Пастернак)						

Вокалическая последовательность строится при этом как регулярное повторение неизменного по акцентной и комбинаторной структуре сегмента (обычно таковым является один ударный гласный; но ср. в приведенном примере: *Текли лучи. / Текли жуки...* — еИ уИ / еИ уИ, где безу-

³ В этом смысле показательны полученные Е. Даль результаты изучения поэтической эквивалентности гласных в поэзии Б. Пастернака. Так, в предударной позиции гласные /а/ и /о/ дифференцируются и в соответствии с их фонологической принадлежностью входят в состав различных «звуконеповторных цепей» [24, с. 98].

дарные гласные дифференцируют ряд в связи с синтаксическим членением строки; *стекло стрекоз* — еО еО, где безударные подчеркивают заданное ассонансом членение).

В то же время повторяющаяся «звуковая фигура», будучи средством консолидации / делимитации единиц поэтической синтагматики, может выступать и как особого рода экспрессивное средство, воспроизводящее эмоциональную динамику текста. При этом в пределах синтагмы осуществляется тенденция к градуальному расположению гласных в связи с акустическими признаками звучности и тона.

То, что в качестве структурообразующих выдвигаются именно признаки звучности и тона, представляется неслучайным: «признаки первого класса родственны просодическим признакам силы и количества, признаки второго класса — просодическим признакам высоты тона» [34]. Эта родственность оказывается важной для поэтической речи. Формы сочетаний по звучности могут выступать здесь аналогом силовых изменений в интонационном оформлении синтагмы, а тональные переходы — показателем мелодического движения.

В связи с этим уместно говорить о «вокалической интонации» стиха, выражаемой взаимодействием ударных гласных в речевой цепи.

Моделью «системы координат», предопределяющей направления этого взаимодействия, может служить известная схема Р. О. Якобсона

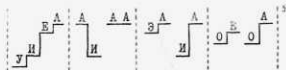


устанавливающая оппозиции гласных фонем русского языка и намечающая их градацию по признакам диффузности/компактности и низкой/высокой тональности: 1) у, и — о, е — а; 2) у — о — а — е — и (в применении к поэтической речи — см. [35]). Учитывая, что в реальной речи эти оси не автономны, а «проецируются» одна на другую⁴, перцентивная градация гласных, актуальная для звуковой структуры стиха, может быть представлена в виде двух рядов: 1) у — и — о — е — а; 2) у — о — а — е — и.

Приведем в пример известное своей эмоциональной насыщенностью четверостишие стихотворения А. Блока:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?	У	И	Е	А
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!	А	И	А	А
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться ...	Э	А	И	А
Вольному сердцу на что твоя тьма?	О	Е	О	А

Начальная строка воспринимается очень монолитно. Эта целостность обеспечивается последовательным нарастанием звучности ударновокалического ряда от начала строки к ее концу:



⁴ Ср. данные Н. А. Слепокуровой по анализу восприятия гласных: различие по тональности (ряду) — основной фактор фонемного разграничения /y/ — /и/, /о/ — /е/ [36].

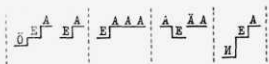
⁵ Одним из первых лингвистов, обративших внимание на построения такого рода, был С. И. Бернштейн [13, с. 173]. Предложенный им «ступенчатый» способ обозначения вокалических рядов в стихе используется в настоящей работе.

Дробление 2—4-й строк на синтагмы подчеркивается благодаря варьированию контура первой строки, воспринимается на ее фоне. Нисходящий характер имеет лишь полустипше, непосредственно следующее за первой строкой, «отталкивающееся» от нее и создающее «взаимотраженность» контуров крайних полустипшей срединных строк. Последние две строки посягательственно реализуют развертывание гласных первого стиха. (Стяжение некоторых слов в ритмико-синтаксические единства усиливается скрепами, образованными консонантно-вокалическим и структурно-слоговым повтором: *Цáрь, да Сибúрь, да Ермáк, да тюрэмá.*)

Однонаправленные вокалических переходов по диффузности/компактности, «волнообразное» нарастание признака в пределах синтагмы позволяет, таким образом, говорить в некоторых случаях о своеобразной вокалической интонации стиха, которая не только организует строку как целое и создает тем самым условия для выделения ее в речи, но членит стих и далее:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.	О	Е	А	Е	А
Белый пар по лугам расстилается.	Е	А	А	А	А
По зеркальной воде, по мудрым лозняка	А	Е	А	А	А
От зари алый свет разливается.	И	Е	А		

(И. С. Никитин)



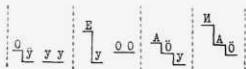
(Привлекает внимание тот факт, что единственная «отраженная» звуковая фигура слова возникает на разделе двустипшей⁶.)

Обратим внимание на то, что внутрискладовая организация четко ориентирована на выделение синтаксических единств, ударновокалическое строение выполняет здесь роль контурного средства, оформляющего не только ритмическое, но и смысловое членение речи.

Если выше рассматривались восходящие контуры (в данном случае — по звучности), то ниже приведем пример нисходящего контура гласных (по признаку тона):

Ночью, в юрте, за ужинном грубым	О	У	У	У
Мне якут за охотничий нож	Е	У	О	О
Рассказал, как ты ишьшь с медногубым	А	О	У	
И какие подарки берешь.	И	А	О	

(Н. Тихонов)



Следует особо отметить, что структуры такого рода наиболее ярко проявляются и чаще всего встречаются в отрезках стихотворного текста, характеризующихся повышенной экспрессивностью. В связи с этим становится очевидно, что кроме функции синтагматической связи/членения эти средства выполняют присущую интонации экспрессивную (эмоциональную)

⁶ В связи с этим любопытна и лексическая нагрузка соответствующего сегмента (*По зеркальной воде*), с дальнейшим развитием в дистихе темы отраженности и общей семантической оппозицией «пронсходящее в небе — происходящее на земле».

функцию. Очевидно, в таких случаях актуализируется изобразительная, эмоциографическая, сторона поэтической речи, вступает в силу фактор фонетического символизма, который раскрывается не атомарно и не суммарно, а как результат линейного взаимодействия единиц, как семантический компонент структуры контурного типа.

Смыслоразличительной силой при этом обладает дифференциация не по типу конститутивного признака (звучность — тон), а по характеру контура (восходящий — нисходящий). Восходящий и нисходящий контуры в самом общем виде противопоставляются как интонационные корреляты состояний аффекта и эмоционального напряжения, двух основных форм осуществления эмоционального процесса [37].

Ср. передачу аффективного состояния (восходящий контур, «имитирующий» повышение/усиление голоса при кумулятивном протекании эмоции): *Чудище обло, озэрно, огромяно, с тризвонной и лаей* (Греднаковский); *Кумиры падают! Народ, гонимый страхом...; Чу, пушки грянули! крылатых кораблей...* (Пушкин). И, с другой стороны, — эффект эмоционального напряжения (нисходящий контур; понижение и «оседание» голоса при концентрации эмоции): *Гроба с размытого кладбища Ильвут по улицам!..; Без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви* (Пушкин).

К отрывку из стихотворения И. С. Никитина «Утро», рисующего картину рассвета, вполне применима и собственно синестетическая трактовка в духе Р. О. Якобсона (диффузность/компактность = тусклый/яркоокрашенный). Впрочем, выразительный аспект звуковой структуры и здесь доминирует над изобразительным⁷.

Б. Другим случаем проявления суперсегментной организации стиха на звуковом (графофонемном) уровне является своего рода ритмическая гармония гласных, или вокалический ритм.

На гармонические отношения в вокалической структуре стиха исследователи обращали внимание неоднократно, однако обычно дело ограничивалось рассмотрением ударного вокализма. Между тем вопрос о взаимоотношении ударных и безударных в поэтической речи имеет принципиальную важность: в нем наиболее органично проявляется связь ритмико-акцентуационного и звукового строения текста. Здесь уместно привести мнение Ю. Н. Тынянова, исходившего из взгляда на стихотворную форму как «непрерывную установку различных эквивалентов, повышающих динамизм» и видевшего «ритмическую роль инструментровки» в том, что она «дает звук не в однообразной форме, а в чередованиях различных оттенков его» [6, с. 50, 150].

Наблюдения показывают (критерием отбора служила эстетическая ценность произведения, основу материала составили наиболее известные, хрестоматийные образцы русской поэзии XIX в.), что вокалическая структура стиха во многом определяется тенденцией к своеобразной гармонизации-дисгармонизации гласных, в результате чего некоторые, преимущественно крайние, волны ритмико-акцентуационного контура строки (синтагмы) графофонетически выражаются в виде сходных по составу вокалических групп, различающихся порядком и акцентуацией компонентов.

В безмолвии садов, весной, во мгле почей
(Пушкин)

⁷ После того как эта статья была сдана в редакцию, автор получил возможность ознакомиться с чрезвычайно интересными, сделанными независимо наблюдениями О. А. Седаковой и В. А. Котова, свидетельствующими о тональных соотношениях гласных как конструктивным факторе синтагматики стиха [38].

еО и аО еО оЕ оЕ

Безударные гласные в сочетании с ударными (последовательность ударных — О — О — О — Е — Е) располагаются здесь таким образом, что в строке образуются сходные по составу вокалические сцепления (еО — еО — оЕ — оЕ). При этом начальный сегмент (еО), неоднократно повторяясь, перемещается в конечную часть стиха в полностью (акцентно и метатетически) трансформированном виде. Абсолютно начальный гласный е, находясь в безударном, «теневом» положении, служит «фактором динамической подготовки» (Тынянов), в исходе строки центрируется, выдвигается на ударную позицию, получает «динамическое разрешение» в финальном импульсе строки. И наоборот, — начальный ударный О переходит в фон, реализуется как безударный графофонетический элемент.

Стихотворная синтагма (строка) с ее нисходяще-восходящей динамикой оказывается той рамкой, внутри которой эти преобразования получают целенаправленный характер: строка стремится «вытолкнуть» повторяемый сегмент на вершину своей динамической волны. Ср.:

Влево, разбросаны были обломки еловые вёсел
(Фет)

Ео аО аи ио ои еО ие оЕ

Ощутимость этих вокалических трансформаций усиливается за счет подключения повторяющихся консонантных элементов:

лЕво елОв . вОел

(заметим, что отказ от графофонемного принципа полностью изменил бы картину).

Тенденция к скобочному расположению трансформируемых сегментов обуславливает тот факт, что сильные стиховые позиции в строфе часто обнаруживают коррелятивность по своему вокалическому строению. Например:

Безмолвное море, лазурное море,
Стею очарован над бедной твоей

еО ое оЕ еа уо ео е
оу оа оаа Ео оЕ

(Жуковский)

Несчастно верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье

еА уЕ ая еА
аЕ аА оо еЕ

(Пушкин)

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя

оу аЕ оИ уО и
оу аА ая оА

(Пушкин)

И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких тайнствах любви!

и а и А а у о у ъ
и А и А и а у и

(Пушкин)

Мне ль позабыть огонь и живость
Твоих лазоревых очей

Е о а Н о О и И о
о И а О е ъ О Е

(Языков)

Увы, он счастья не ищет
И не от счастья бежит

у Ы о А и а е (И е)
и е о А и а е И

(Лермонтов)

Любовь, любовь — гласит преданье,
Союз души с душой родной

у о о у о а и е а е
о у у и у о о о

(Тютчев)

Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день

Е у и о у о у и е ъ о
у и а у а у а у и е

(Некрасов)

Обратим внимание на то, что наряду с функцией объединения стихотворной синтагмы, «размывания» границ слова, благодаря чему достигается особая слитность звукового ряда строки, вокалический ритм может выполнять и выделительную роль, подчеркивая ритмико-синтаксическое соположение и семантико-синтаксическую связанность слов (*подруга — суровых — голубка; несчастью — сестра — надежда; любовь — союз — с душой* и т. п.). Подобно гармонии гласных, явление это «затрагивает не только гласные, но и согласные, и не только фонетику, но и более глубокие структурные пласты языка» [39].

Ср. взаимодействие вокалических и консонантных элементов при ритмико-гармоническом оформлении стихов: *Поздняя осень. Грачи улетели, / Лес обнажился, поля опустели, // Только не сжата полоска одна... / Грустную думу наводит она* (Некрасов) —

О а а о е а и у е Ё и
Е о а и а о а о у е и
о о е а а о о а о а
у у у у а о и о а

О-дня
. одна л-апо-длоп . . .
. апол . одна
. на-о . она

⁸ В целях наглядности картина вокалических трансформаций в некоторых примерах умышленно упрощается.

Скобочную функцию реализует здесь ряд консонантно-вокалических блоков О-днй — обна — однА — на-О — онА; срединные звенья ритмообразующей вокалической цепочки поддерживаются повтором согласных и, л.: л-апо-лАоп — апол. Консонантный повтор, таким образом, не только усиливает эффект синтагматического объединения гласных, но и может дифференцировать маргинальные и срединные звенья создающейся цепи вокалического ритма (см. [28]).

С точки зрения возможностей метаязыковой экспликации вокалического ритма (а следовательно, — возможностей осознания соответствующих бессознательных речетворческих механизмов) представляет интерес недавно опубликованное стихотворение А. Тарковского (Новый мир, 1987, № 5).

Приведем его последнюю строфу:

Хоть мгновение одно без пространств и времен,	о (о) Б (е) с (о) е (о) в (а) и (е) в (о)
Только крылья мелькнут сквозь задушенный сон,	о (о) М (а) е (у) о (а) У (а) о (о)
И, взлетая, дышанье на миг затак,	к (е) А (й) м (А) е (а) и (а) а (и)
Через горы-моря и о а а о ж	е (е) (о) н (о) А (и) о (А) а (о) и

Организованные с помощью трансформируемых вокалических групп отрезки текста, «птичьи строчки из гласных», в контексте стихотворения получают осмысление как свободная, исходящая из глубин души, протекающая поверх слов поэтическая речь, а помещенные в конце строфы вокалические «перевертн», вероятно, являются метаязыковой манифестацией ритмико-гармонического построения текста (ср. в другой строфе:

Через сини моря и о а а о ж — е е и (и о А) (и о А) (а о и)).

Рассмотренный тип звуковых построений в стихе подтверждает неоднократно высказывавшуюся мысль о том, что в стихотворном тексте «эвфония... становится важным вторичным фактором ритма», а «эвфонические модели... подчеркивают строку как единицу» [30, с. 27]. В самом общем плане ритмическая гармония гласных дает еще одно свидетельство реализации на разных уровнях текста (как в формальном, так и в семантическом аспекте), установленного Гумбольдтом «закона непрерывной последовательности», предусматривающего создание в тексте «совершенной непрерывности», где любая часть, «независимо от цели, для которой она требуется, ... должна уже как таковая вытекать из предыдущего» [40]. Вероятно, именно эффект «вытекания» одной части последовательности из другой, повторение как видоизменение отвечает эстетической потребности максимальной динамизации речи. Являясь одним из конструктивных компонентов стиха, эти отношения содействуют эстетическому «удержанию» цельности текста и выполняют ряд характерных для суперсегментных единиц функций: функции членения, связи и, наиболее явно, — функцию повышения степени слитности дискретных единиц синтагматики.

Две указанные разновидности в звуковой структуре стиха, условно обозначенные как 1) вокалическая интонация; 2) ритмическая гармония гласных (вокалический ритм), вероятно, составляют часть в сложной системе средств суперсегментной организации поэтического текста, которая охватывает как его фонетическое строе-

ние, так и линейные отношения на более высоких уровнях речевой структуры⁹. Взаимодействуя и актуализируясь попеременно, они создают стихотворный текст как синтагматическое единство.

Если понимать благозвучие не абстрактно, а как категорию речевой эстетики текста, формируемые особенностями его суперсегментной организации, то в качестве родового понятия для вокалической интонации и ритмической гармонии гласных удобно использовать термин эвфония. Понимаемая в этом смысле эвфоническая организация стиха резко отличается от группы явлений, связанных с «фонетико-поэтическим анализом слова» [42], — поэтической этимологии, паронимии, анаграммы и некот. др.; она противопоставит как средство «цементирования» стихового ряда, призванное «сливать» слово с другими словами, растворяя его в навязчиво-захватывающих вибрациях созвучий и ритма» [43], речевым, оперирующим со словом как автономной сущностью, устанавливающим своего рода деривационные отношения между близкозвучными словами в стихе ([1]; ср. к противопоставлению двух типов звуковой организации стиха [28; 44]) (естественно поэтому, что фонетической базой паронимии и смежных явлений служит консонантизм).

В заключение следует сделать еще одно замечание.

Средства синтагматической консолидации и делимитации речевых единиц (куда входит вокалическая интонация и динамическая гармония гласных) ни в какой мере не могут считаться «блуждающими по поверхности языка» [45]. На этом основании и учитывая органическую взаимосвязь сегментного и суперсегментного строения речи вообще, возможно, имеет смысл говорить не о суперсегментных, а об экстрасегментных средствах поэтической речи, выражающихся в особых формах сочетаемости и распределения сегментных единиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьев В. П. Поэтика слова. М., 1979.
2. Новиков Л. А. Семантика русского языка. М., 1982.
3. Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. М., 1985.
4. Томашевский Б. В. О стихе. Л., 1929.
5. Лосев А. Ф. Поток сознания и язык // Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982. С. 10.
6. Тьяннов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М., 1965.
7. Поспелов Н. С. Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина. М., 1960.
8. Златоустова Л. В. Роль фразовых акцентов в организации звучащего стиха // Русское стихосложение. М., 1985.
9. Черемисина Н. В. Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь. М., 1982.
10. Сафронова Е. Г. Интонационная композиция стиха // Проблемы структурной лингвистики. 1983. М., 1986.
11. Златоустова Л. В. Фонетические единицы русской речи. М., 1981.
12. Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 71.
13. Бернштейн С. И. Опыт анализа словесной инструментальности // Поэтика. Сб. 5. Л., 1929.
14. Зубкова Л. Г. Сегментная организация простого слова в языках различных типов: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1978.
15. Кацнельсон С. Д. Фонемы, синдемы и промежуточные образования // Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971. С. 137.
16. Clements G. N. The autosegmental treatment of vowel harmony // Phonologica. 1976. Innsbruck, 1976.

⁹ Одно из частных проявлений такой организации можно увидеть в контурном и «скобочном» характере порядка слов в стихе. В этом аспекте кажется существенным указание И. И. Ковтуновой на дислокацию как норму организации стихотворной строки [41].

17. Vergnaud J.-R. A formal theory of vowel harmony // Issues in vowel harmony. Amsterdam, 1980.
18. Виноградова В. В. Общие проблемы изучения языка художественной литературы в советскую эпоху // Славянская филология. Т. 2. М., 1958.
19. Гердер И. Г. Избр. соч., М.; Л., 1959. С. 195.
20. Жинкин Н. И. Механизм регулирования сегментарных и просодических компонентов языка и речи // Poetics = Poetika = Поэтика. Warszawa, 1961.
21. Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка. Л., 1982. С. 18—19.
22. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. М., 1984.
23. Журавлев А. П. Фонетическое значение. Л., 1974. С. 34—36.
24. Даль Е. Некоторые особенности звуковых повторов Бориса Пастернака. Göteborg, 1978.
25. Щерба Л. В. Опыты лингвистического толкования стихотворения. I. «Воспоминание» Пушкина // Щерба Л. В. Избр. работы по русскому языку. М., 1957.
26. Панов М. В. Русская фонетика. М., 1967. С. 272, 413.
27. Бодуэн де Куртене И. А. Об отношении русского письма к русскому языку // Бодуэн де Куртене И. А. Избр. работы по общему языкознанию. Т. 2. М., 1963. С. 212.
28. Векшин Г. В. Фонографическая структура русского стиха в аспекте эстетического выражения: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1987.
29. Пешковский А. М. Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы // Пешковский А. М. Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики. Л., 1930. С. 150.
30. Mikafovsky J. On poetic language. Lisse, 1976.
31. Abernathy R. A vowel fugue in Blok // IJSLP. V. 7. 1963.
32. Gauthier M. Les équations du langage poétique: Thèse... Lille, 1973.
33. Newton R. P. Vowel undersong: Study of vocalic timbre and chroneme patterning in German lyric poetry. The Hague — Paris, 1981.
34. Якобсон Р. О., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.
35. Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 181—182.
36. Слепокурова Н. А. Исследование восприятия стационарных синтетических гласных: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1972.
37. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. М., 1979. С. 40—44.
38. Седакова О. А., Котов В. А. К проблеме стихотворного языка: Высотная организация (мелодика) как конструктивный фактор стиха // Этнолингвистика текста: Семантика малых форм фольклора (предварительные материалы к симпозиуму). М., 1988.
39. Реформатский А. А. К вопросу о фонеморфологической делимитации слова // Морфологическая структура слова в языках различных типов. М., 1963. С. 68.
40. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 263.
41. Ковтунова И. И. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976. С. 197.
42. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 640.
43. Аверинцев С. С. Поэзия Вячеслава Иванова // ВЛ. 1975. № 8. С. 160.
44. Векшин Г. В. Проблема эстетической функции языка в связи с организацией низших уровней текста // Методология лингвистики и аспекты изучения языка. М., 1988.
45. Пешковский А. М. Интонация и грамматика // Пешковский А. М. Избр. тр. М., 1959. С. 191.

ЧРЕЛАШВИЛИ К. Т.

**К ТИПОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗОМОРФИЗМУ БАСКСКОГО
И ИБЕРИЙСКО-КАВКАЗСКИХ (ГРУЗИНСКОГО, БАЦБИЙСКОГО,
КУБАЧИНСКОГО) ЯЗЫКОВ**

Задачи изучения взаимоотношений баскского и иберийско-кавказских языков ставят целую совокупность вопросов методического характера. Исследователям, работающим в области баскско-кавказской проблематики, предстоит, несомненно, огромный труд по проникновению в историю этих языков и установлению характера их связей. Хотя в некотором наиболее широком смысле «генетическая» (сравнительно-историческая) лингвистика, т. е. лингвистика устанавливающая родственные отношения между группами языков и дающая реконструкции их исходных моделей, составляет в принципе единую дисциплину со структурно-типологической лингвистикой универсалий [1], независимыми считаются по крайней мере генетические и типологические исследования. Если главной опорой в изучении языков в плане сравнительно-исторического языкознания является их общий материал со сходной семантикой, то для сравнительной типологии основой служит семантическое единство языковой данности, реализованное в определенных структурных моделях.

Мы разделяем точку зрения тех языковедов, которые на современном уровне изученности баскско-кавказской проблемы находят более перспективным обращение к ее сравнительно-типологическому рассмотрению. Напомним вместе с тем справедливое замечание Р. Якобсона, согласно которому «типологическое сравнение оказывает благотворную помощь сравнительно-историческим операциям» [2].

Как известно, типологическое сравнение должно быть системным, что предполагает сопоставление не отдельных изолированных друг от друга языковых единиц, а тех или иных микро- или макросистем. Это едва ли не общепризнанное требование лингвистической типологии. С другой стороны, в лингвистической типологии принято различать два возможных уровня анализа — эмический и этический. Практика показывает большую целесообразность сопоставления языков именно на эмическом уровне как на более общем. На этом уровне и сравниваются нами анализируемые ниже микросистемы. Сопоставляются, разумеется, не периферические явления языковой структуры, а существенные и типологически значимые признаки, характерные для систем рассматриваемых языков.

Г р у з и н с к и й я з ы к. Наиболее характерными и существенными грамматическими признаками грузинского языка выступают полиперсонализм глагола и эргативная конструкция предложения. В грузинском переходном глаголе морфологически одновременно отражается как субъект, так и объект (говоря образно, грузинский глагол является предложением в миниатюре). Субъект и объект, как известно, являются семантическими категориями. Установление формальной реализации этих семанти-

ческих понятий в структуре глагола остается одной из актуальных проблем современной лингвистики. Для передачи элементов морфологической структуры полиперсонального глагола мы употребляем следующие символы: S (субъект), O (объект), R (глагольный корень). С помощью данных символов структурную модель грузинского полиперсонального глагола можно представить в виде ORS. Например:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1) <i>m-xatav-s</i> | «он (она, оно) рисует меня» |
| 2) <i>g-xatav-s</i> | «он (она, оно) рисует тебя» |
| 3) <i>θ-xatav-s</i> | «он (она, оно) рисует его» |
| 1) <i>m-čam-s</i> | «он (она, оно) кушает меня» |
| 2) <i>g-čam-s</i> | «он (она, оно) кушает тебя» |
| 3) <i>θ-čam-s</i> | «он (она, оно) кушает его, ее» |
| 1) <i>m-xrdi-s</i> | «он (она, оно) воспитывает меня» |
| 2) <i>g-xrdi-s</i> | «он (она, оно) воспитывает тебя» |
| 3) <i>θ-xrdi-s</i> | «он (она, оно) воспитывает его, ее» |

В приведенных глагольных словоформах префиксы везде соотносены с объектом, а суффиксы — с субъектом.

Бацбийский (тушинский) язык. Как известно, бацбийский язык выявляет лично-классный тип спряжения глагола. Это значит, что в морфологической структуре глагола здесь отражается как субъект, так и объект. Префиксом передается всегда прямое дополнение при переходном глаголе, а суффиксом — субъект. Для передачи субъекта и объекта применяются соответствующие морфемы категории грамматического класса и лица. Префикс, обозначающий прямое дополнение в морфологической структуре глагола, служит морфемой категории грамматического класса, представляющего собой действующую морфологическую категорию современного бацбийского языка. Категория лица — это новая морфологическая категория, формирующаяся буквально на наших глазах.

Таким образом, глаголы классного спряжения приобрели личные морфемы. Весьма существенным является то, что в связи с формированием категории лица в переходном глаголе морфологически отразился субъект, чего не было в постулируемой исходной системе классного спряжения данных глаголов. А этот факт, со своей стороны, вызвал более существенное структурное изменение в глаголе: исторически «монопersonальный» глагол превращается в «полиперсональный» (данное понятие требует определенных оговорок). Если в указанных глаголах классные показатели функционировали в препозиции, то новая грамматическая морфема — морфема категории лица — заняла место в постпозиции основ соответствующих глаголов [3].

Итак, в современном бацбийском языке в классных глаголах одновременно налицо две субъектно-объектные морфемы: одна в анлауте, а другая — в ауслауте. Обе они выражают синтаксическую связь глаголов с именами. Первая из них, как мы уже отметили, выражает прямой (ближайший) объект, а вторая — субъект. Ср.:

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1) <i>d-aqo-s</i> | «его ем я» | 1) <i>d-exko-s</i> | «его продаю я» |
| 2) <i>d-aʒo-h₃</i> | «его ешь ты» | 2) <i>d-exko-h₃</i> | «его продаешь ты» |
| 3) <i>d-aʒo-θ</i> | «его ест он, она» | 3) <i>d-exko-θ</i> | «его продает он, она» |

В приведенных примерах преф. *d-* передает ближайший объект, а суффиксы *-s*, *-h₃*, *-θ* — субъект (генетически эти морфемы восходят к соответствующим личным местоимениям). Таким образом, распределение морфем, выражающих субъект и объект, относительно позиции основы переходного глагола передает здесь также модель ORS.

Кубачинский язык. Для кубачинского, как и для бацбийского языка, характерно лично-классное спряжение. Конкретно оно выражается в том, что префиксом глагола является один из формантов грамматического класса, который при переходном глаголе передает ближайший объект, а при непереходном глаголе служит формантом субъекта. Данная морфологическая особенность оказывается общей для тех кавказских языков, где в настоящее время функционирует морфологическая категория грамматического класса. Посредством суффиксации глагол присоединяет личный показатель, выражающий субъект (в кубачинском языке, подобно бацбийскому, личные показатели генетически восходят к соответствующим местоимениям).

С точки зрения теоретического языкознания в кубачинском языке наблюдается одно весьма примечательное грамматическое явление. В одноличных глаголах префиксом (формантом грамматического класса) выражен субъект. В связи с возникновением категории лица одноличные глаголы приобретают суффиксы — личные показатели, выражающие также субъект. В результате такого развития получается, что субъект одноличных глаголов имеет два форманта — префикс и суффикс, т. е. генетически эти разные морфологические элементы выступают в одном грамматическом значении (то же самое наблюдается и в бацбийском языке).

В кубачинском переходном глаголе морфологически отражаются как объект, так и субъект. Первый из них выражается префиксом, а второй (т. е. субъект) — суффиксом. Генетически префикс, как это имеет место и в бацбийском языке, является классным показателем, выражающим в переходном глаголе ближайший объект. Суффикс же по своему происхождению является местоименным элементом и неизменно передает субъект. Однако это общее правило нарушает глагольная словформа третьего лица, где в роли показателя субъекта выступает не местоименный элемент, как это имеет место в первом и втором лицах, а соответствующий экспонент грамматического класса. С точки зрения структурной типологии это обстоятельство не имеет существенного значения, так как здесь типологическое сравнение происходит на эмическом уровне, а на данном уровне морфологическая модель глагола в плане выражения субъекта и объекта не изменяется. Для нас самым существенным и здесь оказывается морфологическая структура глагола полиперсонального типа, которая схематически повторяет аналогичную модель соответствующих глаголов грузинского и бацбийского языков (ORS). Ср.:

1) <i>dudil id v-itul-da</i>	«я его бью»
2) <i>udil id v-itul-de</i>	«ты его бьешь»
3) <i>iddil id v-itulsa-v</i>	«он его бьет»
1) <i>dudil yače b-iqul-da</i>	«я дело делаю»
2) <i>udil yače b-iqul-de</i>	«ты дело делаешь»
3) <i>iddil yače b-iqulsa-v</i>	«он дело делает»

Как видно из приведенной парадигмы, лично-классная форма кубачинского глагола дает в настоящем конкретном времени морфологическую модель ORS. В других временных формах личные показатели субъекта являются лишь различными фонетическими вариантами приведенных, так что морфологическая модель при этом не меняется [4].

Баскский язык. Морфологическая структура баскского глагола, подобно структуре грузинского глагола, является весьма сложной и многообразной. Это в сущности обусловлено полиперсональностью баскского глагола. В баскском, как и в рассмотренных выше языках, нас ин-

тересует распределение субъектных и объектных морфем в переходном глагоде и их моделирование на эмическом уровне.

Как известно, по характеру спряжения баскские глаголы делятся на две группы: 1) синтетического спряжения и 2) перифрастического или аналитического спряжения. Число глаголов синтетического спряжения крайне незначительно. Абсолютное большинство глаголов относятся к перифрастическому спряжению.

Примеры глаголов синтетического спряжения:

1) <i>nik d-agi-t ura</i>	«я делаю то»
2) <i>hik d-agi-k/-n ura</i>	«ты делаешь то»
3) <i>harrek d-agi-θ ura</i>	«он делает то»
1) <i>nik d-akus-t ura</i>	«я вижу его»
2) <i>hik d-akus-k/-n ura</i>	«ты видишь его»
3) <i>harrek d-akus-θ ura</i>	«он видит его»

В приведенных примерах преф. глаголов *d-* выражает ближайший объект (3 лица), а суффиксы же *-t*, *-k/-n*, *-θ* — соответствующие субъектные лица (1, 2, 3). Морфологическая структура этих глаголов на эмическом уровне моделируется записью ORS. Как видим, указанная модель является аналогичной соответствующим моделям рассмотренных выше языков.

Примеры глаголов перифрастического (аналитического) спряжения:

1) <i>n/k josten d-u-t ura</i>	«я шью то»
2) <i>hik josten d-u-k/-n ura</i>	«ты шьешь то»
3) <i>harrek josten d-u-θ</i>	«он шьет то»
1) <i>nik jaten d-u-t ura</i>	«я ем то»
2) <i>hik jaten d-u-k/-n ura</i>	«ты ешь то»
3) <i>harek jaten d-u-θ</i>	«он ест то»

Особенности данного типа спряжения глаголов состоят в том, что личные аффиксы присоединяют к себе вспомогательные глаголы. Распределение этих личных аффиксов такое же, как в морфологической структуре самостоятельных глаголов, т. е. в глаголах, относящихся к типу синтетического спряжения. Поэтому и глаголы типа перифрастического спряжения по распределению личных морфем субъекта и объекта обнаруживают ту же модель, которая наблюдается в глаголах синтетического спряжения. Считаю целесообразным обратить внимание на следующее интересное явление: по нашим наблюдениям, тип перифрастического спряжения баскского глагола проявляет удивительное типологическое сходство с системой спряжения соответствующих глаголов нахско-дагестанских языков. Этот типологический параллелизм ждет своего исследователя.

Таким образом, в данной статье сопоставляются существенные структурные характеристики четырех языков (грузинского, бацбийского, кубачинского и баскского) на морфологическом уровне. В качестве типологически показательных характеристик мы избрали распределение морфем универсальных семантических категорий субъекта и объекта в морфологической структуре переходных глаголов. При помощи соответствующих символов мы обозначили модель, в которой на эмическом уровне отражена морфологическая структура полиперсонального глагола в плане распределения субъекта и объекта. Такая модель весьма ярко продемонстрировала существенный типологический признак, общий для рассматриваемых языков. Выяснилось, что установленная нами типологическая модель по своему грамматическому содержанию является о д и н а к о в о й д л я

в всех четырех рассмотренных языков¹. Это наводит на мысль об историческом соотношении рассмотренных моделей.

Нельзя, однако, не учитывать того, что отмеченная здесь морфологическая специфика глагола сопоставленных языков есть следствие позднейшего развития первоначально более отличных друг от друга структур. Достаточно напомнить, что исторически грузинский глагол, как и вообще картвельский, должен был быть одноличным (единственный имеющийся в нем суффиксальный показатель субъекта явно позднего происхождения), в то время как бацбийский, равно как и кубачинский, глагол был в прошлом одноклассным (с префиксальным показателем класса субъекта или объекта). Поскольку история баскского глагола нам по существу неизвестна, то его приходится принимать таким, как он функционирует в настоящее время, т. е. с префиксальным и суффиксальным оформлением лиц субъекта и объекта (хотя, естественно, возникает вопрос, не был ли путь развития его морфологической структуры подобным пути, по которому развивался грузинский или бацбийский глагол; ср. [5]). Ясно, что рассмотренная в этой статье синхронная параллель пока мало что дает для осмысления исторических взаимоотношений сопоставленных языков. Более того, если бы мы избрали для сравнения несколько иной состав языков — например, чеченский, лезгинский и баскский, то и в синхронном состоянии их глагола мы не увидели бы заметного сходства: наличие типа логического изоморфизма даже в некотором существенном для их структуры отношении еще ничего не говорит об историческом взаимоотношении сопоставленных языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. С. IXXXI.
2. Якобсон Р. О. Вместо предисловия // Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I. Тбилиси, 1984. С. XIV.
3. Чрелашвили К. Т. Хронологические типы спряжения глаголов бацбийского языка и вопрос «полиперсонализма» в плане структурно-типологического сопоставления с грузинским полиперсональным глаголом // ЕИКЯ. 1984. Т. IX.
4. Магометов А. А. Кубачинский язык. Тбилиси, 1963. С. 274—277.
5. Браун Ян. Введение в баскологию. Тбилиси, 1984. С. 75 (на груз. яз.).

¹ Пользуемся случаем выразить благодарность Ю. В. Зыцарю, консультировавшему нас по баскскому языку.

КНЯЗЕВ Ю. П.

КОНСТРУКЦИЯ С РУССКИМИ ПРИЧАСТИЯМИ НА *-н*, *-т* В СЕМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДИКАТОВ

1. Актуальность проблемы. Согласно преобладающей точке зрения, конструкции с причастиями на *-н*, *-т* типа *Дверь закрыта*, *Цель была достигнута*, *Дом будет перестроен* всегда обозначают состояние или состояние как результат действия. Так, в новой академической грамматике это значение приписывается всем структурным схемам с причастиями на *-н*, *-т*, причем подчеркивается, что это значение присутствует «в каждом конкретном предложении» [1]. На этом основании некоторые исследователи делают вывод об отсутствии у этих конструкций значения совершенного вида (СВ), свойственного исходным глаголам *закрыть*, *достигнуть*, *перестроить*, и, следовательно, об отсутствии в русском языке форм пассива СВ [2—4]; по отношению к разговорной речи такой подход реализован Е. В. Красильниковой [5]. Чаще же все их употребления рассматриваются как разновидности перфектного значения СВ [6—9], которое и само нередко интерпретируется как обозначение состояния [10, 11]. Добавим к этому, что на понятии состояния базируются и многие смысловые определения пассива; ср.: «В современном русском языке существуют три способа для выражения страдательного значения, т. е. обозначения состояния как результата действия, испытываемого лицом или предметом со стороны других предметов» ([12]; см. также [13, 14]).

Эмпирически более адекватным, на наш взгляд, является представление о неоднородности конструкций с причастиями на *-н*, *-т* в плане статальности/акциональности: в одних случаях они, подобно исходным глаголам СВ, обозначают конкретное завершённое действие, а в других — статическую ситуацию, которая может быть (но не обязательно является) результатом этого действия. Например: (1) *В ту дверь, что вела в кухню, было вставлено матовое стекло* (В. Шефнер. Имя для птицы). Это предложение может обозначать и изменение внешнего вида двери, происшедшее в описываемый момент (акциональное значение), и то, как выглядела дверь в течение неопределенного периода времени, включающего и данный момент (статальное значение).

Строго говоря, называть данные единицы причастиями можно лишь с оговорками: акциональные конструкции за редким исключением представляют собой аналитические формы пассива (см. п. 6), а статальные конструкции не имеют присущего исходным глаголам значения СВ, из чего Л. Л. Буланин [15] делает неожиданный, но логически последовательный вывод об отсутствии в русском языке кратких причастий на *-н*, *-т*. Тем не менее практическая необходимость иметь общее наименование для рассматриваемых конструкций побуждает использовать в качестве такового название «причастия на *-н*, *-т*», отражающее их морфологическое строение (сочетание глагольной основы с суф. *-н*, *-т*).

Добавим также, что в статье не затрагиваются причастия на *-и*, *-т*, соотносительные с непереходными глаголами; см. о них [16, 17].

2. **Пассив, перфектное значение и статичность.** Статические предикаты обозначают ситуации, характеризующиеся длительностью в сочетании с неизменностью свойств участников ситуации на всем протяжении периода времени, пока она имеет место; они не требуют усилий или контроля со стороны субъекта и не предполагают естественного завершения. Динамичность же связана с наличием нетождественных фаз или вообще каких-то изменений в положении дел [18—20].

Очевидно, что такое понимание статичности не согласуется с интерпретацией пассива и прошедшего времени СВ в перфектном значении как форм, обозначающих состояния.

В синхронном плане связь между пассивом и статичностью состоит, видимо, лишь в том, что в обоих случаях референт подлежащего не контролирует описываемую ситуацию. Для статических предикатов это обусловлено характером выражаемого ими признака, а для пассивных конструкций — тем, что в них позицию подлежащего занимает не субъект, а объект действия. Этим объясняются неоднократно отмечавшиеся ограничения на употребление пассива и статических предикатов в императиве; ср.: **будь привезен*, **знай ответ* [21, 22], и несовместимость статических предикатов с указанием на цель, преднамеренность или выбор: **нарочно знает*, **понимает, чтобы...*, **нравится вместе оттого, чтобы...* [23, 24], чему в пассиве соответствует несовпадение субъекта целеполагания с референтом подлежащего; например: (2) *Видимо, парадные были закрыты специально, чтобы дворы могли надежно контролироваться рабочими* (Ю. Нагибин, Переулки моего детства).

Наиболее же специфические признаки статических ситуаций, непосредственно отражающие особенности их распределения во времени, пассиву как таковому не свойственны.

Больше сходства со статическими предикатами у прошедшего времени СВ в перфектном значении, когда в описываемый момент налицо лишь наблюдаемый результат совершившегося ранее действия; например: (3) *Отец встретил меня в Балтийском порту. Мы не виделись больше двух лет. Он обрадовался, сказал, что я очень вырос... Отец похудел, потемнел, в устах стала заметна седина* (В. Каверин, Освященные окна). Хотя внешность героев изменилась ранее описываемого момента, формы *вырос* и *похудел* (в отличие от *высокий* или *худой*) описывают их внешний вид не непосредственно, а в сравнении с тем, какими они были два года назад. Таким образом, обозначается именно изменение ситуации, но происшедшее не на глазах говорящего. Это отличает перфектное значение от статального значения конструкции с причастиями на *-и*, *-т* в следующем предложении: (4) *Взложу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; поста рел, расплел, обрюзг* (А. Чехов, Крыжовник). Чтобы увидеть, что человек расплел, надо знать, как он выглядел раньше, а чтобы сказать, что колени у него покрыты одеялом, никакого предварительного знания не требуется.

Подобные сопоставления позволяют сделать вывод о том, что семантические компоненты «действие» и «состояние» могут занимать разное положение в толковании языковых единиц: в первом приближении глаголы СВ в перфектном значении обозначают действие, происшедшее ранее основной линии повествования, результатом которого является сохраняющаяся статическая ситуация, а конструкции с причастиями на *-и*, *-т* — статическую ситуацию, которая может быть вызвана предшествующим действием.

3. Статальные и акциональные конструкции с причастиями на -и, -т.

Статические ситуации неоднородны. Одним из оснований для их классификации может служить различие по степени связанности статического признака и его носителя, в соответствии с чем они подразделяются на постоянные, устойчивые и временные [25, с. 5—6; 26]. Все они могут обозначаться конструкциями с причастиями на -и, -т: (5) *Изменения общего художественного стиля эпохи всегда связаны с большими идейными и общественными сдвигами* (Н. Каминская, История костюма) — постоянное соотношение; (6) *Кораблестроение было слабо развито в Европе того времени, суда были мало приспособлены к плаванию в открытом море* (А. Гуревич, Категории средневековой культуры) — устойчивое состояние, не имеющее точных границ и не допускающее точной локализации во времени; (7) *Стол был еще загрязнен посудой после недавней еды Наташки и Лены* (Ю. Трифонов, Обмен) — временное состояние, приуроченное к конкретному периоду времени.

Наиболее четко выделяются конструкции с причастиями на -и, -т, обозначающие временные и устойчивые состояния. Прежде всего они способны сочетаться с обстоятельствами длительности, что согласуется с неодномоментностью статических ситуаций. Например: (8) *Я уже трижды отведал всех яств и прислушивался: после самолета у меня все еще были заложены уши* (А. Битов, Уроки Армении); (9) *Всего 45 минут был включен телескоп, а подготовка к эксперименту потребовала восьми часов*. (Правда, 1981, 10 мая); (10) *Так, можно говорить о рыцарском идеале. Но и этот идеал долго был подчинен универсальному аскетическому типу* (А. Гуревич, Категории средневековой культуры); ср. также *был еще загрязнен* в (7).

Глаголы СВ с обстоятельствами длительности практически не сочетаются. Исключение составляют прежде всего глаголы ограничительного и длительно-ограничительного способов действия (ср. *просидеть весь день*), от которых причастия на -и, -т, как правило, не образуются [25, с. 151], что, по-видимому, связано с неопределенностью базовых глаголов несовершенного вида (НСВ). Не сочетаются с такими обстоятельствами и причастия на -и, -т, выступающие только в акциональном значении: **все еще (долго) осматрен, куплен, отвезен, начат, истреблен*. В конструкциях с отрицанием показателя длительности характеризуют период, в течение которого действие не реализуется, и ограничения на употребление совершенного вида снимаются: *все еще не читал — все еще не прочитал* [27, с. 224—229]. Это относится и к причастиям на -и, -т. В таких случаях признаком статальности служит грамматическая факультативность отрицания при его обязательности в акциональных конструкциях; например: (11) *Отношения между людьми еще не заслонены отношениями вещей, тозоров и иных материальных ценностей* (А. Гуревич, Категории средневековой культуры) — *еще заслонены* (статальное значение); (12) *... но до сих пор почему-то не был награжден Георгиевским крестом* (В. Катаев, Кладбище в Скулянах) — **до сих пор был награжден* (акциональное значение). Сходную роль играют и показатели недостаточной или малой степени, в контексте которых свободно употребляются показатели длительности. Например: (13) *Этот шельф до сих пор еще недостаточно исследован* (А. Кондратов, Следы — на шельфе). Как и в отрицательных конструкциях, признаком акциональности в этом случае является обязательность присутствия показателя степени; ср. невозможность **до сих пор еще исследован*.

Кроме того, эти разновидности стальных конструкций с причастиями на *-н*, *-т* сочетаются с обстоятельствами времени, которые в этом случае выделяют один из периодов существования статической ситуации безотносительно к ее начальной или конечной точке. Например: (14) *В момент нападения Мищенко был одет в шинель с полевыми майорскими погонами* (В. Богомолов, Момент истины); (15) *В средние века было распространено убеждение, что всякое изменение неизбежно ведет к упадку* (А. Гуревич, Категории средневековой культуры). По отношению к примерам типа (14), где обозначается состояние, вызванное предшествующим действием, можно говорить об отнесенности обстоятельства времени к периоду, последовавшему за действием.

В сочетании же с глаголами СВ и акциональными конструкциями с причастиями на *-н*, *-т* эти обстоятельства обозначают период времени, который либо полностью включает действие, либо непосредственно предшествует ему, если дополнительно выражается значение обусловленности. Например: (16)а. *Не следует забывать, что именно в средние века зародились европейские нации и сформировались современные государства, сложились языки, на которых мы до сих пор говорим* (А. Гуревич, Категории средневековой культуры) — б. *В те годы идеи его были встречены прохладно* (Д. Гранин, Эта странная жизнь); (17) а. *Когда мы вышли на набережную, Нева поразила меня своей небывалой огромностью* (В. Шефнер, Имя для птицы) — б. *Однако как только старший группы, капитан Алехин, доложил о прибытии, им было приказано немедленно направляться в район Шиловичей* (В. Богомолов, Момент истины).

Между стальными и акциональными конструкциями с причастиями на *-н*, *-т* существует еще одно важное различие.

Известно, что если прошедшее совершенное обозначает действие, результатом которого является статическая ситуация, то при отсутствии противоположных указаний в контексте предполагается, что она продолжает иметь место. Сохранение результата предполагает и акциональный претерит на *-н*, *-т* при том дополнительном условии, что актуальность результата не ограничена по своей природе определенным сроком (см. ниже п. 5). Например: (18) *Обширный полуостров, существовавший во времена античности, был отрезан в эпоху средневековья и превратился в остров Зюдитранд* (А. Ковдратов, Следы — на шельфе). Если бы далее не говорилось о гибели острова, из этого предложения следовало бы, что он продолжает существовать до сих пор.

Стальный претерит на *-н*, *-т* не дает оснований для такого рода выводов. Более того, если обозначается устойчивое состояние, которому не свойственно многократно прекращаться и возобновляться, присутствие обстоятельства момента может вызывать дополнительный семантический эффект аннулированности ситуации в более поздний период. Например: (19) *По мысли Шренка, когда-то в глубокой древности почти вся Азия была населена палеоазиатами* (А. Ковдратов, Следы — на шельфе). При акциональном осмыслении — когда-то населили и продолжают населять, а при стальном — когда-то населяли, но теперь уже нет.

В конструкциях с нулевым вспомогательным глаголом указание на момент времени в прошлом допускают только акциональные конструкции. В таких случаях обстоятельство времени определяет время осуществления действия, вызвавшего существующую и в настоящее время статическую ситуацию. Например: (20) *Вот видишь трубу? А рядом с ней длинное здание. Это ТЭЦ. Построена несколько лет назад* (А. Битов, Уроки Армении). Стальные конструкции сочетаются с такими обстоя-

тельствами лишь при выражении повторяющегося признака, если статическая ситуация остается в плане расширенного настоящего. Например: (21) *Зимой Сморгонь занесена глубокими снегами, летом — сплошь лиловая* (В. Катаев, Кладбище в Скуляях).

Конструкции с причастиями на *-и, -т*, обозначающие постоянные свойства и соотношения, подобно глаголам СВ, не сочетаются с обстоятельствами длительности. Их выделение может основываться на совместимости с наречиями типа *иногда, всегда, как правило* в кванторном значении при выражении степеней характеристики признака для данного класса предметов. Например: (22) *С чувством глубокого удивления привыкал я к своему существованию — недаром же на детских фотографиях у меня всегда широко открыты глаза и подняты брови* (В. Каверин, Освещенные окна) — на всех фотографиях; (23) *Д. Фурманов вел дневник всю свою сознательную жизнь — с 1910 по 1928 год, записи его, как правило, озаглавлены* (М. Чудакова, Беседы об архивах) — многие записи.

Поэтому нельзя согласиться с высказывавшимся мнением, что с этими обстоятельствами сочетаются только полные причастия на *-и, -т* [28]. В то же время нельзя считать это общим свойством причастий на *-и, -т* глаголов СВ [29], поскольку такая сочетаемость возможна лишь при обозначении постоянных и устойчивых статических ситуаций. Глаголы СВ с наречиями типа *иногда* и в кванторном значении не сочетаются; ср. невозможность **всегда открыл глаза, *как правило, озаглавил*.

4. Результатив и статив. Статические ситуации подразделяются также на «первичные» (непроизводные, органические) и «вторичные» (производные), являющиеся результатом предшествующего завершенного действия [30—33]. Временные состояния, обозначаемые конструкциями с причастиями на *-и, -т*, являются в то же время и производными, ср. примеры (7), (9), а постоянные и устойчивые могут быть и непроизводными, ср. примеры (5), (6), (10), и производными, например: (24) *Я спросил у бабки, из чего сделаны гнезда. — Из грязи, — сказала бабка... Гнездо действительно было сделано из комочков грязи, скрепленных соломинками и птичьим пометом* (В. Белов, Плотничье рассказы).

Большинство причастий на *-и, -т*, способных выступать в статальном значении, обозначают только производные состояния, что проявляется в соответствующих ограничениях на употребление. Так, хотя *висит* и *повешен* могут обозначать одну и ту же статическую ситуацию, о картине, висящей на стене, можно сказать, что она повешена, а о яблоках на дереве — нельзя (если, конечно, речь не идет о новогодней елке). Таким образом, причастие *повешен* и в статальном значении указывает на предшествующее действие, которое, вслед за Ю. А. Пупыниным, можно назвать «ретроспективным фактом» [7, с. 39]. Причастие же *позружен* может обозначать и непроизводные статические ситуации, не имеющие определенной начальной точки; например: (25) *Антарктиду окружает широкий и очень глубокий шельф — даже у ледового барьера он может быть позружен на несколько сотен метров* (А. Кондратов, Следы — на шельфе). Поэтому при описании функционирования конструкций с причастиями на *-и, -т* необходимо выделять и разграничивать не только конструкции, способные и неспособные выступать в статальном значении, но и в рамках последних — способные и неспособные обозначать непроизводные статические ситуации.

В дальнейшем для дифференциации этих двух разновидностей статального значения будут использоваться названия «результатив» и «статив»: результативами будут называться конструкции с причастиями на *-и, -т*,

обозначающие производные (результативные) статические ситуации, а стативами — непроизводные (ср. [25, с. 8]).

В русском языке их важно разграничивать еще и потому, что способность этих конструкций выполнять функцию результатива характеризуется регулярностью: условием этого является наличие у действия, выражаемого исходным глаголом, устойчивого, наблюдаемого и притом специфического именно для данного действия результата, что позволяет определить его непосредственно, безотносительно к предшествующей ситуации. Например: (26) «ЗИС» И 1-72-15 *ваша машина? ... У нее еще сзади **выломан** кусок борта* (В. Богомолов, Момент истины); (27) *Она держалась за перила левой рукой, а правой. На перила **были набиты** крепкие деревянные накладки* (М. Рощин, Воспоминание). Неоднозначность этого типа присуща и конструкциям с причастиями на -и, -т глаголов созидания, обозначающих такие действия, в ходе которых объект не модифицируется, а создается (ср.: *написать книгу, построить дом, поставить спектакль*), но они выражают статальное значение лишь в сочетании с показателями, характеризующими устойчивые и наблюдаемые признаки предмета: внешний вид, качество, материал и т. п. Например: (28) *Таким образом в одно лето мне удалось прослушать двадцать четыре оперы — больше, чем за всю остальную жизнь. Многие из них **были поставлены** наспех. Например, в «Гугенотах» на Рауля упала стена* (В. Каверин, Освященные окна). Эти признаки для индивидуального объекта являются постоянными, поэтому статальность этих конструкций проявляется преимущественно в их способности сочетаться с показателями повторяемости в кванторном значении: *почти всегда (как правило) были поставлены наспех*.

Если же исходный глагол обозначает действие, которое не вызывает появления какой-то определенной статической ситуации (ср.: *осмотреть, прочесть*), или она имеет неспецифический характер, заключающийся в наличии или отсутствии предмета (ср.: *принести, взять, истратить*), то соответствующим конструкциям с причастиями на -и, -т функция результатива не свойственна. Например: (29) *Хотя все кругом **было осмотрено**, я принялся снова обшаривать поляну* (В. Богомолов, Момент истины); (30) *Шапка **была принесена** из-за кулис магазина, завернутая в газету, чтобы не раздражать очередь* (Ю. Трифонов, Долгое прощание). Впрочем, этот запрет не является абсолютным. Так, в статальном значении свободно употребляются конструкции с причастиями на -и, -т глаголов со значением разрешения или запрещения, хотя результат таких действий не является специфическим: выполнение или невыполнение чего-либо само по себе не предполагает предшествующего разрешения или запрещения. Например: (31) *Не знаю, как в других городах, а в Старой Руссе **всю насхальную небелю** доступ на колокольни **был открыт** для всех желающих* (В. Шефнер, Имя для птицы).

В основном же зависимость от лексического значения исходного глагола нарушается у конструкций с причастиями на -и, -т, обозначающих непроизводные статические ситуации, т. е. стативов. Они не имеют четких лексических границ и могут обозначать как непосредственно наблюдаемые ситуации, ср. *погружен* в примере (25), так и такие, о которых можно судить лишь на основании каких-то косвенных данных. Например: (32) *Дует небольшой ветер, и полет из-за этого под сомнением. Хозяин уговаривает лететь. Ему что! Он собрал деньги и **заинтересован** больше всего в выручке* (Н. Кузьмин, Круг царя Соломона) (см. подробнее [34]).

Что же касается акционального значения, что его может выражать

практически любая конструкция с причастием на *-и*, *-т* за исключением единичных причастий типа *убежден* или *обязан*; ср., однако, возможность таких употреблений, как (33) *Он (указ. — К. Ю.) предусматривает, что лица, в отношении которых может быть подозрение, что они являются носителями вируса, могут быть обязаны или даже принуждены пройти соответствующее обследование* (Лит. газ., 1987, 2 сент.).

5. **Перфект на *-и*, *-т***. Еще одной особенностью конструкций с причастиями на *-и*, *-т* является специфическая подсистема времен, в которой одной форме прошедшего совершенного *окрыжил* соответствуют две конструкции с причастием на *-и*, *-т*: *окрыжен* и *был окрыжен*, обе из которых могут быть и стательными и акциональными; ср. (34а) *Город все еще окрыжен*, б. *Город был долго окрыжен* — стательное значение; в. *Город только что окрыжен*, г. *Город был быстро окрыжен* — акциональное значение.

Конструкции с нулевым вспомогательным глаголом принято называть перфектом [35; 18, с. 84]. Разделяя точку зрения о необходимости разграничивать результатив и перфект как обобщенгистические понятия [15, с. 12—13], мы будем использовать название «перфект на *-и*, *-т*» только по отношению к акциональным конструкциям. В целом можно согласиться, что эти формы выражают «законченность действия в прошлом при наличии результата в настоящее время» [36], однако такая формулировка носит слишком общий характер.

Наличный результат предшествовавшего действия, для обозначения которого используются формы прошедшего совершенного в перфектном значении, целиком определяется лексическим значением глагола; ср.: *Он похудел, вырос, простыл* и т. п. Перфект на *-и*, *-т* также предполагает его сохранение; например: (35) *У него взяты красноармейская книжка, проездные билеты и деньги* (В. Богомолов, Момент истины) — и теперь отсутствуют. Однако во многих случаях при употреблении перфекта на *-и*, *-т* на первый план выступают косвенные, индивидуально-ситуативные эффекты действия. В этом отношении показательны следующие пояснения А. М. Пешковского, написанные в 1928 г., и особенно их теперешний явный анахронизм: «Сейчас никто не скажет *Цезарь убит* (кроме, конечно, историка и беллетриста, переносящегося и переносящего своего читателя в ту эпоху), а скажут *Цезарь был убит*. Напротив, про Воровского и Войкова в день их смерти все говорили, конечно, *Воровский убит, Войков убит*, и в настоящее время можно еще так говорить при обзоре нашего международного положения... И это потому, что смерть Цезаря уже никак не может задеть нас своими непосредственными результатами, а смерть Воровского и Войкова вполне ощутительно задевает» [37].

Важным проявлением собственно перфектной специфики рассматриваемых форм является их «ненарративность», неспособность обозначать сменяющие друг друга события в их хронологической последовательности. В повествовательной функции употребляется только акциональный претерит; например: (36) *Мать поехала в Петербург, была принята графом Игнатьевым и вернулась с торжеством — министр обещал поддержку* (В. Каверин, Освещенные окна). Сочетание же нескольких форм перфекта выражает обычно совокупность одновременных действий; например: (37) *3 августа в районе Жирмуки... бандерупной власовцев обстреляна автомашина — убито 5 красноармейцев, тяжело ранены полковник и майор* (В. Богомолов, Момент истины).

Обозначение последовательности действий иногда усматривают в сочетаниях типа *войска окрыжены и уничтожены, преступник арестован*

и казнь [38]. Они предполагают, однако, что последующее действие не отменяет прямого результата предыдущего: окружена — и будучи окруженной — уничтожена, арестован — и находясь под арестом — казнен. Если же это условие не выполняется, может быть употреблен только акциональный претерит на *-и, -т*, например: (38) *В девятнадцатом году бедняе искали меня и, пожалуй, вздернули бы, хотя я не был ни большевиком, ни комсомольцем. Вместо меня был арестован и отпущен гимназист К.* (В. Каверин, Освещенные окна) — **вместо меня арестован и отпущен.*

В силу ненарративности перфект на *-и, -т* представляет действие как изолированное, выделенное из реальной последовательности событий. Такого рода выделенность сопровождается различными дополнительными семантическими эффектами, в частности, оценкой события как важного, неожиданного, заслуживающего внимания. Например: (39) *Замечено, что в странах, где пьют много чая, на зубную боль жалуются меньше* (Наука и жизнь, 1984, № 12); в следующем примере этим, видимо, обусловлен переход от претерита к перфекту при обозначении одного и того же события: (40) *Отчетливо, металлическим голосом сказал он, дрожа от ненависти: «Второго июля — в три часа ночи — Курикин — во дворе твоего дома — был убит ножом в спину!»... «Как — убит?» — неслышно спросила она* (С. Родионов, Допрос).

Прямой результат таких действий, как «завоевать медаль», «убить», «обнаружить», «доказать», носит необратимый характер. Поэтому для конструкций с причастиями на *-и, -т* от таких глаголов отличие перфекта от акционального претерита на *-и, -т* связано в основном с субъективным выделением события, причем непосредственный его результат в обоих случаях сохраняется.

Вместе с тем существует довольно многочисленная разновидность действий, сама природа которых предполагает ограниченность времени существования результата. Таковы действия «поручить», «приказать», «пригласить», «послать», «задумать», «купить билет» и т. п., которые выполняются с целью осуществления впоследствии другого действия — выполнения приказа или поручения, исполнения задуманного, использования билета, — причем обычно в какой-то определенный срок. Результат таких действий сохраняется, пока их конечная цель не достигнута. В этом случае в неповторятельном контексте они выражаются перфектом. Например: (41) *«К-командованием п-поставлена перед нами весьма ответственная задача... — Он прилагал великие усилия, чтобы не закататься. — Вот т-точно такую, — он поднял и показал лопатку, — нам приказано отыскать в этой роже* (В. Богомолов, Момент истины); (42) *Вы приглашены, чтобы мы действительно выглядели комендантским патрулем* (там же).

Поскольку прошедшее совершенное в аналогичных контекстных условиях также имплицировало бы сохранение результата, оно может заменить здесь перфект на *-и, -т*: *приказано обыскать — приказали обыскать, приглашены — пригласили*. Если же цель такого действия достигнута или уже не может быть достигнута, то оно может быть обозначено только претеритом на *-и, -т*. Например: (43) *Мы возвращались с Карлушей от Лихаревых, где встречали Новый год. ... Я был приглашен на вечер как Олечкин наставник* (Н. Кузьмин, Круг царя Соломона); (44) *Конечно, обидно: маловато успел. Со стороны может показаться, что вовсе не так. Я и то, и это, и пятое, десятое. Но уж я-то знаю, что чебуца. Задумано было иначе* (Ю. Трифонов, Предварительные итоги). В этом случае претерит на *-и, -т* могут соответствовать формы прошедшего времени несовершен-

ного вида (НСВ) в общефактическом значении, нейтральном к наличию или отсутствию результата: *приглашали на вечер, задумывал иначе* [39].

В принципе перфект на **-и**, **-т** может обозначать события любой давности, особенно в сочетании с обстоятельством момента, как в примере (20). Тем не менее он явно тяготеет к обозначению недавних или только что происшедших событий. Например: (45) *В Италии создано специальное подразделение карabinеров, занимающихся розыском украденных ценностей* (Известия, 1985, 15 июня); (46) *«Ну так, стройте людей». — «Построены, товарищ старшина»* (Б. Васильев, А зори здесь тихие). Претерит *было создано* в (45) возможен только в рамках более широкого описания, а сказать *были построены* в ситуации, описываемой в (46), вообще невозможно.

Контактность с моментом речи может состоять и в том, что действия так до сих пор и не осуществились или, напротив, все еще продолжают осуществляться. Например: (47) — *Пусть взносы платит, — вспомнил Геворкян. — У него комсомольские взносы за три месяца не заплачены* (А. Афанасьев, В городе, в 70-х годах); (48) *Гидрофикация лифтов в нашей стране имеет исключительно важное социальное значение. Подсчитайте, сколько построено домов в 3, 4 и 5 этажей* (Наука и жизнь, 1984, № 12). Употребление претерита на **-и**, **-т** в этих предложениях исключало бы момент речи из сферы акциальности признака: *не были заплачены* в (47) значило бы, что теперь взносы уже заплачены, а *сколько было построено* в (48) предполагало бы, что таких домов больше уже не строят.

Нужно упомянуть и об экспрессивных употреблениях конструкций с нулевым вспомогательным глаголом, в которых обозначаемая ситуация, явно имеющая динамический характер, соотносится прежде всего не с моментом речи, а с другими действиями. Они могут выступать в ряду форм настоящего времени НСВ, обозначающих смену последовательных действий; например: (49) *И вот этот самый Александр II уже в своей столице Санкт-Петербурге едет из дворца на развод караула. На обратном пути ... под его карету брошена бомба. Взрыв. Убито и ранено несколько казаков императорского конвоя и кое-кто из прохожих. Но судьба все еще хранит императора. ... Но в этот самый момент под его ноги брошена вторая бомба. Он падает* (В. Катаев, Кладбище в Скулянах). В контексте повествовательного настоящего исторического могут выступать и стальные конструкции с причастиями на **-и**, **-т**, но в этом случае описываемой последовательности действий синхронна только статическая ситуация и специфика стального значения полностью сохраняется: (50) *По всему дому развешено детское белье. Он скатывает его в ком и вышвыривает из своего кабинета* (В. Каверин, Освещенные окна).

Другую разновидность составляют конструкции с четким противопоставлением двух частей, связанных причинно-следственными отношениями. Порядок следования частей может отражать реальную последовательность событий, однако от обычного повествования эти конструкции отличаются закрытостью структуры, интонацией и наличием сопутствующих значений категоричности, неожиданности, внезапности и т. п. Например: (51) *Он вернулся сюда — и вот а рестован как бродяга* (С. Родионов, Допрос); (52) *В самом деле: что может быть проще? Взял щетку, выдвинул пасту из тюбика ... Минута, другая, и привычная процедура утреннего и вечернего туалета закончена* (Наука и жизнь, 1984, № 12).

Такие употребления перфекта на **-и**, **-т**, возможно, представляют собой начальную стадию приобретения им повествовательной функции.

6. Акциональные конструкции и пассив. Акциональные конструкции

с причастиями на *-н*, *-т* в русском языке, как правило, играют роль пассива СВ, хотя, по-видимому, полного совпадения здесь нет. Это относится прежде всего к конструкциям с причастиями на *-н*, *-т* эмотивных глаголов, свободно сочетающимся с деепричастием; например: (53) *Мать, навестив меня в следующий раз, была огорчена, что я испортил такую интересную книгу* (В. Шефнер, Имя для птицы). Как известно, литературная норма требует соотносительности деепричастия с подлежащим в сочетании с совпадением субъектов действий, выраженных главным глаголом и деепричастием, что в пассивной конструкции приводило бы к противоречию, поскольку в ней позицию подлежащего занимает не субъект, а объект действия. В последнее время к конструкциям, в которых деепричастие соотносено с подлежащим пассивного оборота, подходят более терпимо [40, 41], однако несомненно, что другие причастия звучат в таком контексте гораздо менее естественно; например (54)? *Улав со стола, стакан был разбит*. Другой пример — акциональные конструкции с *вынужден* типа (55) *Чтобы обнаружить себя, Таманцев вынужден был простоять не шевелясь свыше десяти часов* (В. Богомолов, Момент истины), где референт подлежащего является субъектом целеустановки, что в пассиве невозможно (см. п. 2).

Если отвлечься от такого рода «пограничных» случаев и от сравнительно немногочисленных стативов (в принятом здесь понимании), можно говорить о совмещении в русских конструкциях с причастиями на *-н*, *-т* пассива и результата. Это свойственно конструкциям с этими причастиями в большинстве славянских языков (а также в английском, французском, литовском и других языках [25, с. 32]). Поскольку первоначальной функцией этих конструкций в славянских языках было, по-видимому, выражение стательного-результативного значения [42], теperшения их неоднозначность в плане стательности/акциональности является следствием известной тенденции к акционализации перфектных в широком смысле слова форм. Примечательно, что в относительно молодом словацком литературном языке акциональные конструкции с причастиями на *-н*, *-т* и сейчас малоупотребительны. В переводах с русского языка акциональным конструкциям обычно соответствуют глаголы СВ, тогда как стательные конструкции с причастиями на *-н*, *-т* переводятся также причастиями на *-н*, *-т* или другими статическими предикатами [43]. В русском языке отражением более ранней стадии является сохранение ограничений на образовании причастий на *-н*, *-т* от глаголов СВ с базовыми неопредельными глаголами и отсутствие процессного значения у причастий на *-н*, *-т* глаголов НСВ типа *был читан*.

Вместе с тем в некоторых славянских языках акциональные и стательные конструкции с данными причастиями формально разграничиваются.

В литературных лужицких и болгарском языках сочетания причастий на *-н*, *-т* с большинством форм глагола «быть», как и в русском, совмещают эти два значения, но среди форм прошедшего времени есть и специализированные на выражении акционального значения. В лужицких языках это конструкции с особыми «аористическими» формами *by*, *vich* и др., а в болгарском — с формами *биде*, *бидох* и др.: *биде разпокъсана* «была разделена» имеет только акциональное значение, а *бе разпокъсана* — и акциональное и стательное [44; 27, с. 303—305]. Эти акциональные конструкции носят книжный характер, а болгарские конструкции с *биде* практически вытеснены неоднозначными конструкциями.

В польском и разговорных лужицких языках для выражения акцио-

нального значения используются конструкции с глаголом «стать»: польск. *zostać*, в.-луж. разг. *wordować*. Рост их употребительности привел к преобразованию противоположенных им «старых» неоднозначных конструкций с причастиями на *-н*, *-т* глаголов СВ и вспомогательным глаголом «быть» в почти однозначно стальные (см. подробнее [43]). Считается, что это произошло под влиянием немецкого языка, в котором противопоставляются два ряда форм со страдательными причастиями: акциональные с глаголом *werden* «стать» и стальные с глаголом *sein* «быть». Сходная ситуация наблюдается также в голландском и северногерманских языках [45].

Широкая распространенность совмещения результата и пассива и в то же время его необязательность служит дополнительным аргументом в пользу дифференциации стального и акционального значений в конструкциях с причастиями на *-н*, *-т*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Русская грамматика. М., 1980. Т. 2. С. 298.
2. Лешка О. К вопросу о категории залога в современном русском литературном языке // *Jazykovedný zborník*. Bratislava, 1968.
3. Babby L. H. Participles in Russian: Attribution, predication and voice // *International review of Slavic linguistics*. 1978. V. 3. № 1—2.
4. Petterson Th. On voice in the Russian verb // *The Slavic verb*. Copenhagen, 1981.
5. Краси́льникова Е. В. Образования на *-н*, *-т* // *Русская разговорная речь*. М., 1973.
6. Коновалова Л. И. К вопросу о стальном пассиве. Формы акционального и стального пассива в трехчленных конструкциях // *Уч. зап. Казанского гос. пед. ин-та*. 1978. Вып. 185.
7. Пурьякин Ю. А. Функционирование форм несовершенного и совершенного видов в пассивных конструкциях // *Функциональный анализ грамматических единиц*. Л., 1980.
8. Боролев А. А. Процесс адъективации страдательных причастий прошедшего времени в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1984. С. 12.
9. Балаж Г. Двухкомпонентные конструкции с формами страдательных причастий в современном русском языке // *Slavica Slovaca*. 1985. С. 1. С. 154.
10. Рассудова О. П. Употребление видов глагола в русском языке. М., 1968. С. 24.
11. Прокопович Е. И. Глагол в предложении. М., 1982. С. 53.
12. Голанов И. Г. Морфология современного русского языка. М., 1962. С. 161.
13. Langacker R. W., Munro P. Passives and their meaning // *Language*. V. 51. № 4.
14. Бидэм Кр. Видовое значение конструкции «быть + страдательное причастие» // *ВЯ*. 1988. № 6.
15. Буланин Л. Л. К соотношению пассива и статива в русском языке // *Проблемы теории грамматического залога*. Л., 1978.
16. Князева Ю. П. Причастия на *-н*, *-т* от непереходных глаголов (в русском и других славянских языках) // *Лингвистические исследования*. 1985. Грамматические категории в разносистемных языках. Л., 1985.
17. Князева Ю. П. Акциональность и стальность // *Specimina philologiae Slavicae*. Bd. 81. München. 1989. С. 67—79. 193—203.
18. Comrie B. *Aspect*. Cambridge, 1976.
19. Семантические типы предикатов / Отв. ред. Селверстова О. Н. М., 1982.
20. Апресян Ю. Д. Интегральное описание языка и толковый словарь. // *ВЯ*. 1986. № 2.
21. Ленгерен Л. Употребление краткой формы страдательного причастия прошедшего времени в современном русском языке // *Studia Slavica Upsaliensia*. 1970. 8. С. 24.
22. Holisky D. A. Stative verbs in Georgian and elsewhere // *International review of Slavic linguistics*. 1978. V. 3. № 1/2. P. 153—154.
23. Miller J. H. Stative verbs in Russian // *Foundations of language*. 1970. V. 10. № 4.
24. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974. С. 343.
25. Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект) / Отв. ред. Недялков В. П. Л., 1983.
26. Падучева Е. В. Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985. С. 221—225.

27. *Маслов Ю. С.* Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление) // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.
28. *Грекова О. К.* Виды значения повторяемости и средства их выражения в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1985. С. 13.
29. *Луцко Н. А.* К характеристике некоторых личных и причастных форм как членов видовой парадигмы глагола // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1978. Вып. 437. С. 107—108.
30. *Недялков В. П., Отаина Г. А., Холодович Л. А.* Диатезы и залог в ивнхском языке // Типология пассивных конструкций. Л., 1974.
31. *Чейф У. Л.* Значение и структура языка. М., 1975. С. 144—146.
32. *Маслов Ю. С.* К основаниям сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978. С. 17—18.
33. *Бондарко А. В.* Функциональная грамматика. Л., 1984. С. 66—70.
34. *Князев Ю. П.* Значение «непроизводного» состояния у причастий на *-н, -т* // Лингвистические исследования. 1984. Грамматика и семантика предложения. М., 1984.
35. *Шалматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941. С. 489.
36. *Кузнецов П. С.* К вопросу о сказуемости употреблении страдательных причастий в русском литературном языке XVIII и начала XIX в. // Тр. Ин-та русского языка. Т. 2. М., 1950. С. 105.
37. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956. С. 264.
38. *Май Ван Тинь.* Отпричастные образования на *-н, -т* в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1985. С. 4.
39. *Князев Ю. П.* Заметки о перфекте пассива в русском языке // Лингвистические исследования. 1981. Грамматическая и лексическая семантика. М., 1981.
40. *Рябова А. И.* Особенности употребления деепричастного оборота в предложениях пассивной перспективы с причастным сказуемым // Вестник МГУ. 1981. № 2.
41. *Козинский И. Ш.* О категории «подлежащее» в русском языке // Предварительные публикации Ин-та русского языка АН СССР. Вып. 156. М., 1983. С. 16—19.
42. *Havránek V.* Genera verbí v slovanských jazycích. II. Praha, 1937. S. 94—97.
43. *Князев Ю. П.* «Пассив действия» и «пассив состояния» (объектный результатив) в русском и других славянских языках // Лингвистические исследования. 1982. Структура и значение предложения. М., 1982.
44. *Ермакова М. П.* Очерк грамматики верхнелужицкого литературного языка. Морфология. М., 1978. С. 221—222.
45. *Siewierska A.* The passive: a comparative linguistic analysis. L., 1984.

ГУРЕВИЧ В. В.

МОДАЛЬНОСТЬ, ИСТИННОСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, РЕФЕРЕНЦИЯ

В статье представлена попытка интерпретировать явление фактивности—нефактивности предикатных выражений с точки зрения модальных характеристик частей сложного (многопредикатного) высказывания и рассмотреть некоторые особенности высказывания, обусловленные этими характеристиками.

1. Модальные статусы предикатов. В известной работе Кипарских [1] к фактивным отнесены образующие пресуппозицию придаточные части в предложениях типа *Я сожалею о том, что Петр уехал*: истинность утверждения *Петр уехал* сохраняется при введении отрицания в главную часть. Нефактивностью характеризуются придаточные в предложениях типа *Возможно, что Петр уехал*, не содержащие утверждения *Петр уехал*. Утвердительность есть модальная характеристика предикатного выражения; следовательно, рассматривая подобные примеры, мы исследуем модальные соотношения в сложном высказывании.

Представляется, что нефактивность возникает в тех предложениях, главная часть которых выражает некоторое модальное отношение к тому, что названо в придаточном (уверенность, сомнение, необходимость, желание и т. п.), вследствие чего придаточное представляет уже немодальную (диктальную) часть высказывания: в нем лишь названо событие, отношение к которому задано в главной части¹.

Достаточно очевидно, что в предложениях типа *Хочу, чтобы Петр уехал* форма наклонения в придаточном семантически «пуста»: событие «отъезд Петра» не представлено здесь ни как реальное, ни как нереальное, ни как возможное, предполагаемое и т. п. (в отличие от сослагательного в условной конструкции). Подчеркнем, однако, что семантически пуста и форма изъявительного наклонения в предложениях типа *Возможно (несомненно, не может быть), что Петр уехал*, поскольку в самом придаточном не утверждается (и не отрицается), что Петр уехал². С этим связана и возможная в некоторых случаях замена наклонений: ср.: *Маловероятно, что (чтобы) Петр уже уехал*.

Не имеет отдельной, собственной модальности и придаточное в предложениях типа *Иван сказал, что Петр уехал*, поскольку главная часть здесь также задает модальность для придаточного: *сказал = высказал утверждение = выразил уверенность в том, что...* Аналогичным образом в предложении (а) *В группе нет студентов, которые бы имели двойки* отрицание непосредственно охватывает лишь предикат в главной части, придаточное же представляет диктальную часть сообщения. Следует сно-

¹ Е. А. Гулыга [2] называет такие предложения мономодальными, Е. В. Падучева [3] говорит о «снятой утвердительности» придаточного в этих предложениях.

² Соответственно, в предложении с отрицанием *Возможно, что Петр не уехал* придаточное не содержит отрицательной модальности, так как в нем не утверждается, что Петр не уехал.

ва обратить внимание на несущественность различий в форме наклонения в подобных случаях: в предложении с изъявительным наклонением (б) *В группе есть студенты, которые имеют двойки* (при логическом ударении на глаголе *быть*) придаточное также не имеет собственной модальности. Если предположить, что в (б) каждая часть содержит отдельную утвердительную модальность, то смысл его будет таков: «Утверждается, что в группе есть студенты»; «Утверждается, что они (т. е. все студенты группы) имеют двойки». Между тем в (б) утверждается не наличие в группе каких-либо студентов, а наличие таких студентов, которые имеют двойки. Придаточное здесь семантически неотделимо от главной части: субъект глагола *быть* выражен не одним подлежащим *студенты*, а всей конструкцией *студенты, которые...* Именно с этим и связана невозможность двух отдельных утверждений; ср. иное в предложении с присоединительными отношениями: *Я встретил прохожего, который и указал мне дорогу*, где содержится два самостоятельных утверждения.

Рассмотрим теперь особенности предикатов, при которых подчиненная им часть предложения всегда фактивна. В работе Кипарекых к ним отнесены слова, обозначающие чувства (*сожалеть, возмущаться, беспокоиться*), эмоциональную оценку события (*забавно, трагично, странно*), акты сознания (*сознавать, забывать, принимать во внимание, игнорировать, иметь в виду*) и т. п. Нетрудно видеть, что все такие предикаты включают компонент «знание». Так, чувство всегда возникает не просто в результате некоторого события, а в результате знания о событии, являющемся для субъекта желательным или нежелательным [4]: сожаление есть чувство, вызванное знанием о том, что произошло нечто нежелательное (в отличие от радости и т. п.). Компонент «знание», в свою очередь, обуславливает фактивность придаточной части, поскольку он обозначает «достоверные сведения», т. е. представляет следующее далее сообщение о событии как истинное (с точки зрения говорящего) [5].

В отличие от этого, придаточное при глаголах ощущения, восприятия может быть как фактивным (*Я слышал, что он смеется*, где придаточное пресуппозитивно), так и нефактивным (*Я никогда не слышал, чтобы он смеялся*, где придаточное диктально, поскольку здесь не утверждается и не отрицается названное событие). Эта особенность связана с тем, что подобные предикаты не включают компонент «знание»: причиной ощущения является само воздействие, а не знание субъекта о таком воздействии.

Обратим также внимание на особенности модального статуса компонента «каузация», входящего в содержание понятий «ощущать», «чувствовать», «сознавать» и т. п.³: при любом употреблении данных предикатов этот компонент диктален. Так, предложение *Я не сожалею о том, что идет дождь* означает «(У меня) нет чувства сожаления, [которое было бы вызвано знанием о том], (что идет дождь)». Глагол *сожалеть* входит здесь в ассертивную часть высказывания, придаточное — в пресуппозицию (указывается круглыми скобками), каузативный же компонент стоит вне ассертивной части и вне пресуппозиции (диктальный статус указывается квадратными скобками). Логично заключить, что и в соответствующем утвердительном предложении каузативный компонент диктален: если бы он входил в пресуппозицию, истинность утверждения о наличии причинной связи сохранялась бы при отрицании; однако приведенное

³ Компонент «отражение внешнего мира», т. е. «реакция на внешнее воздействие», и, следовательно, каузация — несомненно входит в значение слов *понимать, сознавать*, которые, в свою очередь, включены в более сложные понятия «иметь в виду» (=«держать в сознании»), «забыть» (=«перестать держать в сознании») и т. п.

высказывание не означает, что отсутствие сожаления «вызвано знанием о дожде». Нет здесь и отрицания каузативного компонента, т. к. предложение не означает, что отсутствие сожаления «не вызвано знанием» или «вызвано незнанием».

Обратимся в виде пояснения к одному лингвистическому курьезу. В сказке В. Катаева «Цветик-семицветик» рассказывается о девочке, которая заблудилась и не уберегла кулечные в магазине баранки, но приобрела волшебный цветок. Оторвав один лепесток, она загадывает желание «Хочу быть снова дома с баранками». С лингвистической точки зрения девочка совершает неосознанный обман: ей следовало оторвать два лепестка, т. к. ее высказывание содержит два желаемых события («быть дома» и «иметь баранки»). Волшебная сила такого обмана не замечает, но языковая система реагирует на два и более предиката в составе высказывания вполне однозначно: одна модальная рамка (любого типа) может охватить лишь один предикат. Если в семантической структуре нет хотя бы скрытого повторения модальности (типа *Хочу А и хочу В* или *Утверждается А и утверждается В*), то один из предикатов выходит из сферы действия модальности: он либо образует пресуппозицию, либо остается диктальным.

Учет различных модальных статусов предиката (ассертивного, пресуппозитивного, диктального) важен для решения ряда других лингвистических проблем, рассматриваемых ниже.

2. Модальность и некоторые проблемы глагольного вида. С учетом сказанного выше попытаемся объяснить, почему глаголы *слышать* — *услышать*, *видеть* — *увидеть*, *понимать* — *понять* и т. п. составляют чистовидовую пару, в отличие от глаголов *знать* и *узнать*, *спать* и *заснуть*, *болеть* и *заболеть* и т. п. Если бы видовые формы глаголов восприятия различались по отсутствию—наличию компонента «начало состояния» (как в последней группе), то они были бы парными и глагол совершенного вида следовало бы относить к особому, начинательному способу действия. В том, что *слышать* — *услышать* действительно составляют видовую пару, убеждает тот факт, что в предложении типа *И вдруг я слышу смех* несовершенный вид выражает значение начала состояния («вдруг услышал»), что невозможно для глаголов *знать*, *спать* и т. п.

Для уяснения особенностей данных глаголов важно иметь в виду, что в лексическое значение глаголов восприятия (независимо от видовой формы) входит каузативный компонент. Каузальная связь означает, что событие—следствие наступило (= возникло, начало существовать) после события—причины; таким образом, каузация обязательно включает «начинаемость». Однако следует еще учитывать модальный статус компонентов, составляющих начинательное значение. Предложение *Работа началась в 8 часов* означает «В 8 был процесс работы (которого не было ранее)». Компонент «не было ранее» в значении «начала» всегда стоит вне модальной рамки и обычно образует пресуппозицию. По-видимому, представление о начале события как раз и создается противопоставлением утверждения «есть в указанный момент» и пресуппозиции «не было ранее».

Рассмотрим теперь предложения с глаголами *слышать* — *услышать*, взяв для наглядности отрицательную форму. Предложение *Я не услышал его смеха* означает «(В указанный момент у меня) не было слухового ощущения [которое было бы вызвано тем] (что он смеялся, до этого названного ощущения также не было)». Здесь вне модальной рамки стоит каузативный компонент, а противопоставление ассертивной модальности («нет в указанный момент») и пресуппозитивной («не было ранее») создает зна-

чение «не возникло», т. е. начинательность. Предложение *Я не слышал его смея* означает «(В указанный момент у меня) не было слухового ощущения [которого бы не было ранее и которое было бы вызвано тем] (что он смеялся)». В этом случае диктальным оказывается не только каузативный компонент, но и компонент «не было ранее», т. е. часть начинательного значения. В связи с этим не возникает представления о начале состояния: здесь нет какого-либо сообщения (утверждения или отрицания) о том, каково было положение дел до указанного момента. Несмотря на различие в модальном статусе компонентов, сам компонентный состав лексического значения в обоих случаях одинаков: компоненты, составляющие значение «начала», не исчезают из глагольного значения при несовершенном виде, поскольку не исчезает каузация. Следует, впрочем, отметить несовершенство семантической записи, приводящее к избыточному повторению компонента «начала»: в принципе он включен уже в каузативную часть толкования («вызвано») и отдельно повторяться не должен (подробнее о роли модальности в описании видовой семантики см. [6]).

3. Модальность и истинностное значение высказывания. Истинность или ложность, как известно, характеризуют не событие, а утверждение о событии и выявляются при соотношении сообщения с действительностью. Следовательно, для того, чтобы высказывание обладало каким-либо истинностным значением, оно должно содержать утверждение (утвердительную или отрицательную модальность) и должна существовать хотя бы принципиальная возможность соотносить это утверждение с действительностью.

Из сказанного следует, что в высказывании с несколькими предикативными выражениями истинностным значением может обладать лишь то сообщение, которое охватывается утвердительной (отрицательной) модальностью. Диктальный предикат лишен требуемой модальной характеристики и не может быть охарактеризован в плане истинности — ложности. Так, в предложениях *Я сомневаюсь в том, что Петр уезжал* или *Я никогда не слышал, чтобы он смеялся* придаточные содержат сообщения, которые сами по себе не являются ни истинными, ни ложными.

Пресуппозиция всегда представлена говорящим в высказывании как заведомо истинное утверждение (с точки зрения говорящего). Она, следовательно, не лишена истинностного значения, однако не допускает альтернативы «быть истинной или ложной». Утверждение, опирающееся на ложную пресуппозицию, типа *Нынешний король Франции мудр*, лишается истинностного значения (см. обсуждение этой проблемы в [7]) потому, что не соответствует второму из указанных выше условий. Для того, чтобы установить, обладает ли субъект названным признаком, необходимо найти в реальном мире того, кто обозначен подлежащим, однако мы заранее знаем (из ложности пресуппозиции), что такого субъекта нет, и, следовательно, проверка истинности всего высказывания в принципе невозможна ⁴.

Отсутствие истинностного значения у вопросительных и побудительных предложений объясняется нарушением первого условия: в них нет утвердительной модальности (в терминах логики они не являются ассерторическими, утверждающими суждениями).

Рассмотрим причины отсутствия истинностного значения у перформативных высказываний на примере глаголов волеизъявления. *Про-*

⁴ Интересно отметить, что Сократ [8] за много веков предвосхитил современную теорию акзистенциальных пресуппозиций, утверждая, что о несуществующем нельзя иметь ни истинного, ни ложного мнения.

силь» = «говорить о своем желании получить нечто от адресата речи». Следовательно, *Я прошу* = «Я говорю, что хочу, чтобы...». Первая предикатная часть перформативного высказывания («Я говорю») заведомо истинна (пресуппозитивна): она всегда подтверждается самим фактом звучания речи, и ее истинность сохраняется при отрицании (в предложении *Я не прошу вас об этом* не отрицается факт «Я сейчас нечто говорю»). Вторая часть («Я хочу») не может обладать истинностным значением потому, что она диктальна: подчиняющий эту часть предикат *говорит* означает «высказывать утверждение», т. е. «выражать уверенность в том, что сообщается далее». Таким образом, ни один компонент перформативного высказывания не допускает альтернативы «быть истинным или ложным».

В связи со сказанным следует рассмотреть вопрос о роли скрытой модальной рамки в создании истинностного значения простого предложения. В ряде известных концепций утвердительность эксплицируется выражениями типа *Я констатирую* (или *утверждаю, заявляю*) [9—11]. Представляется, что для экспликации модальной рамки предложения требуется лишь собственно модальный компонент приведенных толкований, компонент же «говорения (произнесения)» избыточен: о том, что имеет место акт речи, мы узнаем из звучания речи, а не из содержания предложения типа *Петр уехал*.

В то же время содержащийся в приведенных толкованиях компонент «уверенность говорящего в сообщаемом» является необходимым и достаточным для экспликации утвердительности: без него предложение не выражало бы утверждения (*утверждать* и значит «выражать уверенность»), т. е. имело бы диктальный статус и потому не обладало бы истинностным значением (и, разумеется, не было бы утвердительным). При этом существовавшая именно скрытая, не выраженная лексически модальность, т. к. в сложном предложении *Я уверен, что Петр уехал* придаточное диктально и не обладает истинностным значением: сомневаться в истинности этого высказывания значит сомневаться в том, уверен ли говорящий в отъезде Петра, а не в том, уехал ли Петр. Таким образом, для создания истинностного значения важен способ выражения модальности: это значение есть у предиката со скрытой модальной рамкой (утвердительной), тогда как предикат, подчиненный лексически выраженной модальности, лишен истинностного значения вследствие своего диктального статуса.

Отметим, что сама скрытая модальная часть высказывания не имеет истинностного значения, т. к. она, естественно, не входит в утверждение (в ту модальную рамку, которую она же образует). Это относится и к скрытой модальности побудительного и вопросительного предложения. Эксплицируя такую модальность с помощью выражений типа *Я хочу, чтобы...*, следует иметь в виду, что этот предикат не обладает истинностным значением. Тем самым устраняются возражения против подобной экспликации [12], заключающиеся в том, что, представляя вопрос и побуждение в виде повествовательного предложения, мы «навязываем» им отсутствующее у них в действительности истинностное значение.

4. Модальность и предметная отнесенность существительного. Соотнесенность слова с индивидуальным объектом (конкретная референция) возникает при выделенности объекта из класса подобных. Выделить объект значит построить суждение (утверждение) об отличительных признаках одного из элементов класса. Такое утверждение может составлять собственно ассертивную часть высказывания (*У Петра есть машина*) или пресуппозицию (*Машина Петра в ремонте*): в обоих случаях существительное (*машина*) употреблено конкретно-референтно. При отсутствии утвер-

дательной модальности нет условий для возникновения конкретной референтности слова: такова ситуация в предложениях с общеотрицательной модальностью (*У Петра нет никакой машины*) и при диктальном статусе соответствующей части высказывания (*Я не слышал, чтобы у Петра была машина*).

Подчеркнем, что для референтности (в отличие от истинности высказывания) важно не реальное существование объекта, а лишь утверждение об этом (уверенность говорящего в его существовании). Рассмотрим в связи с этим разграничение так называемого «атрибутивного» (= нереферентного) и «референтного» употребления выражений [13]. К атрибутивному отнесено, например, употребление выражения *убийца Смита* в ситуации, где еще не установлено точно, было ли убийство, и убийца неизвестен. Обратим внимание на то, что в предложении типа *Убийца Смита еще не найден* есть presupпозиция «Некто убил Смита», и, следовательно, существительное обозначает объект, выделенный из класса, т. е. употреблено конкретно-референтно. Если выяснится ложность этой presupпозиции, то возникнет просто иная ситуация, чем та, которая описана в данном предложении: в нем событие представляется говорящим как несомненный факт (если говорящий не уверен в том, было ли убийство, он сможет использовать лишь выражения типа «тот, кто, как предполагают, убил Смита», но не выражение «убийца Смита»). Для референтности не имеет значения и то, что мы не знаем других признаков субъекта, кроме названных в предложении: в лингвистическом плане выяснение имени убийцы, места жительства и т. п. не изменит референтной отнесенности слова. Однозначно выделить объект можно по любому отличительному признаку, добавление же признаков само становится возможным потому, что presupпозитивное утверждение *Некто убил Смита* уже выделяло объект вполне однозначно.

Понятие определенности предмета также возникает на базе утверждения. Сделав утверждение о наличии у объекта отличительного признака (*На столе лежит карандаш*), мы в последующем тексте переходим к определенности (*этот карандаш*), повторяя первое утверждение в виде presupпозиции последующего: *этот* = «тот, о котором ранее было сделано утверждение, что он лежит на столе» [14]. Подчеркнем, что отсылка к предшествующему утверждению входит в определенность не только при указании на субъективный, коммуникативно выделяющий признак объекта («тот, о котором было ранее сделано утверждение»), но и при указании объективно выделяющего признака⁵. Так, выражение *автор «Войны и мира»* означает не просто «человек, написавший „Войну и мир“», а «человек, о котором известно из некоторого предшествующего утверждения, что он написал „Войну и мир“». Таким образом, основным компонентом в значении определенности является presupпозитивное утверждение «Ранее были названы отличительные признаки объекта», представленное в несентенциальной форме. При этом номинация самого отличительного признака в значении определенного детерминатива не входит.

С модальностью связаны и ограничения на возможность появления определенности в тексте. Общеотрицательное предложение (*На столе нет карандашей*), как и диктальная часть высказывания (*Не вижу, чтобы на столе были какие-нибудь карандаши*), не могут стать presupпозицией для последующей определенности (**эти карандаши*).

⁵ См. о различии логического и прагматического подходов к определенности в [15].

В целом можно отметить, что без обращения к проблемам модальности невозможно исследование таких явлений, как истинностное значение высказывания, фактивность—нефактивность предиката, перформативность, референтность, определенность—неопределенность и даже глагольный вид.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Kiparsky P., Kiparsky C. Fact // Progress in linguistics. The Hague; Paris, 1970.*
2. *Гуарга Е. А. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке. М., 1971.*
3. *Падучева Е. В. Презумпции существования и их роль в описании денотативного аспекта предложения // Проблемы синтаксической семантики: Материалы конференции. М., 1976.*
4. *Иорданская Л. Н. Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением чувства // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 13. М., 1970.*
5. *Гуревич В. В. Об элементарных и производных модальностях // Проблемы теории языкознания и теории английского языка. Вып. 2. М., 1976.*
6. *Гуревич В. В. Модальная актуализация смысловых компонентов предложения и слова // ФН. 1985. № 2.*
7. *Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. Гл. III. М., 1976.*
8. *Платон. Тезет // Платон. Соч.: В 3-х т. М., 1970.*
9. *Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955. С. 55.*
10. *Ross J. R. On declarative sentences // Readings in English transformational grammar. Waltham (Mass.), 1970.*
11. *Wierzbicka A. Semantic primitives. Frankfurt-am-Main, 1972.*
12. *Якобсон Р. Речевая коммуникация // Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985. С. 318.*
13. *Доннеллан К. С. Референция и определенные дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982.*
14. *Гуревич В. В. О категории «определенность — неопределенность» // Проблемы языкознания и теории английского языка. Вып. 4. М., 1978.*
15. *Шмелев А. Д. Определенность — неопределенность в названиях лиц в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1984. С. 4—5.*

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

ЛХАЧЕВ Д. С.

О ГОТОВЯЩЕМСЯ ИЗДАНИИ ТРУДОВ ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ
И. Е. АНИЧКОВА

Игорь Евгеньевич Аничков — отпрыск древнего дворянского рода, восходящего к царевичу Берке (внуку Чингисхана), который принял православие с именем Анички, переехав из Орды в Москву при Иване Калите.

Первые годы жизни Игорь Евгеньевич провел в Швейцарии, Франции и Англии, где получил среднее образование. Его отец Евгений Васильевич Аничков, литературовед и философ, был профессором Петербургского и Оксфордского университетов, одним из организаторов Высшей русской школы в Париже, после эмиграции — профессором университета в Скопье. Мать Анна Митрофановна (урожденная Овинова) еще до революции стала французской писательницей, писавшей под псевдонимом Ivan Strannik.

В 1915 г. Игорь Евгеньевич окончил философское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета, представив магистерскую диссертацию на тему «Классификация наук (о пяти типах мышления)». Работа была замечена и получила положительную оценку Н. О. Лосского, Э. Л. Радлова, С. Л. Франка.

Шла первая мировая война. Окончив офицерские курсы при Пажеском корпусе (и написав учебник верховой езды), Игорь Евгеньевич воевал некоторое время на румынском фронте, был ранен. После Октябрьской революции был мобилизован и должен был участвовать в походе против Колчака; будучи монархистом, перешел в армию Колчака; однако там был приговорен к смерти за «большевистскую пропаганду» и лишь чудом спасся, — спасителем явился высокого ранга колчаковский офицер, близкий петербургский знакомый семьи Аничковых.

После демобилизации Игорь Евгеньевич два года преподавал английский язык в Красноярском политехническом институте. В 1922 г. вернулся в Ленинград. Здесь занимался преподавательской и научной деятельностью до 1928 г., когда был арестован и отправлен в Соловецкий лагерь. За лагерем последовали административные высылки в Сыктывкар и Ростов-Ярославский. С 1938 г. Игорь Евгеньевич работал в Ленинградском педагогическом институте им. Покровского, позже — в институтах Архангельска и Ставрополя-Кавказского и, наконец, с осени 1953 г. — опять в Ленинграде, в Педагогическом институте им. Герцена.

Помещаемая ниже статья Ю. Д. Апресяна посвящена главному научному достижению И. Е. Аничкова — созданию и разработке идиоматики (термин принадлежит Игорю Евгеньевичу) — науки о сочетании и х слов (в отличие от синтаксиса — науки о сочетаниях форм слов). По справедливому мнению Ю. Д. Апресяна, это «в высшей степени оригинальная, стройная и глубокая теория, намного опередившая свое время».

При жизни Игорь Евгеньевич опубликовал всего около десятка статей. Он мало заботился о публикации своих работ. И уж совсем не заботился о том, чтобы сделать их приемлемыми для ученых, занимавших тогда командное положение в науке. После Игоря Евгеньевича остались лингвистический архив, который хранится у его ученика В. П. Недялкова. Сейчас В. П. Недялков готовит к печати три тома работ Игоря Евгеньевича.

В первом томе собраны общезыковедческие работы, а также несколько статей по методике преподавания иностранных языков. Вступительные разделы написали В. М. Алатов, Ю. Д. Апресян, И. Н. Горелов и Г. Г. Сильницкий; биографический очерк написан мной. Этот том включает, в частности, следующие работы: «Идиоматика и семантика» (23 с. машинописи), «Идиоматика в ряду лингвистических дисциплин» (76 с. машинописи), «Слово как общелингвистическое понятие» (138 с. машинописи), «Проблема частей речи» (65 с. машинописи), «Очерк советского языкознания» (50 с. машинописи). Следующие два тома, предваряемые статьей Г. Г. Сильницкого, посвящены грамматическим и лексикологическим работам по англистике. Второй том содержит работы «Видовременная система изъявительного наклонения английского глагола» (106 с. машинописи) и «Категория модальности в английском языке» (270 с. машинописи; написано на английском языке). Третий том составляет работа «Английские адвербиальные послелогии» (530 с. машинописи; описательная часть на английском языке).

В разные времена на разные из перечисленных работ давали положительные отзывы лингвисты, придерживавшиеся самых разных взглядов: А. Мейе, Л. В. Щерба, В. Ф. Шишмарев, Б. А. Пльш, Н. Я. Марр, М. Н. Петерсон, И. И. Мещанинов и др. Однако целый ряд причин объективного и субъективного характера привел к тому, что большая часть написанного Игорем Евгеньевичем осталась неопубликованной. Немалую роль здесь сыграло противодействие некоторых лингвистов, занимавших высокие административные посты.

Необходимо, чтобы три тома избранных трудов И. Е. Аничкова по языкознанию были изданы как можно скорее.

Надо сказать, что Игорь Евгеньевич был не только лингвистом. Ему принадлежал обширный цикл исследований по философии, эсхатологии, богословию. В последние годы жизни он написал книгу-завещание «Письма к русским юношам». Игорь Евгеньевич горячо переживал все происходящее в нашей стране и верил в скорые перемены к лучшему. Как пишет в своей вступительной статье Г. Г. Сильницкий (бывший аспирант Игоря Евгеньевича), «Игорь Евгеньевич жил в постоянном, повседневном ожидании эпохальных перемен в жизни нашего общества, какого-то коренного духовного поворота, который должен, по его представлению, вернуть страну и народ к вековым национальным идеалам и ценностям — с сохранением и новым осмыслением приобретенного за последние десятилетия исторического опыта». Я совершенно уверен, что вслед за трудами И. Е. Аничкова по языкознанию увидят свет и его религиозно-философские произведения.

О РАБОТАХ И. Е. АНИЧКОВА ПО ИДИОМАТИКЕ

1

Одна из любимых тем историков и популяризаторов науки — тема детерминированности ее поступательного движения. Каждое фундаментальное открытие неуклонно готовится всем предшествующим ходом развития науки. Поэтому, когда наступает время такого открытия, оно может быть сделано синхронно или почти синхронно разными учеными, работающими совершенно независимо друг от друга.

Логарифмы были впервые придуманы в 1614 г. шотландцем Дж. Непером, а спустя шесть лет их еще раз придумал швейцарец И. Бюрги. Кислород был открыт в 1774 г. Дж. Пристли, а в 1777 г. — В. Шееле. Первая неевклидова геометрия, построенная Н. И. Лобачевским, увидела свет в 1829 г., а в 1832 г. такую же геометрию построил Я. Больяй. Алгебра логики была разработана Дж. Булем и А. Де Морганом в одном и том же году (1847). Теория эволюции биологических видов тоже была сформулирована дважды на протяжении одного (1858) года — Ч. Дарвином и А. Р. Уоллесом. Периодическая таблица химических элементов была закончена Д. И. Менделеевым в 1869 г., а через год идентичная таблица была опубликована Ю. Л. Мейером.

Эти параллели имеют успокаивающий и убаюкивающий эффект: если не один, так другой ученый получил бы важный для науки результат, причем приблизительно в то же самое время, так что в целом ее продвижение все равно было бы обеспечено.

Увы, в истории науки чересчур хорошо известны прецеденты другого рода.

Во-первых, мысль гениального ученого иногда настолько опережает свою эпоху, что остается непонятной современникам. Тогда новаторство наталкивается на сопротивление научной среды. Так было с геометрией Н. И. Лобачевского. Ее естественное вхождение в науку было заторможено нетерпимостью, консерватизмом, осторожностью, а иногда да и просто научной трусостью выдающихся математиков того времени. В России признание к нему пришло только в 1870 г. — через два года после того, как итальянский математик Э. Бельтрами открыл псевдосферические поверхности, на которых реально осуществляется эта геометрия, через 14 лет после смерти Н. И. Лобачевского и через 44 года после его эпохального открытия. Это стало источником личной трагедии Н. И. Лобачевского. История науки оказывается не только «драмой идей», но и драмой творящих ее людей. При этом сама наука тоже несет урон: всякий раз, когда фундаментальный результат осваивается с большим опозданием, научный прогресс надолго задерживается.

Во-вторых, научное новаторство может прийти в противоречие с официальной идеологией, поддерживаемой мощью государственной власти. Такой конфликт — намного разрушительней для личных судеб ученых, для науки в целом, для морального и физического здоровья общества. Недавние прецеденты слишком хорошо известны, чтобы еще раз к ним возвращаться и перечислять потери, которые понесло наше общество в результате насильственного вмешательства государства в агрономию, биологию, микробиологию, физиологию, физику, математику.

Хорошо известно, что этой общей судьбы не избежала и филология. Достаточно вспомнить гибель Д. И. Поливанова и Н. Н. Дурново, лагерную судьбу Д. С. Лихачева, ссылку В. В. Виноградова, В. И. Сидорова,

М. И. Бахтина, возглавленную Ф. П. Филиным расправу со многими московскими лингвистами в 70-е годы.

Среди тех, кто получил полную меру гонений, запрещений и непризнания, был Игорь Евгеньевич Аничков — ученый настолько же интересный, насколько мало известный широким кругам лингвистов. В его научной и человеческой судьбе переплелись самые разнородные факторы. Историкам лингвистики еще предстоит написать его подробную научную биографию и оценить интеллектуальный и моральный ущерб, который понесла наша наука в результате того, что основные теоретические работы И. Е. Аничкова в своем первоначальном виде и полностью выходят в свет только сейчас¹. Задача данной статьи состоит в том, чтобы представить только одну теоретическую концепцию И. Е. Аничкова — концепцию идиоматики².

Идиоматику, которая никак не связана с идиоматичностью в традиционном понимании, И. Е. Аничков считал своим главным детищем. Это была в высшей степени оригинальная, стройная и глубокая теория, намного опережавшая свое время. В разделах 2 и 3 она будет изложена подробно, а здесь достаточно сказать следующее.

Идиоматика И. Е. Аничкова — это общее учение о сочетаниях с л о в, в отличие от синтаксиса — учения о сочетаниях ф о р м с л о в. В рамках идиоматики рассматриваются любые сочетания слов, начиная со «свободных» и кончая «неразложимыми» (если пользоваться позднейшей и, в общем, чуждой И. Е. Аничкову терминологией). Главную задачу идиоматики И. Е. Аничков видел в классификации словосочетаний, но не по степени идиоматичности, а по их внутренней («частеречной») структуре, по их внешним синтаксическим функциям и по их значениям; в последнем случае особенно ценным И. Е. Аничков считал установление отношений синонимии между словосочетаниями и словами.

В своих основных чертах идиоматика была разработана к 1925 году (Идиоматика-2, с. 40, 44). В 1927 г. И. Е. Аничков написал по-французски небольшой текст, озаглавленный «Idiomatique et sémantique» (первый в списке работ, перечисленных в примеч. 1). Этот текст был послан А. Мейе, который в январе 1928 г. откликнулся на него коротким письмом (Идиоматика-1, с. 23). В нем, в частности, было сказано: «Пока я смог лишь очень бегло прочитать Вашу работу. В надежде, что у меня появится возможность изложить свои впечатления более детально, я спешу сообщить, что читал ее с живым интересом».

Мы не располагаем никакими свидетельствами того, что А. Мейе возвращался к тексту И. Е. Аничкова. Может быть, он просто не сумел оценить его по достоинству. Во всяком случае он не предпринял никаких шагов для того, чтобы помочь его опубликовать.

¹ Имеются в виду следующие рукописи: 1) *Idiomatique et sémantique* (Mémoire présenté à A. Meillet, 1927) — в дальнейшем Идиоматика-1; 2) Идиоматика в ряду лингвистических наук (1937) — в дальнейшем Идиоматика-2; 3) Проблема частей речи — в дальнейшем ЧР-1; 4) Можно ли считать проблему частей речи решенной — в дальнейшем ЧР-2; 5) Слово как лингвистическое понятие — в дальнейшем Слово; 6) Очерк советского языкознания — в дальнейшем Очерк. Впоследствии основные идеи этих работ, большие их фрагменты или скатые изложения были опубликованы. См., например [1—7]. Поскольку, однако, круг идей, касающихся идиоматики, изложен в рукописных работах полнее и, главное, раньше, а наш интерес в данной статье по преимуществу исторический, мы будем опираться именно на рукописи.

² Тем самым речь пойдет по преимуществу о первых двух из упомянутых в примеч. 1 работ. Из них же извлечены и некоторые биографические детали. Другие работы И. Е. Аничкова используются лишь в той мере, в какой они проливают свет на проблемы идиоматики.

Второй фактор, сыгравший определенную роль в научной судьбе И. Е. Аничкова, — более низменного свойства. Приблизительно в то же время И. Е. Аничков обратился с просьбой о поддержке к Н. Я. Марру. Н. Я. Марр высказался по поводу его работы с гораздо большим энтузиазмом и определенностью, назвав ее «ценным вкладом в одну из важнейших областей семантики» и похвалив за «свежесть темы и жизненность» (Идиоматика-2, с. 58). И. Е. Аничкову был даже обещан кабинет идиоматики в Институте языков и литературы Запада и Востока, где Н. Я. Марр был руководителем лингвистического отделения. Как пишет И. Е. Аничков, «намечавшаяся коллективная работа по предложенному мною методу не была развернута по причинам неакадемического характера» (Идиоматика-2, с. 59). Автор к этому времени был отправлен в Соловки, а статья «Идиоматика», без упоминания его имени, была опубликована Н. Я. Марром в Большой Советской энциклопедии (Очерк, с. 9).

По-видимому, и после возвращения из мест заключения И. Е. Аничков какое-то время оставался одинокой фигурой. Иначе нельзя объяснить ни такой частности, как оттяжка на семь лет защиты кандидатской диссертации (в 1944 г. вместо 1937), ни того более принципиального факта, что И. Е. Аничков так и не занял подобающего ему положения в нашей науке. Сам И. Е. Аничков утверждает, что отголоски некоторых его идей можно найти в той классификации словосочетаний, которая принята в первой Академической грамматике русского языка (Очерк, с. 48—49). Независимо от того, в какой степени это верно, следует признать, что лингвистическая теория И. Е. Аничкова как таковая не оказала заметного влияния на развитие лингвистики и лексикографии. Об этом можно только сожалеть, потому что будь она усвоена вовремя, крутой поворот в отечественной лингвистике и лексикографии, на наших глазах меняющий их лицо, мог бы начаться значительно раньше.

2

Изложение лингвистической теории И. Е. Аничкова разумно начать с того, как он представлял язык в целом и номенклатуру лингвистических наук.

И. Е. Аничков мыслил язык как многоуровневую иерархическую структуру, хотя самого термина «уровень» или какого-либо аналога этого термина он не употреблял. Подтверждением того, что ему было свойственно «уровневое» мышление, является предложенная им иерархически упорядоченная номенклатура лингвистических наук: фонетика \Rightarrow морфология \Rightarrow синтаксис \Rightarrow идиоматика \Rightarrow семантика. «В этом ряду, — писал И. Е. Аничков, — порядок неизменен. Предшествующие науки подготавливают последующие, и последующие пользуются данными предшествующих» (Идиоматика-2, с. 30). Та же мысль содержится и в написанной десятью годами раньше Идиоматике-1. Замечательно, как эта мысль развивается дальше: «Однако в указанном ряду не только последующие науки предполагают предшествующие, но и предшествующие в некоторой мере предполагают последующие и заимствуют из них данные. Можно только утверждать, что в последующих науках в большей мере используются данные предшествующих наук, чем наоборот» (там же, с. 31).

Можно возразить, что само по себе представление о языке как иерархии уровней неоригинально. Оно содержится, по крайней мере имплицитно, в традиционном способе упорядочения лингвистических дисциплин

от фонетики через морфологию к синтаксису. С другой стороны, уровневая идеология была явно сформулирована (правда, на 15—20 лет позже) американскими дистрибутивистами (Б. Блок, Ю. Найда, Дж. Трейджер, З. Харрис, Ч. Хоккет и др.).

Даже если принять эти возражения в полном объеме, надо будет признать следующие заслуги И. Е. Аничкова в учении об уровневой иерархии языка.

1) В отличие от традиции и от американских дистрибутивистов И. Е. Аничков включает в число уровней не только придуманную им идиоматику, но и семантику, о которой в то время никто не думал как о серьезной лингвистической дисциплине.

2) Ортодоксы дистрибутивизма настаивали на том, что структура языка строго иерархична и что единицы каждого последующего (более высокого) уровня строятся целиком из единиц предшествующего уровня (например, синтаксические конструкции — из морфем). Отсюда вытекает один из важнейших методологических принципов дистрибутивизма: при описании единиц данного уровня нельзя пользоваться единицами последующего уровня.

Гипноз этой заведомо ложной посылки и авторитет вытекающего из нее принципа были столь велики, что понадобилась растянувшаяся на полтора десятилетия дискуссия, чтобы отказаться от них и допустить возможность «челючного» описания единиц разных уровней³. Тем удивительнее тонкость и «мягкость» формулировки И. Е. Аничкова: «Можно только утверждать, что в последующих науках в большей мере используются данные предшествующих наук, чем наоборот». Таким образом, концепция жесткой лингвистической иерархии И. Е. Аничкова предвосхищала самые плодотворные идеи дискуссии о взаимоотношениях между уровнями за 20 лет до ее начала. В некоторых существенных деталях она даже шла значительно дальше этой дискуссии (см. об этом ниже).

3) И. Е. Аничков считал, что фонетика, морфология, синтаксис, идиоматика и семантика — не только пласты языковой и лингвистической иерархии, но и точки зрения, с которых должен анализироваться «любой отрезок любого текста или живой речи»: «Любой участок речевого потока имеет свою идиоматику, как он имеет свои фонетику, морфологию, синтаксис и семантику» (Идиоматика-2, с. 10; то же и в Идиоматике-1). При этом единицы каждого пласта, в том числе и идиомы (в аничковском смысле), не местами вкрапливаются в речевой поток, а заполняют его сплошь.

Всегда трудно интерпретировать чужую мысль, тем более мысль, удаленную от нас на пять-шесть десятилетий и изложенную на устаревшем и неточном языке. Неизбежно возникает соблазн ее модернизации. И все же трудно отделаться от впечатления, что эту мысль И. Е. Аничкова, с учетом его же концепции лингвистической иерархии, отделяя от уровневой идеологии современных лингвистических моделей не более чем один шаг⁴.

Действительно, взглянем на следующую схему, помещенную на с. 10 Идиоматики-2:

³ См. критику принципа «жесткой иерархии» в [8—13].

⁴ Мы имеем в виду прежде всего модель «Смысл ↔ Текст». См. [14]. Из числа других моделей такого рода упомянем интерпретирующую семантику (Дж. Кати, П. Постал, Дж. Фодор, Н. Хомский), генеративную семантику (Дж. Лаков, Дж. МакКолли и др.), надежную грамматику (Ч. Филлмор и др.), стратификационную грамматику (С. Лэмб), «лексикалистскую гипотезу» (Р. Джекендофф).



Фонетика Морфология Синтаксис Идиоматика Семантика

Рис. 1.

Из этой схемы и тезиса П. Е. Аничкова о «неизменном порядке» лингвистических наук можно сделать вывод, что, по его мнению, каждый отрезок речевого потока должен быть последовательно описан с точки зрения фонетики, морфологии, синтаксиса, идиоматики и семантики. Если бы П. Е. Аничков добавил к этому, что каждая из перечисленных лингвистических дисциплин должна располагать наборами правил, строящих соответствующий образ (транскрипцию) для данного отрезка речевого потока, то получилась бы вполне корректная аналогия с уровнями представления и компонентами модели «Смысл \Leftrightarrow Текст». Тогда в аничковской идиоматике, которая является связующим звеном между собственно синтаксисом и семантикой, можно было бы видеть прообраз глубинно-синтаксического компонента этой модели.

Отметим еще одну поразительную параллель. В модели «Смысл \Leftrightarrow Текст» формальные представления соседних уровней относятся друг к другу как план выражения (означающее) и план содержания (означаемое). Например, в паре «морфологическое представление предложения» — «поверхностно-синтаксическое представление предложения» первое является планом выражения для второго, а второе — планом содержания для первого. Это и понятно. Морфологические категории (в первую очередь падежи) действительно являются средством выражения синтаксических отношений между словоформами в предложении [Ср. различие между прямым дополнением и косвенным дополнением (или обстоятельством) в словосочетаниях *делать топор* и *делать топором*, выраженное противопоставлением винительного и творительного падежей.]

Сравним с этим следующие формулировки П. Е. Аничкова: «Идиоматика во многом относится к семантике как морфология к синтаксису; идиоматика может быть признана второй морфологией..., а семантика — вторым синтаксисом... Лучше сказать, синтаксис может быть признан первой семантикой» (Идиоматика-2, с. 24). Эти формулировки имеют поистине пророческое звучание.

4) И, наконец, еще одна ипостась иерархии лингвистических дисциплин — динамическая и историческая. Выстроив ряд «фонетика — морфология — синтаксис — идиоматика — семантика», П. Е. Аничков пишет: «В таком порядке лингвистические науки должны залагаться. В таком порядке они создавались и создаются» (Идиоматика-2, с. 32).

Несколькими строками раньше П. Е. Аничков замечает, что ряд лингвистических наук — не прямая линия, а спираль. На с. 19 Идиоматики-1 и с. 33 Идиоматики-2 эта спираль развития лингвистических наук представлена «динамической схемой», на которой она расчленена на пять секторов — по числу лингвистических наук (см. рис. 2). Каждая наука представлена в своей описательной, сравнительной, исторической и общей ипостаси, причем предполагается, что каждая предшествующая ипостась

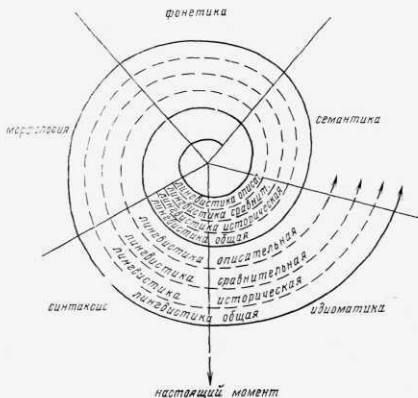


Рис. 2.

в этом ряду является фундаментом для последующей ⁵. Спираль начинается с крохотного сектора фонетики, за которым идут все более крупные по площади сектора морфологии, синтаксиса, идиоматики и семантики, с повторением этого цикла на каждом новом витке спирали. «Спираль одновременно двояким движением... разворачивается в направлении против движения часовой стрелки и вращается вокруг своего центра в направлении по движению часовой стрелки: в каждый данный момент конец ее всегда находится против одной и той же неподвижной точки, означающей настоящий момент. Продолжение спирали изображает развитие лингвистики, а вращение ее — поступательное движение времени (Идиоматика-2, с. 33).

Эта схема, являющая собой удивительный сплав научной мысли и поэтического воображения, поражает своей лаконичностью, емкостью и глубиной. Это — гигантская графическая метафора, не только обобщающая реальную историю лингвистики, но и открывающая неисчерпаемые возможности новых интерпретаций. Не будем их перечислять, чтобы не лишать читателя удовольствия самому всмотреться в эту схему и обнару-

⁵ «Каждая наука должна и может быть осуществлена сначала в плане описательном и только после того — в планах сравнительном и историческом. Не надо спешить с сравнением. Прежде чем сравнивать, надо рассмотреть реальную историю лингвистики, но и открывающая неисчерпаемые возможности новых интерпретаций. Не будем их перечислять, чтобы не лишать читателя удовольствия самому всмотреться в эту схему и обнару-

жить скрытые в ней возможности. Перефразируя А. А. Потебню, можно сказать, что она представляет собой форму, которую каждая новая эпоха развития науки будет наполнять своим содержанием⁶.

3

Рассмотрев в целом уровневую иерархию языка и лингвистики, остановимся подробнее на том, как И. Е. Аничков мыслил содержание идиоматики и двух смежных с ней наук — синтаксиса и семантики.

Под идиоматикой, как уже было сказано, И. Е. Аничков понимал «науку о сочетаниях слов», в отличие от синтаксиса — «науки о сочетаниях форм слов». Объектами идиоматики являются идиомы; это — общий термин для любых словосочетаний, начиная с тех, которые обычно считаются свободными, и кончая пословицами и поговорками.

Чтобы по достоинству оценить новизну и смелость этих положений И. Е. Аничкова, необходимо представить исторический фон, на котором они были выдвинуты, и концептуальную среду, в которой ему пришлось их отстаивать.

Историческим фоном для идиоматики была фразеология, основы которой были заложены Ш. Балли в начале XX столетия в его «Очерке французской стилистики» [16], вышедшем первым изданием в 1908 г. В 40-е годы концепцию Ш. Балли поддержал всей силой своего личного авторитета В. В. Виноградов [17—19], за которым, после лингвистической дискуссии 50-го года, стоял и авторитет государственной власти. Обновленная В. В. Виноградовым фразеология и стала той средой, в которой суждено было жить идиоматике И. Е. Аничкова. Сопоставим идиоматику и фразеологию по ключевым для обеих позициям. Для этого нам придется воспроизвести ряд общезвестных положений Ш. Балли и В. В. Виноградова.

1) И для Ш. Балли, и для В. В. Виноградова онтологически самой глубокой и теоретически самой важной является граница между свободными словосочетаниями и фразеологическими единицами. По В. В. Виноградову, свободные словосочетания суть сочетания слов, а фразеологические единицы — в большей или меньшей мере эквиваленты или аналоги отдельных слов. Первые свободно организуются в процессе речи, а вторые лишь воспроизводятся в ней в готовом виде. Поэтому свободные словосочетания должны изучаться в синтаксисе, а фразеологические единицы — в стилистике (по Ш. Балли) или фразеологии (по В. В. Виноградову).

В противовес этому И. Е. Аничков утверждает, что в языке нет абсолютно свободных словосочетаний, а есть только словосочетания более или менее связанные. «Обычному мнению о необъятности всего множества возможных на каждом языке сочетаний слов,— писал И. Е. Аничков,— я противопоставляю положение об устойчивости и уловимости сочетаний слов. Ни одно слово не может вступить в сочетание с любым другим словом; каждое слово сочетается с ограниченным числом других слов, и в каждом случае границы могут и должны быть нащупаны и установлены» (Идиоматика-2, с. 5—6). Эта мысль в разных вариантах повторяется и в других работах И. Е. Аничкова. Вот как она развивается на конкретном мате-

⁶ В [15], рассматривая жанр притчи, А. А. Потебня говорит, что всякая притча — всего лишь форма, которую время каждый раз наполняет новым содержанием. По мысли А. А. Потебни, ценность притчи, как и любого другого поэтического произведения, определяется, в частности, степенью разнообразия допускаемых ею интерпретаций.

риале в работе середины 50-х годов: «Непостоянные компоненты словосочетаний являются переменными в известных пределах. Эти пределы иногда узкие, иногда очень широкие. Но они подлежат установлению и всегда могут быть установлены. Никогда, ни в одном случае... переменным компонентом словосочетания не может быть любое слово, относящееся к соответствующей части речи. Человек или животное может *видеть* любой воспринимаемый зрением предмет или любую часть или любой признак такого предмета, может *видеть* любое воспринимаемое мысленным взором явление, например, ошибку, изменение и т. п., но не может *видеть* что угодно, например, не может *видеть* звук или вкус или запах или время или что-либо ничем внешним образом не обнаруживаемое переживание или пожелание» (Слово, с. 22—23).

Вывод о том, что все словосочетания в большей или меньшей мере несвободны и что, следовательно, все лексические значения в большей или меньшей мере связаны, т. е. обусловлены семантическим, лексическим, синтаксическим или иным контекстом, был сделан независимо от И. Е. Аничкова, но на 40 лет позже его [20].

2) По мысли Ш. Балли и В. В. Виноградова, основная задача фразеологии как лингвистической дисциплины состоит в разработке классификации устойчивых словосочетаний по степени идиоматичности.

Ш. Балли делил все устойчивые словосочетания на два класса — фразеологические единства и фразеологические серии. Фразеологические единства — это идиоматичные устойчивые словосочетания, в которых смысл целого мотивируется не буквальным смыслом компонентов, а образным смыслом всего словосочетания. Ср. франц. *tourner les talons* «бежать, удирать» (букв. «поворачивать пятки») или русск. *держат нос по ветру* «беспринципно менять свои взгляды в соответствии с изменяющимися обстоятельствами». Во фразеологических сериях смысл целого выводим из смысла компонентов. Немотивированной в них является лишь сама комбинация лексических элементов. Свою мысль Ш. Балли иллюстрирует следующим классическим примером: по-французски говорят *gravement malade* «тяжело больной», но *grèvement blessé* «тяжело раненый». Нельзя сказать (по Ш. Балли) **gravement blessé* и *grèvement malade*. Данный сочетаемостный запрет немотивирован, потому что *gravement* и *grèvement* значат, в сущности, одно и то же.

В. В. Виноградов развил эту классификацию в трех направлениях. Во-первых, наряду с фразеологическими единствами и сериями (переименованными в сочетания), он выделил еще один класс устойчивых оборотов — фразеологические сращения. Они представляют собой последнюю стадию в семантической эволюции фразеологической единицы, отличаясь даже от фразеологических единств полной утратой образной мотивации своего значения, ср.: *бить баклуши*, *съесть собаку на чем-либо*. Во-вторых, В. В. Виноградов выделил набор формальных признаков (неизменность грамматических характеристик компонентов, их словопорядка и лексического состава, отсутствие синтаксического согласования и управления между компонентами, наличие омонимов среди свободных словосочетаний и т. п.), которые являются различительными для трех классов фразеологических единиц. Фразеологические сращения дают наибольшее количество плюсов по этим признакам, а фразеологические сочетания — наибольшее количество минусов. Наконец, в-третьих, В. В. Виноградов связал классификацию типов словосочетаний с классификацией типов лексических значений. В частности, он выделил класс фразеологически связанных значений, формирующих фразеологические

сочетания; ср.: *Ужас* <злость, зависть, досада> берет, но не **Испуг* <гнев, ревность, раздражение> берет, хотя возможно *Испуг* <гнев, ревность, раздражение> охватывает (кого-л.).

Идеи В. В. Виноградова оказали исключительно сильное влияние на развитие теоретической фразеологии в нашей стране. По крайней мере в течение десятилетия фразеологи занимались лишь тем, что дополняли эту классификацию и переносили ее на материалы других языков. В этих условиях примечательно постоянство, с которым И. Е. Аничков отстаивал свои принципы классификации идиом.

По мысли И. Е. Аничкова, главная классификация словосочетаний должна строиться не на основе семантического признака большей / меньшей идиоматичности, а на основе структурных признаков частей речи и их типичных синтаксических функций. Она должна разворачиваться в направлении от структурно наиболее простых ко все более сложным классам.

Идея структурной простоты и сложности, в свою очередь, опиралась на развитую И. Е. Аничковым иерархическую концепцию частей речи. В ней главное деление проходило между самостоятельными и служебными словами. Наиболее самостоятельными И. Е. Аничков считал существительные, затем глаголы, затем прилагательные и, наконец, наречия. К числу служебных слов он относил предлоги и союзы (Идиоматика-2, ЧР-1, ЧР-2)⁷.

Структурно наиболее простыми И. Е. Аничков считал двусловные идиомы, в состав которых входит одно самостоятельное слово и одно служебное слово. Структурная сложность нарастает по мере увеличения числа компонентов идиомы и увеличения в ее составе количества самостоятельных слов. В результате выстраиваются ряды типа: (1) *думать о, вредный для, пожилой на, согласный с, привязанность к*; (2) *в основе, на ногах, по мере*; (3) *поспешное решение, гробовое молчание*; (4) *стрелка часов, клоч шерсти, жерло орудия*; (5) *горячо одобрять, крепко спать*; (6) *смертельно бледный, ослепительно белый*; (7) *фонтан бьет, лошадь скачет*; (8) *следовать курсом, подхватить простуду, получить отмену*; (9) *залезать в долги, падать в обморок, поступать на службу*⁸; (10) *глух как пень, бледен как полотно*; (11) *пить как извозчик, спать как убитый*; (12) *лить крокодиловы слезы, строить воздушные замки*; (13) *ходить по острию ножа, сидеть между двух стульев*; (14) *новая метла чисто метет, воды глубокие мирно текут*; и т. п.

Каждый такой класс идиом может далее разбиваться на все более мелкие подклассы по выполняемым идиомами синтаксическим функциям. Скажем, идиомы вида «предлог + существительное» [класс (2)] разделяются на адъективные [ср. (*тетрадь*) *в клетку*], адвербиальные [ср. (*сделать*) *по ошибке*], препозитивные [ср. *по отношению (к чему-л.)*] и т. п.

⁷ Любопытно, что И. Е. Аничков не выделял в особые части речи местоимения и числительные. Местоимения распределялись у него между существительными (*он, никто, это*), прилагательными (*такой, этот*) и наречиями (*туда, там*). В класс прилагательных были включены и порядковые числительные. Что касается количественных числительных, то они сблизались с существительными. В этом отношении номенклатура частей речи, предложенная И. Е. Аничковым, была похожа на классическую схему Ф. Ф. Фортунатова [21] и предвосхищала систему частей речи, принятую в академических Грамматике-70 и Грамматике-80.

⁸ Эти примеры свидетельствуют, в частности, о том, что И. Е. Аничков угадал глубинное сходство между явлениями синтаксического управления и чисто лексической фразеологизации, представленной во фразеологических сочетаниях. Выбор управляемой формы при данном управляющем слове так же мало мотивирован, как выбор слова X для выражения определенного значения при слове Y.

В свою очередь, адъективные идиомы, в соответствии с двумя основными синтаксическими функциями прилагательных, делятся на атрибутивные [ср. (*тетрадь*) в клетку, (*пальто*) на вате] и предикативные [ср. (*Он*) на свободе]; предикативные идиомы делятся далее на непредложные (на свободе) и предложные (на короткой ноге с кем-л.)⁹.

Акцентирование структурной первоосновы классификации в работах И. Е. Аничкова не значит, что он совершенно исключал возможность классификации словосочетаний по степени идиоматичности. Не считая этот признак достаточно надежным для основополагающей классификации, он, тем не менее, выделял среди идиом два класса фразеологизованных словосочетаний («идиоматизмов» в собственном смысле слова). Первый из них по существу совпадает с классом фразеологических серий Ш. Балли и фразеологических сочетаний В. В. Виноградова. Что касается второго класса, то в него И. Е. Аничков включал словосочетания и поговорки. Их он понимал очень широко, относя к ним все образные клише, или, говоря словами Ш. Балли и В. В. Виноградова, фразеологические единства. Ср. его примеры *прыжок в неизвестность*, *лечь крокодиловы слезы*, *почивать на лаврах*, *сидеть между двух стульев* и т. п.

Таким образом, классификация идиом И. Е. Аничкова в значительной мере, хотя и не полностью, включает в себя классификации фразеологических единиц Ш. Балли и В. В. Виноградова. Трудно сказать что-либо еще о ее сравнительной теоретической ценности, поскольку вообще неясно, имеют ли таксономии серьезный теоретический статус. Несомненно однако, что в приложениях, особенно лексикографических, именно классификация И. Е. Аничкова могла бы сыграть большую роль. Не случайно принятые сейчас в толковой и специальной двуязычной лексикографии способы упорядочения речений-иллюстраций, неважно — свободных, фразеологически связанных или идиоматичных, почти в точности соответствуют принципам, провозглашенным И. Е. Аничковым. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на последовательность классов (1) — (14) на с. 112. Более того, по степени идиоматичности современные лексикографы выделяют не более двух классов фразем — фразеологические сочетания (они помещаются под самыми большими номерами в корпусе значений) и фразеологические единства в м е с т е с фразеологическими сравнениями (они помещаются за ромбом).

3) Как мы уже сказали, И. Е. Аничков не придавал принципиально го значения классификации словосочетаний по степени идиоматичности и, следовательно, не имел оснований специально заниматься классом фразеологических сочетаний. Тем не менее в лингвистическом понимании их природы он продвинулся дальше своих современников.

⁹ Многие разряды этой классификации И. Е. Аничков сопровождает пронизательным комментарием. Он обнаруживает лингвистическую зоркость на детали, удивительную у ученого, который мыслит столь широкими и общими категориями. Показательны в этом отношении тонкие замечания о семантической дифференциации атрибутивных и предикативных функций у некоторых прилагательных и адъективных идиом. Так, можно сказать *рама велика*, но не **великая рама* (*великий* в значении «большой по размеру» употребляется только предикативно). *Винт хорош* значит «годен по размерам», а *хороший винт* обозначает более общую похвалу. Излагая классификацию глагольных идиом, И. Е. Аничков отмечает, что у них могут быть управляющие свойства, но выводимые из управляющих свойств их компонентов. Словосочетание *искружить голову кому-л.* в целом требует дополнения в дательном падеже, по аналогии с глаголом *покружится*. Ни глаголу *кружить*, ни существительному *голова*, взятым по отдельности, этот тип управления не свойствен. Ср. также *точить зубы на кого-л.*, по аналогии с *сердиться на кого-л.* «Здесь предлога на требует не глагол *точить* и не существительное *зубы*, а именно сочетание *точить зубы*» (Идиоматика-2, с. 18).

Это следует из самого способа их группировки, особенно рельефно представленного в Идиоматике-1. Там даны, в частности, следующие ряды фразеологических сочетаний: *круглый дурак, закадычный друг, трескучий мороз, окладистая борода, жидкая борода, крутой нрав; твердо обещать, крепко призадуматься, плотно наестся, отказать наотрез, работать усердно, спать крепко; туго набитый, кровно обиженный, несметно богатый; глух как стена, глух как пробка, пьян как сапожник; спать как убитый, бояться как огня, метаться как угорелый; сдержат слово, отдать приказание, подать пример, посещать лекции, исполнить обещание, нанести обиду; дождь идет, снег падает, слух носится, восстание вспыхивает, разговор угасает.*

Аналогичные группировки даны и на материале французского и английского языков (которыми, кстати сказать, И. Е. Аничков владел как родными): франц. *un succès éclatant* «блистательный успех», *une nouvelle renversante* «сногшибательная новость», *un grand silence* «гробовое молчание», англ. *a bitter wind* «пронизывающий ветер», *a heavy rain* «проливной дождь», *a flat denial* «решительный отказ, категорическое опровержение»; франц. *sourd comme un pot* «глух как пень», *pâle comme un linge* «бледен как полотно», *ivre comme un Polonais* «пьян как сапожник», *as regular as clockwork* «точный как часы», *as cold as charity* «холодный как лед»; франц. *taire un secret* «хранить тайну», *essuyer un refus* «получить отказ», англ. *to attend lectures* «посещать лекции», *to overcome a difficulty* «преодолеть трудность», *to keep a promise* «сдерживать обещание», *to break a promise* «нарушить обещание»; франц. *une blessure cuite* «рана печет, щиплет», *une fontaine joue* «фонтан бьет», англ. *a storm is raging* «буря бушует».

Мы специально выписали так много примеров, чтобы показать неслучайность принципа объединения сочетаний в группы. В одну группу И. Е. Аничков включает словосочетания вида $X + Y$. Слово X почти во всех приводимых им примерах имеет одно и то же общее значение (например, значение высокой степени), причем лексический способ его выражения обусловлен словом Y . Показательно в этом отношении следующее рассуждение: «мы с немцами говорим *большая ошибка* (*ein grosser Fehler*), французы — *толстая ошибка* (*une grosse faute*), а англичане — *плохая ошибка* (*a bad mistake*), мы — *твердо обещать*, французы — *обещать абсолютно* (*promettre absolument*), англичане — *обещать верно* (*to promise faithfully*), немцы — *крепко обещать* (*fest versprechen*) и т. д.» (Идиоматика-2, с. 2).

Иногда значение X -а в пределах одной группы примеров слегка варьируется, но в очень узком диапазоне пар антонимичных значений (*окладистая — жидкая борода*). Еще реже оно получает аспектуальные или фазовые надбавки типа начинательности (*восстание вспыхивает*), финитности (*разговор угасает*) и т. п.

Нетрудно заметить, что лингвистическая интуиция вела И. Е. Аничкова по тому пути, в конце которого 40 лет спустя было сделано одно из самых замечательных теоретических и лексикографических открытий последнего времени — открытие лексических функций [22, 14]. В частности, в цитированном выше материале И. Е. Аничкова представлены лексические функции Magn и Anti Magn, Oper₁ и Real₁, Func₀, IncepFunc₀ и FinFunc₀. Сама однородность классов привлекаемых к рассмотрению примеров показывает, как близок был И. Е. Аничков к открытию лексических функций.

4) Выведа свободные словосочетания из сферы синтаксиса и передав их в ведение идиоматики, И. Е. Аничков как последовательно мыслящий

ученый неизбежно должен был задаться вопросом, какая проблематика остается на долю синтаксиса. Его ответ на этот вопрос нам уже известен: предметом синтаксиса являются сочетания форм слов. «С точки зрения синтаксиса... *часы спешат* не отличается от *часы идут* и даже от *часы думают, слушают, плачут*. Эти последние группы, как бы бессмысленны они ни были, ни в какой мере не нарушают синтаксических норм» (Идиоматика-1, с. 1).

В этом рассуждении нетрудно обнаружить основную идею того, что тридцать лет спустя Н. Хомский назвал «автономным синтаксисом» [10] и что составило эпоху в развитии теоретической мысли в этой области. Н. Хомский, как известно, разграничил понятия синтаксической и семантической правильности предложений. Грубо говоря, предложение синтаксически правильно, если в нем соблюдены все грамматические согласования и правильно выбраны предлобно-падежные формы при управляющих словах. От синтаксически правильного предложения не требуется, чтобы в нем были выполнены еще и семантические согласования. Предложение *Бесцветные зеленые идеи яростно спят* бессмысленно, однако грамматически безупречно. Следовательно, правила построения («порождения») синтаксических конструкций могут быть сформулированы независимо от правил их лексического заполнения и семантической интерпретации.

Любопытно еще одно совпадение — характер примеров, послуживших И. Е. Аничкову и Н. Хомскому основанием для определения предмета синтаксиса. Скромные примеры И. Е. Аничкова — *Часы думают, слушают, плачут* — по существу вполне сопоставимы с только что процитированным знаменитым, породившим огромную литературу примером Н. Хомского.

Известно, что установки автономного синтаксиса в результате длительной и бурной дискуссии были признаны большинством лингвистов неосновательными. Синтаксис оказался чувствительным к лексико-семантическим классам слов, что впоследствии признал и сам Н. Хомский [23]. Однако из этой дискуссии и теоретический синтаксис, и общая лингвистическая теория вышли окрепшими и обогащенными новым знанием¹⁰. Нам остается только гадать, как пошло бы развитие лингвистики, случись подобная дискуссия на 30 лет раньше.

5) Остается выяснить, как И. Е. Аничков мыслит соотношение между идиоматикой и семантикой.

И. Е. Аничков не предложил собственной концепции семантики, но очень ясно обозначил свои ориентиры — М. Бреалья и П. М. Роже [29, 30] (первое издание книги П. М. Роже вышло в 1852 г.).

У М. Бреалья И. Е. Аничков заимствовал определение семантики как «науки о значениях», справедливо заметив, что после М. Бреалья «эта формула подвергалась двукратно ухудшению. Стало обычным определять семантику, как науку о значениях слов, и нередко можно встретить определение ее, как науки об изменениях значений слов. Последний вариант подкажан не изжитым еще в лингвистике, несмотря на критику де Соссюра, ... дурным историзмом, относящим рассмотрение языка в его современном состоянии или в определенную историческую эпоху...к „школьной“ или „практической грамматике“» (Идиоматика-2, с. 27). Возвращение к формуле М. Бреалья означало для

¹⁰ Ее конструктивным результатом как раз и явились те новые направления трансформационализма, которые были упомянуты в примеч. 4. См., в особенности [24—28].

И. Е. Аничкова представление о семантике как науке о значениях слов и и д о м, т. е. разного рода словосочетаний, в их синхронном состоянии.

Это еще не современное понимание семантики. Сейчас семантикой называется наука о значениях л ю б ы х содержательных единиц языка (лексем, фразем, граммем, синтаксических конструкций) и о п р а в и л а х, по которым из значений этих элементарных единиц складывается смысл целых высказываний. Несомненно, однако, что из всех существовавших в его время альтернатив И. Е. Аничков выбрал ту, которая в перспективе оказалась оптимальной.

У П. М. Роже И. Е. Аничков заимствовал представление об основной задаче описательной семантики. По Роже, она сводится к идеографической классификации слов и словосочетаний данного языка. Однако это общее представление И. Е. Аничков существенно детализировал и уточнил.

Первое уточнение касается оснований классификации: они должны быть чисто лингвистическими, а не логическими, психологическими или социологическими, как того хотели соответственно А. Дармстетер, В. Вундт и А. Мейе (Идиоматика-1, с. 17; Идиоматика-2, с. 28, 57). С другой стороны, они не могут быть априорными, как у П. М. Роже и Ш. Балли, а должны быть чисто эмпирическими и «выясняться по мере работы на основании наличного языкового материала» (Идиоматика-2, с. 27). Последнее замечание представляется нам весьма проициательным: априорность обесценила не только семантическую классификацию Ш. Балли, но и многие последующие классификации [31].

Второе уточнение касается классифицируемых единиц. Объектом классификации является не слово или словосочетание в целом, а каждое их значение в отдельности. «Слово или словосочетание, имеющее разные значения, должно встречаться в системе столько раз, сколько оно имеет значений» (Идиоматика-2, с. 25). Иначе говоря, многозначное слово или словосочетание в разных значениях должно попадать в разные семантические классы. С другой стороны, слова и словосочетания, имеющие одинаковые или близкие значения и одну и ту же синтаксическую функцию, должны попадать в один класс. Классификация в целом должна описывать, в частности, два главных семантических отношения между лексическими единицами: отношения синонимии и полисемии. Эту свою мысль И. Е. Аничков иллюстрирует следующим примером: английский фразовый глагол *fall out* имеет три значения: «выпасть (из чего-л.)», «поссориться» и «случиться». В первом значении он попадает в класс *fall out, come down* «упасть», *tumble down* «упасть, повалиться»; во втором значении — в класс *quarrel* «сориться», *fall out, part company* «расстаться, порвать отношения»; в третьем — в класс *happen* «случаться, происходить», *occur* «встречаться, попадаться, случаться», *fall out*.

Принцип выбора отдельного значения, а не всей вокабулы, в качестве объекта классификации настолько естествен, что кажется почти тривиальным. Чтобы оценить его нетривиальность и смелость, необходимо иметь в виду, что даже в словарях синонимов, выходявших через 30 и 40 лет после работ И. Е. Аничкова, объектом описания оставались целые слова и притом только слова. Это справедливо в отношении таких авторитетных синонимических словарей, как словари Бенака, Дудена и Вебстера [32—34].

В последнем из них рассматривается, например, следующий синонимический ряд: *mend, repair, patch, rebuild*. Глагол *mend* представлен в нем тремя значениями: 1) «ремонттировать, чинить» (одежду и т. п.), 2) «усовер-

шенствовать, исправлять» (манеры, поведение), 3) «заживать» (о ране). *Repair* включен в ряд тоже в трех значениях: 1) «ремонттировать» (машину и т. п.), 2) «восполнять» (недостатки образования и т. п.), 3) «совершенствовать» (отношения и т. п.). *Patch* представлен даже четырьмя значениями: 1) «чинить» (халат и т. п.), 2) «спасать от краха» (брак и т. п.), 3) «собирать из отдельных частей или деталей» (автомобиль и т. п.), 4) «составлять неполное представление на основе отрывочной информации» (о чьей-л. жизни и т. п.). Наконец, *rebuild* представлен двумя значениями: 1) «отстраивать заново, восстанавливать» (здание и т. п.), 2) «переделывать» (пишущую машинку).

Лишь в двух словарях синонимов [35, 36], изданных на рубеже 60-х годов, этот недостаток решительно преодолевается.

Третье уточнение касается понимания термина «phrase» в словаре П. М. Рोजе. В соответствии с господствующей терминологической практикой того времени, этот и другие идеографические и синонимические словари (включая и только что упомянутый словарь З. Е. Александровой) относили к числу «фраз» только идиоматичные словосочетания. Это, конечно, расширяет прежние представления о синонимии, потому что в синонимические ряды отныне включаются, наряду со словами, еще и фраземы. Ср., например, *бить, лупить, давать таску, драть как сидорову козу; вымысел, выдумка, басня, плод фантазии, бабы сказки; жаловаться, сетовать, плакаться, плакать в жилетку; заступаться, защищать, брать под защиту, поднимать голос в защиту, стоять горой*. Однако даже такие ряды не могут исчерпать синонимической (перифрастической) системы языка, так как свободные или почти свободные словосочетания, синонимичные отдельным словам, по-прежнему остаются за их пределами.

И. Е. Аничков делает новый шаг в сторону более полного описания синонимической системы языка. Развитая им теория идиом дает ему возможность рассматривать в качестве объектов классификации не только фраземы, но и свободные словосочетания. В результате весь этот материал занимает свое место в синонимических рядах. Ср. его примеры: *ватное (пальто) — (пальто) на вате, свободен — на свободе, дружны — в приятельских отношениях* наряду с *бежать — показывать пятки, далеко — на краю света — у черта на куличках — за тридевять земель* и т. п. Конечно, от таких рядов до обнаружения принципиально нового класса перифрастических отношений и формулировки алгебры перифразирования предстояло еще пройти большой путь¹¹. Но, как известно, путь даже в тысячу миль начинается первым шагом, и этот шаг довелось сделать именно И. Е. Аничкову.

4

Опережая свое время в одних отношениях, И. Е. Аничков оставался его верным сыном в других. Это сказалось, в частности, в том, что ему не удалось преодолеть чисто дефиниционной и классификационной ориентации тогдашней лингвистики. Многим в ту пору казалось, что главная задача синхронической лингвистики состоит в формулировке определений (что такое «слово», «часть речи», «предложение», «член предложения» и т. п.) и в классификации соответствующих объектов. И. Е. Аничков принимал эту установку. В его концепции семантики, например, не нахо-

¹¹ Заслуга открытия этого нового класса перифрастических отношений и формулировки алгебры перифразирования на основе лексических функций принадлежит И. А. Мельчуку и А. К. Жолковскому; см. [22, 14].

дится места для правил взаимодействия значений, хотя некоторые его современники уже догадывались, что такие правила существуют. Л. В. Щерба еще в 1931 г. писал: «Имею в виду здесь не только правила синтаксиса, но, что гораздо важнее,— правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые смыслы» [37].

Более того, в концепции И. Е. Аничкова нет места даже для такого традиционного класса правил, как лексикографические толкования. Значения слов и словосочетаний И. Е. Аничков считал «*н е д е л и м ы м и* смысловыми единицами (семемами)» (Идиоматика-2, с. 22; разрядка моя.— А. Ю.) Он подчеркивал: «Описательная семантика не должна давать...логических определений» (там же, с. 25); «Не дело семантики давать такие объяснения, как, например, глагола *лаять*: „испускать собачьи звуки“» (там же, с. 26).

Эта позиция тем более достойна сожаления, что Ш. Балли, непосредственный предшественник И. Е. Аничкова, работу которого И. Е. Аничков хорошо знал и ценил, предусматривал в семантике не только самый жанр толкований, но и то, что толкования должны выполняться на особом «интеллектуальном языке-идентификаторе» [16, 38], в котором можно видеть прообраз современных семантических языков [39—42].

И все же, оценивая идеи И. Е. Аничкова в целом, нельзя не признать, что их богатство, глубина и смелость более чем компенсируют встречающиеся в его работах отголоски архаичных представлений.

5

Давно замечено, что в России первопроходцам культуры всегда приходилось нелегко. Достаточно вспомнить страшные мартирологи русской литературы, составленные в свое время А. И. Герценом и Владиславом Ходасевичем. В. Ходасевич так заключает свой список: «Шобы, солдатчина, тюрьма, ссылка, изгнание, каторга, пуля беззаботного дуэлянта, не знающего, на что подымает он руку, эшафот и петля — вот краткий перечень лавров, венчающих „чело“ русского писателя» [43, с. 201].

Причины назывались разные. А. И. Герцен склонен был видеть их в особенностях российского государственного устройства, а В. Ходасевич — в пророческом характере русской литературы: пророков всегда и везде побивали камнями.

И. Е. Аничкову выпал похожий жребий. И, видимо, мы не ошибемся, если скажем, что его судьба была предопределена обоими названными факторами — и репрессивным характером тогдашнего государственного аппарата, и пророческим характером его учения.

Сейчас работы И. Е. Аничкова возвращаются к нам. Они вливаются во все расширяющийся поток книг, произведений искусства, научных исследований, впервые увидевших свет после долгого периода каменной опалы. Каждая такая публикация — не только акт восстановления справедливости по отношению к ее автору. Это одновременно и констатация невозможных потерь, понесенных обществом, которое не получило жизненно важного интеллектуального и нравственного заряда в момент высшей необходимости.

Время, в которое мы живем, вселяет некоторую надежду на то, что из трагического опыта прошлого будет, наконец, извлечен урок и что рецидивы подобных событий станут невозможны в нашей науке и культуре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аничков И. Е. О классификации, определениях и названиях частных языковедческих наук // Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1958. Т. 181, Вып. 3.
2. Аничков И. Е. Стилистика, лингвистика и литературоведение // Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1959. Т. 189. Вып. 2.
3. Аничков И. Е. Об определении слова // Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.; Л., 1963.
4. Аничков И. Е. О так называемых новых частях речи // Некоторые вопросы теории и методики преподавания германских языков. Нижний Тагил, 1964.
5. Аничков И. Е. Идиоматика идиом и идиоматика идиоматизмов (к учению о словосочетаниях) // Проблемы фразеологии. Исследования и материалы. М.; Л., 1964.
6. Аничков И. Е. Сознательность в обучении иностранным языкам // Программа и тезисы докладов IV Межвузовской научно-методической конференции по актуальным вопросам преподавания иностранных языков. Л., 1966.
7. Аничков И. Е. Можно ли считать проблему частей речи решенной? // Вопросы теории частей речи. На материале языков различных типов. Л., 1968.
8. Pike K. L. Grammatical prerequisites to phonemic analysis // Word. 1947. V. 3. № 2.
9. Pike K. L. More on grammatical prerequisites // Word. 1952. V. 8. № 2.
10. Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.
11. Кузнецов П. С. О последовательности построения системы языка // Тезисы конференции по машинному переводу. М., 1958.
12. Halliday M. Categories of the theory of grammar // Word. 1961. V. 17. № 3.
13. Benveniste E. Les niveaux de l'analyse linguistique // Preprint of Papers for the Ninth International congress of linguists. Cambridge (Mass.), 1962.
14. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл \Rightarrow Текст». М., 1974.
15. Потебня А. А. Из записок по теории словесности. 1905.
16. Bally Ch. Traité de stylistique française. Heidelberg, 1921.
17. Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // А. А. Шахматов. М., 1947.
18. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947.
19. Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова // ВЯ. 1953. № 5.
20. Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967. С. 25.
21. Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение: Общий курс лекций, читанных в 1901—1902 акад. году (литографированное издание). С. 68.
22. Жолковский А. К., Мельчук И. А. О семантическом синтезе // Проблемы кибернетики. 1967. Вып. 19.
23. Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1965.
24. Klima E. S. Current developments in generative grammar // Kybernetika. 1965. C. 2.
25. Lakoff G. Instrumental adverbs and the concept of deep structure // Foundations of language. 1968. V. 4. № 1.
26. McCawley J. D. The role of semantics in a grammar // Universals in linguistic theory. N. Y., 1968.
27. Fillmore Ch. J. The case for case // Universals in linguistic theory. N. Y., 1968.
28. Jackendoff R. S. Semantic interpretation in generative grammar. Cambridge. (Mass.) 1972.
29. Bréal M. Essai de sémantique. P., 1897.
30. Roget P. M. Everyman's thesaurus of English words and phrases. L.; N. Y., 1952.
31. Hallig R. und Wartburg W. Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. В., 1952.
32. Bénac H. Dictionnaire de synonymes conforme au Dictionnaire de l'Académie française. P., 1956.
33. Der grosse Duden. Bd 8. Vergleichendes Synonymwörterbuch. Mannheim, 1964.
34. Webster's New dictionary of synonyms. Springfield, 1968.
35. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1968.
36. Словарь синонимов русского языка / Под ред. Евгеньевой А. П. Л., 1970—1971.
37. Щерба Л. В. О трюмном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // ИАН, 1931. С. 68.
38. Bally Ch. Le langage et la vie. P., 1926.
39. Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8. М., 1964.
40. Wierzbicka A. Semantic primitives. Frankfurt-am-Main, 1972.
41. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
42. Wierzbicka A. Lingua Mentalis. Sydney, 1980.
43. Ходасевич В. Кровавая пища // Октябрь. 1988. № 6.

ГИНДИН С. И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ В КАМУН XX В.

Среди множества вопросов, встающих перед исследователем того небывалого обновления, которое переживал язык русской поэзии в начале нашего века, особое место занимают проблемы соотношения языкового развития и языкового сознания. Как шли к этому обновлению те, кому довелось его осуществлять? Была ли у них сознательная программа языковых преобразований? В какой мере реальные языковые процессы и их результаты совпали с программами и предвидениями? Как отражались происходившие изменения в сознании поэтов и читателей?

Однако задавшись всеми этими вопросами, лингвист неизбежно сталкивается со скудностью источников, документирующих русское «языково-поэтическое» сознание в камун XX в. Оживленное обсуждение проблем поэтического языка, ставшее привычным для специальной и общелитературной периодики к середине 1940-х годов, само было следствием процессов обновления русской поэзии. Для 1890-х и начала 1900-х годов такое обсуждение — явление непредставимое. Наиболее активное и многочисленное в те годы фофановско-надсоновское поэтическое поколение (генеральным смотром и одновременно фактическим итогом его деятельности стала антология [1]) поэтикой не интересовалось едва ли не демонстративно. Старшее поколение — Фет, Полонский, Майков — в своей переписке (но не в статьях!) обсуждало вопросы поэтического языка довольно активно. Но идея развития, эволюции языка поэзии им оставалась чуждой, так как вся их эстетика базировалась на представлении о «неизменной природе высокого и прекрасного» [2]. Да и чисто человечески для них, уже завершавших жизненный и творческий путь, вопрос о том, как будут писать поэты в новом веке, не мог представлять большого интереса. Однако и в самом юном поколении поэтов, которому, собственно, и предстояло открыть новый век русской поэзии, одни, как Бальмонт или Бунин, вообще не обнаруживали особой склонности к размышлению над проблемами поэтики, другие, как Анненский или Иванов, обратились к ним лишь в 900-е годы, когда «новая поэзия» и совершенный ею языковой переворот уже состоялись.

На этом фоне особое источниковедческое значение приобретают для лингвиста высказывания молодого Валерия Брюсова. Уже знаменитая дневниковая запись 22 марта 1893 г. о «языке Пушкина» и «ощущениях Fin de siècle» [3, с. 13] свидетельствует: ее 19-летний автор четко осознавал, что у поэзии существует свой «язык», что язык этот исторически детерминирован и по мере накопления подлежащих «выражению» новых явлений должен меняться. А ведь ни одно из этих двух положений не было среди поэтов и филологов конца века ни общепринятым, ни хотя бы широко распространенным! Другая, менее известная запись из рабочей тетради [4] показывает, что Брюсов уже в 90-е годы осознавал свою поэтиче-

скую деятельность как «связь» между двумя веками русской поэзии, как пролагание пути «юношам XX-го». Соответственно, и его суждения по проблемам поэтического языка были не частными вкусовыми замечаниями, а программой действий, истолкованием и предсказанием происходящих и предстоящих перемен.

Правда, свои мысли и суждения по вопросам поэтики Брюсов в 90-е годы (вообще не слишком щедрые для него на публикации) высказывал как бы «попутно» — не в сочинениях специального характера, а в предисловиях к поэтическим альманахам и сборникам [5—7], в газетном интервью [8] (брюсовскую заготовку к этому интервью см. в [9, с. 268]). По этой причине позднейшие теоретики-профессионалы их либо вовсе не замечали, либо подвергали сомнению их теоретический статус и значимость, считая случайными обмолвками или «несложными парадоксами» [10]¹. Однако подготовленный мною в настоящее время к печати (преимущественно по черновым автографам из рабочих тетрадей) обширный корпус неопубликованных статей Брюсова за 1893—1899 гг.² свидетельствует, что в эти годы Брюсов наряду с литературно-критическими, историко-литературными и полемическими работами постоянно был занят и замыслами собственно теоретических трудов — о сущности символизма, о природе и назначении искусства, о задачах и законах поэзии — и во всех них систематически обращался к проблемам поэтики. Соответственно, и суждения по вопросам поэтического языка, попадавшие в те годы в его печатные выступления, отнюдь не были случайными, но опирались на тонкое чувство поэтического языка и выверялись в процессе длительной работы.

Вместе с опубликованными источниками упомянутые рукописные теоретические материалы дают достаточно полное представление о том, какими виделись молодому поэту в канун нового века узловые проблемы, задачи и пути дальнейшего развития языка русской поэзии.

Почему неизбежно обновление поэтического языка. Обновление в сфере чувств. Самая ранняя из интересующих нас статей «Profession de foi» писалась как вступление к готовившемуся второму выпуску альманаха «Русские символисты». Начата она была в конце апреля 1894 г., а цитируемая далее уже вполне обработанная (несмотря на черновую характер рукописи) редакция (2.11, л. 75об—79об) создавалась между 2 и 9 июня того же года. В ней подробно исследован кардинальный для нашей темы вопрос — а почему, собственно, язык русской поэзии должен претерпеть обновление, какими причинами обуславливается необходимость его изменения и развития.

В качестве первой и ведущей причины Брюсов, как и в дневниковой записи от 22 марта 1893 г., выделяет изменение и обогащение самой жизни, действительности, отражением и выражением которой является поэзия: «Если разница так резко бросается в глаза, то это вина века. ...XIX сто-

¹ Показательно и выступление Ю. И. Левина в прениях по лежащему в основе данной статьи докладу на конференции «Язык русской поэзии XX в.» (ИРЯ АН СССР, ноябрь 1984). Ю. И. Левин заявил, что хотя он не может указать ни одного конкретного источника, но уверен, что Брюсов просто не мог выдвинуть ничего оригинального и наверняка все свои положения откуда-то заимствовал.

² Все они хранятся в фонде 386 Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Цитаты из них сопровождаются ниже смысловой, состоящей из номеров картона и единицы хранения, разделенных точкой, и номера листа по архивной (не по авторской) нумерации. Зачеркнутые слова приводятся в квадратных скобках, добавленные мною — в угловых. Подчеркивания оригинала воспроизводятся разрядкой.

летие в развитии сделало громадные шаги» (2.11, л. 78)³. Однако усложнение внешнего мира и изменения условий жизни влияют на развитие поэзии и ее языка не сами по себе, а лишь опосредованно — через связанные с ними изменения внутреннего мира, душевной жизни человека: «Внешнему развитию соответствует внутреннее, и современный человек, человек конца века уже дальше отстоит от людей начала века, чем, например, современники Людовика XV отстояли от современников Франциска I. Особенно развилась жизнь чувства <...> Для выражения этих новых ощущений, естественно, потребовались новые средства» (2.11, л. 78, 79). Ситуация, когда требуются «новые средства», по мнению Брюсова, «не в первый раз» возникает в истории литературы: «Еще прошлый век почти не знал наших маленьких лирических стихотворений <...> Более широкий пример: новое время создало... субъективный роман, поэму etc.» (2.11, л. 79).

В чем же состояло то новое, что отличало внутренний мир людей «конца века»? Развивая и обосновывая краткий намек, брошенный им в предведомлении к первому выпуску «Русских символистов» (5, с. 27), Брюсов теперь предпочитает говорить не о «настроениях», а о более общей и более привычной для поэзии категории — чувствах. Изменения сферы чувств он старается проследить исторически: «Древность знала только самые общие выражения чувств — типы их, основные краски. Полутени стали появляться в поэзии, а, следовательно, и в жизни только в [XVII] XVIII веке. <...> Гейне уже знал целую гамму переходных чувств, но и он лишь смутно угадывал тот мир едва уловимых ощущений, не красок, не переходных цветов — а оттенков, который так понятен современному человеку» (2.11, л. 78—78об). Вот эти-то «едва уловимые ощущения», «оттенки» чувств и стали той психологической реальностью, необходимость художественного освоения которой в преддверии XX в. потребовала от поэзии поисков нового языка: «Передавать оттенки чувств обихованными формами поэзии невозможно — потому что нет названий и слов для них — остается искать новые пути для того, чтобы передать читателю желаемое» (2.11, л. 79).

Активизация читательского сотворчества. Расширенная трактовка понятия «языка поэзии». В последней из приведенных цитат заслуживает внимания различие формулировок констатации и призыва. Брюсов указывает, что для новых эмоциональных явлений «нет названий и слов», а искать предлагает «новые пути, чтобы передать читателю желаемое». Создается впечатление, что найти просто новые «названия и слова» он не надеется или не считает возможным. Исток этого скептицизма понять нетрудно: ведь новые ощущения сами по себе «едва уловимы», а все, что может получить постоянное название, закреплено словом, тем самым уже обладает достаточной определенностью. Вместе с тем признание «нет названий и слов» свидетельствовало, что для Брюсова становились тесны рамки разделившегося им в упомянутой дневниковой записи 1893 г. обычного «номенклатурного» понимания поэтического языка как совокупности (или даже системы) собственно языковых элементов — «слов и выражений», — взятых *in potentia*, безотносительно к конкретному произведению. Не случайно ведь и говоря о предшествующих исторических случаях обновления языка поэзии, Брюсов в качестве примера приводил, как мы видели, отнюдь не новые языковые элементы или классы таких элементов,

³ Второй причиной Брюсов считал старение поэтического языка: «Есть еще другая причина изобретения нового языка. Язык теряет свою изобразительность» (2.11, л. 79).

а новые жанры, т. е. типы поэтических произведений.

Какие же «новые пути изобразительности» виделась Брюсову? Главное направление поиска в «Profession...» указано лапидарно, но четко: в символизме поэзия «находит новый способ возбудить фантазию, заставить ее работать. Получив два-три ясных представления, фантазия, воображении невольно ищет между ними связи, работает» (2.11, л. 79). Активизация читательского восприятия, принимаемого в расчет уже при создании произведения поэзии и становящегося как бы структурным элементом этого произведения, — вот тот конструктивный признак, которым объединены, по мнению Брюсова, все разновидности «нового течения» и который оправдывает даваемое иногда последнему имя «поэзии намеков» (2.11, л. 79).

Но читательское восприятие, сотворчество всегда связаны с конкретным произведением. Поэтому введение в рассмотрение такого конструктивного принципа (равно как и примеры появления новых жанров) было шагом к осмыслению поэтического произведения, его общей структуры — прежде всего семантической — как категорий поэтического языка. При понимании поэзии как отражения и выражения действительности такое расширение понятия «язык поэзии» было закономерным: семантическая сила языка, принципы отображения действительности в конечном счете проявляются именно в текстах этого языка. В выросшем из «Profession...» «Ответе» — печатной редакции предисловия ко 2-му выпуску «Русских символистов» — свойства семантической структуры произведения окажутся уже предметом явного внимания, а отмежевание от тех, кто стремится к обновлению лишь состава поэтического языка, — специально оговоренным.

Недоопределенность как важнейшая черта семантической структуры поэтического произведения. Типы неопределенности. Отделенный от проанализированной редакции «Profession...» несколькими промежуточными редакциями и вариантами, «Ответ» несет следы воздействия идей Александра Добролюбова, знакомство с которым явилось заметным событием в брюсовской духовной жизни (см. [3, с. 17—18]). Но за исключением восходящей к Добролюбову (см. [11]) аналогии последовательности литературных течений со стадиями формирования мысли в сознании индивида, все теоретические построения «Ответа» так тесно связаны с аналогичными построениями «Profession...» и так органически развивают наметившиеся там тенденции, что заподозрить в них влияние Добролюбова нет никакой возможности.

Первая попытка классификации разновидностей символизма также была предпринята именно в «Profession...»: 1. Направление, сближающее поэзию с музыкой (...) так что впечатление от стихо(т)в(орения) во многом (а иногда исключительно) зависит от звуков слов. Таковы некоторые стих(и) Верлана и Метерлинка (напр., „Les Raons“), большинство стихотворений Лафорта и особенно Гиля (...). 2. Школа, первыми деятелями которой были последователи Теофиля Готье и Боделера. На первом плане стоят странные обороты речи, дерзкие метафоры, [иногда непонятные] сравнения. (...) главный представитель этого течения — Метерлинка. Сильно развито оно еще у Ренья (...). 3. Собственно символическое. Ряд символов, или, проще, образов, с первого взгляда не имеющих между собой ничего общего, производит известное впечатление на читателя, вызывает в нем известные настроения. Таковы лучшие стихотворения Верлана (напр., „Небо над городом плачет“) и особенно... его учеников. Таковы же наиболее „странные“ стихотворения Метерлинка (напр., его известное

„Теплицы среди леса“). С этим направлением можно сблизить некоторые стихи Фета (напр., „Бура на небе вечернем“). <...> 4. Течение, наиболее полно выражающееся в драмах Метерлинка. За внешним содержанием скрывается еще другой смысл, так что произведения этого рода очень близко подходят к аллегории. Таковы еще „сонеты“ Маллармэ. Важно, однако, то, что самая внешность этих произведений представляет целый ряд особенностей. В сонетах Маллармэ только намечены главные черты содержания...» (2.11, л. 77).

Легко заметить существенную эмпиричность приведенной классификации. Брюсов просто перечисляет известные ему направления — возникли завтра пятое, его можно будет включить в классификацию, не перестраивая ее. Каждое направление выделяется на основе собственного ведущего признака, единое основание отсутствует. Признаки разноприродны — два первых направления определены через ярусы структуры поэтического языка, которым в этих направлениях уделяется особое внимание, а третье и четвертое — через особенности плана содержания отдельного поэтического произведения. Подобные несовершенства и внутренние противоречия послужили стимулом к развитию классификационной схемы.

Классификация «Ответа» [7, с. 29] с первого взгляда кажется очень похожей на приведенную — частично совпадают и выделяемые рубрики, и приводимые примеры. Может даже показаться, что внесенные изменения носят частный характер, а большая сжатость изложения только уменьшает его доходчивость. На деле же произошла принципиальная перестройка, затронувшая не только результаты классификации (набор выделяемых элементов), но и ее задачи и основания.

Прежде всего, классификация «направлений» символизма превратилась в классификацию «произведений». Неслучайность данной замены подтверждается ее согласованностью с изменениями критериев и результатов классификации. Из классификационных рубрик «Profession...» в «Ответе», правда, в преобразованном виде, но сохранились 3-я и 4-я, — те, что были выделены на основании особенностей семантики целого произведения. В то же время оба направления, выделявшихся по признаку обновления отдельных ярусов поэтического языка — фонетики и лексики и фразеологии, — теперь подчеркнуто выведены за пределы символизма: «...я не считаю символическими те из них (произведений. — Г. С.), которые отличаются одной странностью метафор, сравнений, вообще смелыми тропами и фигурами <...> Наконец, столь прославленное сближение поэзии с музыкой я считаю тоже одним из средств, которыми пользуется символизм, а не его сущностью» [7, с. 29—30]; о несогласии с теорией, по которой «все отличие школы символизма... только в стиле», см. также в интервью [8, с. 3]⁴. Сущность символических произведений Брюсов теперь склонен видеть в некотором свойстве их плана содержания, непосредственно связанном со сформулированным в «Profession...» требованием активизации читательского воображения.

Присмотримся к тому, как описаны в «Ответе» те рубрики, что перешли из «Profession...». Составлявшие ранее единое «направление» драмы Метерлинка и сонеты Маллармэ разнесены в «Ответе» по разным видам, а свойство, на основании которого раньше выделялось это направление, — наличие «второго смысла» — теперь даже не упоминается (позднее в

⁴ Хотя теория и практика могут, конечно, расходиться, все эти высказывания молодого Брюсова заставляют с осторожностью отнестись к попыткам истолковать его собственные поэтические поиски как направленные на «номенклатурное» обновление, на создание «индивидуального и небылого» поэтического языка [12].

«От автора» и в «Апологии символизма» Брюсов поведет с теорией «двух смыслов» открытую борьбу). «Вид», представленный сонетам Малларме, определен теперь через свойство, родственное тому, которое в «Profession...» подавалось лишь как дополнительная, второстепенная их характеристика («...только намечены главные особенности содержания» — 2.11, л. 77). В таком варианте характеристика этого вида заметно сближается с оставшейся без изменений характеристикой третьего вида. Наконец, с ними обеими согласована и построенная совершенно заново характеристика второго вида. В результате классификация «Ответа» производит впечатление теоретически последовательной и базирующейся на некотором общем основании. И такое впечатление немедленно подтверждается текстом статьи. Брюсов попросту называет это общее основание и затем показывает, как выводится из него все три «вида» классификационной схемы: «Вы, конечно, уже по моим определениям заметили, что я нахожу между ними (видами. — Г. С) общего. Очевидно, во всех трех случаях поэт **передает ряд образов, еще не сложившихся в полную картину, то соединяя их как бы в одно целое, то располагая в сценах и диалогах, то просто перечисляя один за другим. Связь, даваемая этим образам, всегда более или менее случайна, так что на них надо смотреть, как на вехи невидимого пути, открытого для воображения читателя. Поэтому-то символизм можно называть, как непосредственно делаете и Вы, — „поэзией намеков“**» [7, с. 30].

Отсутствие «полной картины» изображаемого, н е п о л н о т а, недоопределенность плана содержания — таково указываемое в «Ответе» общее свойство всех «символических произведений», благодаря которому в них решается выдвинутая в «Profession...» задача активизации читательского сотворчества. А виды символических произведений отличаются тем, в каком именно аспекте семантической структуры целого допускается в них недоопределенность. Если использовать современную терминологию, которая, конечно, несколько огрубит брюсовские нечеткие дефиниции, то три выделяемых в «Ответе» вида предстанут, соответственно, как основные на:

1) неполной определенности ситуации («полная картина», в которой «не обозначено несколько существенных признаков»),

2) неполной определенности сюжета («сцены имеют значение не столько для развития действия, сколько для создания впечатления»),

3) неопределенности общей композиции произведения, его кажущейся композиционной несвязности («бессвязный набор образов»).

Функциональная природа единства символического произведения. Слово поэтическое и слово бытовое и научное. В совокупности три вида неопределенности охватывают, пожалуй, все основные традиционно выделяемые аспекты структуры плана содержания целого произведения, что говорит о полноте классификации. Однако при знакомстве с данными положениями Брюсова естественно возникает два вопроса. Где пределы допустимой неопределенности, не приведет ли, в частности, ослабление сюжетных или композиционных связей к распаду целого? И каково соотношение выявленных свойств общей семантической структуры произведения с семантическими характеристиками отдельного слова в этом произведении? [В прениях по докладу (см. примеч. 1) В. А. Сапогов принципиально отметил, что рядом с неопределенностью ситуации, сюжета и композиции следовало бы поставить четвертый тип — неопределенность значения слова]. Оба эти затруднения, хотя и с разной степенью основательности, были рассмотрены Брюсовым в его следующих теоретических работах — «От автора» и «Апология символизма».

«От автора» была написана на рубеже 1895—1896 гг. как введение к готовившемуся Брюсовым сборнику статей о современной поэзии, и большая часть ее также посвящена критическому обзору. Но и теоретическая ее часть, несмотря на краткость, имела особое значение. Полемизируя с «Ответом», Брюсов высказал здесь взгляд на символизм не как на очередную школу в истории поэзии, а как на переворот, впервые обращающий поэзию к ее сути. До символизма поэзия синкретически совмещала в себе различные функции и способы воздействия, а «символизм хочет производить впечатление именно средствами поэзии» как таковой (3.16, л. 56). отождествив символизм со всей поэзией, Брюсов отказывается и от былых семантических ограничений, согласно которым символическое произведение должно обязательно передавать «едва уловимые ощущения» или «настроения»: «...не это цель поэзии. Поэзия — прежде всего примирение идей, под которыми я разумею в с е психические факты в жизни человека и... вообще вселенной...» (3.16, л. 55об—56).

Различие между разновидностями символизма в «От автора» признается несущественным: «Всякое символическое произведение состоит из ряда образов, символов, связь которых зависит исключительно от того, что соединение их производит известное впечатление на поэта и на читателя. Образуют ли эти образы целую картину („Ворон“ Эдгара По) или просто перечисляются один за другим („Теплицы“ Метерлинка) — это безразлично» (3.16, л. 56). Продитированная характеристика получена как бы объединением спецификаций, которые в «Ответе» давались второму и третьему виду. Но теперь Брюсов подчеркивает не отрицательный признак, каким в конечном счете являлись и отсутствие связи, и все виды неопределенности, а положительный — то, что связь все же присутствует, хотя и достигается не вполне обычным путем.

Признание источником связи взаимодействия «образов» в процессе создания и восприятия произведения (т. е. опять же с участием читателя) неизбежно заставляло большее, чем в прежних работах, внимание уделить семантике отдельного слова, механизму его функционирования в произведении. Брюсов считал, что при «соединении» образов в символическом произведении «роль слов как выразителей п о и я т и й совершенно уничтожается — и это одно из важнейших приобретений символизма. Слово, которое тащат по рынкам и которым пишут научные трактаты, неблагоприятный материал (<...> Мы, поэты, были бы счастливы, если б нашли другой..., пока же мы должны совершенно забыть обычное употребление слова» (3.16, л. 56). Необходимость производить впечатление «соединением образов», забывая при этом «обычное употребление слова», усиливает внимание к звуковому облику слова (3.16, л. 56—55об).

Субъективизация предмета изображения в новой поэзии. И мысль об отталкивании от обиходного и научного словоупотребления, и подчеркивание значимости звукового облика слова предвосхищали футуристические и опоздовские концепции поэтического языка — недаром центральная реплика «Футуриста» о сущности поэзии в позднейшем диалоге Брюсова о футуризме [13] звучит как цитата из «От автора». Но сам Брюсов в выросшем из теоретической части «От автора» трактате «Апология символизма»⁵ предпочел обратиться к более глубокому семантическим яв-

⁵ Из нескольких редакций «Апологии» опубликована — и то совершенно неудовлетворительно — лишь одна [14]. Далее анализируется редакция из тетради 25, законченная 13 февраля 1896 г. Ее теоретический характер подчеркнут в альтернативном заглавии, данном ей в оглавлении тетради: «О искусстве: подробное изложение моих взглядов» (3.4, л. 58об).

ниям, связанным с особенностями поэтического отображения мира.

Стремясь доказать, что «неопределенность», «неточность» — неотъемлемое свойство новой поэзии, коренящееся в специфике принесенного этой поэзией видения мира, Брюсов предпринимает сравнительный анализ двух стихотворений, написанных как бы на одну и ту же тему — об осени. Тема времени года, по самой своей природе допускающая целую шкалу степеней обобщения от конкретного пейзажа до философских lamentаций, создавала хорошие возможности для типологического анализа поэтического мышления и видения мира (ср. показательное совпадение брюсовского выбора с выбором, осуществленным в работе [15]).

Прочитывая начальное пятистишие и всю седьмую строфу пушкинской «Осени», Брюсов замечает: «Посмотрите, какие эпитеты! все взяты из природы! „Последние листья“, „осенний холод“ etc. В первой строфе нам нарисована картина... — вероятно, то, что Пушкин видел перед собой в окне. Картина невольно представляется нашим глазам и, созерцая ее, мы испытываем впечатление, смотря по тому, как обыкновенно влияют на нас осенние картины» (3.4, л. 17об). Итак, характерными чертами «до-символической» поэзии, представляемой Пушкиным, Брюсов признает конкретность, единичность изображаемого и способствующую этому объективность эпитетов, схватывающих характерные, внутренне присущие свойства объектов.

Поэзию символизма представляет «Осенний вечер» Тютчева. Эпитеты в нем принципиально отличны от пушкинских: «Разве осенние вечера прежде всего отличаются светлостью? разве из природы взяты эпитеты „умильная, таинственная прелесть“? „томный шелест“? Земля названа грустно-сиротеющей, что не есть ни сравнение, ни определение» (3.4, л. 18об). Немало странного и в выборе и употреблении других тропов: «...два [бож(ественных)] слова „ущерб изнеможенья“ невозможно объяснить ничем иным, как правилом Берлза выбирать слова с некоей неточностью» (там же). В итоге сам предмет изображения, содержание поэтического произведения в целом оказывается у Тютчева совсем иным, нежели у Пушкина: «Тютчев не нарисовал нам картины — деревья, лазурь, ветер — это не картина, это есть везде — но Тютчев передал нам настроение, передал его непосредственно...» (3.4, 18об). Пушкин рисует обладающую индивидуальными чертами ситуацию внешнего (по отношению к поэту) мира. Тютчев же, обозначив лишь некоторые обобщенные признаки этой ситуации, главным предметом изображения делает возникающие под ее воздействием внутренние переживания поэта. Объекты внешнего мира в «символической» поэзии даются не непосредственно, а лишь через призму настроений⁶, которые они пробуждают в поэте: «Пушкин, и вообще классическая поэзия изображала картину, сцену, фигуру, чтобы, созерцая ее, читатель вынес приблизительно то же впечатление, как созерцая то же самое (явление) в действительности. Тютчев же и символизм — прямо, непосредственно передает настроение, особым сочетанием слов, особым ритмом, особыми образами, часто противоречащими действительности» (3.4, л. 19).

⁶ О том, что поэзия может и должна изображать лишь впечатления от явлений внешнего мира, а не сами явления, писал Ст. Мадларме в известной Брюсову статье «О стихах и о поэзии». Но Мадларме видел в этом обязательное свойство поэзии вообще: «Только в торговле говорят о самой реальности вещей» (перевод Брюсова — 3.4, л. 25). Брюсов же нашел здесь диагностический признак, позволяющий дифференцировать разные виды поэзии, разные типы поэтического видения мира.

Семантические принципы соединения слов. Разговор об «особых» сочетаниях слов и образах возвращал Брюсова к особенностям семантики поэтического слова. В «Апологии» ему удается преодолеть наблюдавшуюся в «От автора» механистичность противопоставлений поэтического и обиходного значений слова и значения звучанию. И в поэзии «ценность слов» отнюдь не лежит «вне значения», как полагал Т. Готье. Само значение слова оказывается образованием сложным, включающим в себя ряд различных явлений: «Значение слова тройное: 1) оно вызывает известное понятие; 2) оно напоминает те обстоятельства, в которых обыкновенно употребляется; 3) оно вызывает известное впечатление своим звуком» (3.4, л. 21). Сегодня это брюсовское построение легко квалифицировать как примитивное. Важное, однако, заметить, что в нем были сделаны два принципиальных для развития поэтического сознания (и неординарных и для языкознания той эпохи) шага. Во-первых, показано, что вне поэзии, в обиходном употреблении значение слова не сводимо к «понятию», и назван конкретный семантический пласт, включаемый в значение наряду с понятием, — «напоминание» об «обстоятельствах» употребления. Во-вторых, впечатление от звуковой формы слова также включено в значение на правах одной из компонент (здесь один из истоков позднейшего брюсовского нетрадиционного решения общего вопроса о соотношении формы и содержания в поэзии, см. [16], а также [17]).

Такое представление структуры значения слова позволяет Брюсову иначе взглянуть на специфику поэтического словоупотребления. Обиходное значение в поэзии не игнорируется. «Символизм пользуется всеми тремя значениями слов», утверждает Брюсов. Необходимый же для символической поэзии перенос «центра тяжести» с изображения внеположенных поэту объектов на передачу внутреннего состояния самого поэта достигается изменением соотношения трех слов значения. Свое представление о сути этого изменения Брюсов демонстрирует в разборе конкретного примера, взятого опять-таки из Тютчева: «Тютчев говорит:

Сны играют на просторе
Под магической луной

Луна не может быть магической. соединить эти два понятия в природе очень трудно, но то впечатление, которое производит слово „магический“ (магия, таинственность) и слово „луна“ (ночь, неопределенность, таинственное), сливаются в душе в то настроение, которое желает передать поэт» (3.4, л. 21; далее без разбора приведен второй пример: «Чуткие звезды глядят с вышины»). Невозможность «соединить понятия в природе» в современных семантических терминах следует, по-видимому, описать как соединение слов на основе каких-то иных компонентов их значения, нежели депотативные. «Впечатление», производимое каждым из соединяемых слов, Брюсов описывает, стремясь реконструировать стоящие за ним ситуации и, по-видимому, имеет в виду вторую из выделенных им компонент значения, которую можно определить как ситуативно-коннотативную. Вместе с тем фактическое описание ведется путем указания рядов семантически соотнесенных слов и поэтому отражает наряду с ситуативно-коннотативной и собственно сигнификативную компоненту значения. Понятно, что если соединение слов регулируется не депотативным, а сигнификативно-коннотативным слоем их семантики, степень неопределенности, непредсказуемости результирующей комбинации слов должна была возрастать. Теперь для Брюсова было ясным, что «новая поэтика» не ограничивается

характеристикой произведения как целого, но «должна преобразовать все учение о тропах, фигурах и других поэтических украшениях речи, весь этот хлам современной схоластики» (3.4, л. 21).

Субъективизация изображения как основа разграничения поэзии и лирики. Судьба двух важнейших выводов «Апологии» в дальнейших теоретических раздумьях молодого Брюсова оказалась различной. К идее соединения слов не по предметным, а по коннотативно-ситуативным аспектам их значения он в прямой форме, насколько мне известно, больше не возвращался (возможно, почувствовав недостаточность своей семантической номенклатуры для серьезной разработки вопроса). Зато феномен субъективизации изображения продолжал занимать Брюсова в течение ряда лет. В конце марта 1896 г. он возвращается к нему в реферате «К истории символизма» (опубликован, с неточным отнесением к 1897 г., в [9, с. 269—270]), семь месяцев спустя — во «Введении» к «Истории русской лирики» (соответствующий фрагмент опубликован в [18, с. 193]), затем в недатированном анализе пушкинской надписи «К портрету Жуковского» ([19] с редакционными искажениями пунктуации) и, наконец, в январе — феврале 1898 г. в статье «Я и Лев Толстой» (см. фрагмент, опубликованный в [18, с. 194]; о замысле в целом см. [20]).

Недостаток места не позволяет подробно проследить перипетии брюсовской мысли, остановилось лишь на главном изменении, окончательно зафиксированном во «Введении». В «Апологии» символический и «классический» подходы к изображению трактовались как исторически сменяющие друг друга способы достижения в общем одной и той же цели, из которых более новый символический способ объявлялся более совершенным. Во «Введении» на смену историко-литературному разграничению пришло типологическое, теоретико-литературное. Теперь противопоставлялись не две стадии в развитии одного рода литературы, а две часто смешивающихся, но в принципе совершенно различных ее разновидности: «поэзия» и «лирика». Выделить эти разновидности можно в творчестве «поэтов всех времен», и, следовательно, специфика символизма может заключаться лишь в преимущественной концентрации на одной из них, а именно «лирике». Так субъективизация изображения в символической поэзии впервые интерпретируется Брюсовым как л и р и з а ц и я поэзии.

В статье «Я и Лев Толстой», правда, вновь появились термины «классическая» и «символическая поэзия». Но это не означало отказа от теоретико-типологической трактовки двух подходов к поэтическому изображению. Недаром если в «Апологии» декларировалось превосходство символизма над предшествовавшими школами, то в «Я и Лев Толстой» Брюсов находит необходимым указать, что каждому из подходов в равной степени присущи некоторые «недостатки» и на обоих путях поэтов подстерегают «опасности».

То, что Брюсов в конечном счете сделал выбор в пользу типологической трактовки дихотомии, подтверждается и ее дальнейшей судьбой в «печатный период» его критического творчества. В своих поздних статьях Брюсов будет употреблять термин «лирика» именно для обозначения той разновидности поэтического творчества, в которой изображение объектов внешнего мира опосредовано их субъективным восприятием. Если в 1910 г. мы встречаем почти буквальное повторение формулировок о различии пушкинских и тютчевских эпитетов, завершавших в [19] анализ «К портрету Жуковского» [21], то в 1915 г. эта конценция распространится на всю структуру поэтического высказывания: «...творчество Блока всегда остается чисто лирическим, он всегда выбирает выражения и эпитеты не по объективным признакам предметов и явлений, но согласно со своим субъективным

отношением к ним. В стихах Блока автор никогда не исчезает за своими образами; личность всегда перед читателем [22]. Эти позднейшие суждения благодаря своей структуре — переход от принципов выбора эпитетов к общим законам построения поэтического высказывания у Блока — счастливо выявляют ту интенцию, которую с самого начала имели брюсовские размышления о субъективизации. И ограниченные материалом эпитетов, они показывали, как в новой поэзии даже в мельчайших клетках поэтической ткани сказывается присутствие автора. По существу, эти наблюдения Брюсова были определенным филологическим аналогом тех постулатов о неустранимости наблюдателя, которые в первой четверти XX в. будут введены в физическую картину мира.

Выводы. Общие контуры брюсовской программы обновления поэтического языка. Рассматривая брюсовские работы в порядке их написания, мы видели, что, как правило, последующие работы не отрицали предшествующих, а дополняли и углубляли их. Поэтому, хотя Брюсов в 90-е годы не написал итогового труда по вопросам поэтики, все основные положения его разновременных работ в совокупности образуют достаточно согласованную систему. Брюсовская программа развития языка русской поэзии может быть суммирована в следующих тезисах:

1. Обновление языка поэзии — необходимость, обусловленная прежде всего развитием и усложнением внутренней жизни человека, а также постепенным устареванием элементов самого этого языка.

2. Обогащение выразительных средств русской поэзии предстоит вести не столько за счет расширения инвентаря единиц поэтического языка, сколько за счет изменения семантической структуры поэтического произведения как целого.

3. Ведущим принципом такого изменения является активизация читательского восприятия, становящегося одним из конструктивных факторов семантики произведения.

4. Средством для подобной активизации является неполная определенность, или недоопределенность, тех или иных аспектов и планов семантической структуры произведения.

5. Важнейшими разновидностями недоопределенности семантической структуры являются: *недоопределенность описываемой ситуации, недоопределенность сюжета, недоопределенность композиции.*

6. Наряду с неполной определенностью важнейшим для новой поэзии принципом перестройки семантической структуры произведения является субъективизация изображения, при которой явления внешнего мира подаются исключительно через призму авторского впечатления от них.

7. Субъективизация также способствует возрастанию неопределенности, но имеет и самостоятельное значение, состоящее в том, что «внутреннее я» поэта становится основным содержанием поэзии. Символизм и есть по преимуществу такая субъективизированная поэзия, или «лирика».

8. Внутренний механизм увеличения неопределенности и субъективизации изображения кроется в изменении принципов комбинации слов, происходящей на основе не предметных, а коннотативно-ситуативных компонент словесных значений.

Объем статьи не позволяет остановиться на сопоставлении этой программы с реальным развитием русской поэзии в XX в. Думается, что такое сопоставление (в связи с п. 6—7 см., например [23]) подтвердит глубину и плодотворность программы и прозорливость ее автора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Молодая поэзия / Сост. Перцовы П. и В. СПб., 1895.
2. Фет А. А. О литературе и искусстве / Сост. Бухштаб Б. Я. // Русские писатели о литературе. Т. 1. Л., 1939. С. 433.
3. Брюсов В. Я. Дневники: 1891—1910. М., 1927.
4. Ильинский А. А. Литературное наследство Валерия Брюсова // Литературное наследство. 1937. Т. 27/28. С. 494.
5. Маслов В. А. [Брюсов В. Я.] От издателя // Брюсов В. Я. Собр. соч. Т. 6. М., 1975.
6. Брюсов В. Я. [Предисл. к 1-му изд. кн. Chefs d'oeuvre] // Брюсов В. Я. Собр. соч. Т. 1. М., 1973.
7. Брюсов В. Я. Ответ // Брюсов В. Я. Собр. соч. Т. 6. М., 1975.
8. Арсеный Г. [Гурлянд И. Я.] Московские декаденты // Новости дня. 1894. 29 авг., № 4026.
9. Локс К. Г. Брюсов — теоретик символизма // Литературное наследство. 1937. Т. 27/28.
10. Тынянов Ю. Н. Валерий Брюсов // Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. С. 265.
11. Иванова Е. В. Валерий Брюсов и Александр Добролюбов // ИАН СЛЯ. 1981. № 3. С. 257.
12. Гинзбург Л. Я. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1974. С. 253.
13. Брюсов В. Я. Здравого смысла тартарары // Брюсов В. Я. Собр. соч. Т. 6. М., 1975. С. 423—424.
14. Брюсов В. Я. Апология символизма // Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. М. Н. Покровского. 1940. Т. 4. Вып. 2.
15. Науменко И. Мир живой, очеловеченный... // Вопросы литературы. 1982. № 7.
16. Брюсов В. Я. Miscellanea // Брюсов В. Я. Собр. соч. Т. 6. М., 1975. С. 380—381.
17. Гиндин С. И. Вклад Валерия Брюсова в изучение теории русской поэтической речи // РЯШ. 1973. № 6. С. 30.
18. Гиндин С. И. [«История русской лирики» —] Неосуществленный замысел Брюсова // Вопросы литературы. 1970. № 9. С. 193.
19. Брюсов В. Я. О поэтическом языке // Русская речь. 1972. № 4.
20. Гиндин С. И. Эстетика Льва Толстого в восприятии и эстетическом становлении молодого Брюсова // Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. 1987. Вып. 46.
21. Брюсов В. Я. Ф. И. Тютчев: Смысл его творчества // Брюсов В. Я. Собр. соч. Т. 6. М., 1975. С. 206.
22. Брюсов В. Я. Александр Блок // Брюсов В. Я. Собр. соч. Т. 6. М., 1975. С. 441.
23. Гиндин С. И. Поэзия В. Я. Брюсова. М., 1973. С. 62—63.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Doerfer G. Mongolo-Tungusica/Hrsg. von Weiers M. Wiesbaden, 1985. 307 S. (Tungusica. Bd 3.)

Будучи убежденным сторонником концепции контактного происхождения алтайской общности, Г. Дёрфер продолжительное время занимается исследованием материалов тюркских, монгольских и тунгусских¹ языков, уделяет много внимания объяснению природы существующих между ними связей. Как и многие другие алтаисты, он придерживается той точки зрения, что взаимодействие алтайских языков происходило в виде ступенчатого и преимущественно одностороннего влияния: тюркские языки влияли на монгольские, монгольские — на тунгусские. Влияние в обратном направлении допускается в значительно меньших масштабах, тогда как возможность непосредственных тюркско-тунгусских контактов либо ставится под сомнение, либо вовсе исключается².

В рецензируемой книге Г. Дёрфер ставит цель исследовать монгольско-тунгусские языковые связи приемами лингвистической географии. В результате тщательного изучения большого количества словарей, грамматических работ, диалектных описаний и других источников, перечисленных в библиографическом списке, он устанавливает шесть ареалов распространения монголизмов в тунгусских языках: W — западный диалект эвенкийского языка; E — восточный диалект эвенкийского языка; S — солонская группа; M — маньчжурский язык (с чжурчженским); Z — центральная зона (удгейский, орокский, кили, нанайский, удьчский, орокский, негидальский языки); L — эвенская группа. По времени заимствования выделены четыре пласта:

древний, или древнейший; новый; частично древний; неопределенный (лишенный дифференциальных признаков какого-либо из первых трех). Отличительные признаки древнего, или древнейшего, пласта: в ареале M — сохранение начального губного согласного (пратюрк. **parka* = др.-тюрк. *arg*, халадж. *harq* = м.-п. *harqal*, маньчж. *fajan* «помет животных и птиц»), интервокальных *γ* и *p ~ b* (др.-тюрк. *azū* = м.-п. *araya* = маньчж. *argan* «коренной зуб, клык»; др.-тюрк. *toplq ~ toblq* «лодыжка» = м.-п. *tohuγ* = маньчж. *tobgija* «колоно»); в ареале E — сохранение интервокального *γ* (м.-п. *berige* = вост. диал. эвенк. *bereye* «бич, кнут, плеть») и *t* в позиции перед *i* (м.-п. *ati* < *ati* = камнган. *ati* «внук»); в ареале S — ламбдавам и сохранение интервокального *γ* (м.-п., солон. *aral* «дышло»; м.-п., солон. *zaya* «лошть»).

Первую часть книги (с. 17—147) составляют перечни монгольских и тунгусских слов по ареалам со статистическими данными. Например, WESMZL — группа монгольско-тунгусских параллелей, встречающихся во всех 6 ареалах; WE, ES, EM, EZ, EL, SM, SZ, MZ, ZL — группы соответствующих параллелей, прослеживаемых в каких-либо двух из шести ареалов. Общее количество рассмотренных в книге параллелей — 688, из них 193 включают в себя тюркские слова. Представленный материал не нов и, тем не менее, он чрезвычайно ценен, так как задача его в систематизированном виде с учетом распределения по ареалам открывает новый этап в изучении монгольско-тунгусских связей. Сомнительные и ошибочные, на наш взгляд, параллели немногочисленны, причем в основном это не монгольско-тунгусские, а тюркско-монгольские параллели, например: др.-тюрк. *auq*, м.-п., маньчж. *alēi* «игральная кость» (с. 115, № 390); др.-тюрк. *at*, м.-п. *ayta* «мерин», орок. *hakta* «кастрированный олень» (с. 17, № 2); др.-тюрк. *oju*

¹ Чтобы избежать недоразумений, мы пользуемся наименованием, принятым в книге Г. Дёрфера («тунгусские» вместо «тунгусо-маньчжурские»).

² Разумеется, речь не идет о поздних связях якутского языка с эвенкийским и эвенским языками.

«игра» и м.-п. *оfo* «целовать» (с. 142, № 632).

Вторая часть — научные комментарии. Здесь (с. 148—198) Г. Дёрфер предпринял попытку разграничить ступени древности тюркских заимствований в монгольских языках и монгольских заимствований в тюркских и тунгусских, выяснить возможность китайского влияния на тунгусский аялаут, уточнить место и роль дагурского языка в контактных процессах. Затем (с. 199—237, 284—297) производится всесторонняя оценка тунгусско-монгольских материалов на основе статистических данных и, далее (с. 238—261), дается обзор внутритунгусских языковых отношений, характеристика китайских, тибетских и других заимствований в тунгусских языках и тунгусских заимствований в монгольских. В заключение (с. 262—283) сделаны замечания в области антропологии, этнографии, археологии и истории. Книга снабжена указателем исходных монгольских словоформ, входящих в монгольско-тунгусские параллели.

Размеры рецензии не позволяют остановиться на всех вопросах, затронутых во второй части. Кроме того, следует подчеркнуть, что многие из них, например, вопрос о жуаньжуаньском вкладе и вопрос о монгольском происхождении ряда древнетюркских словоформ (с. 163—169), даже в своей постановке несколько преждевременны. Кстати, не бесосновательны доводы некоторых тюркологов и праиреведов в пользу установления согдийской принадлежности форм типа *tarzat*, *tegit* [1, 2].

Особого внимания заслуживают высказывания Г. Дёрфера о ступенях древности заимствований. Предлагая по существу свое толкование «закона» Рамстедта-Пелью, Г. Дёрфер реконструирует в тюркском праязыке начальный **p* (>халадж. *h*) и говорит о двух пластах тюркских заимствований в монгольских языках: древнем (пратюркскому **p* в аялауте соответствует ср.-монг. *h*, на месте которого позднее снова появляется *p*, о чем свидетельствуют тунгусские материалы) и относительно позднем (пратюркскому аялаутному **h*, развившемуся из **p* и сохранившемуся в халаджском языке, в монгольских языках соответствует отсутствие звука, в тунгусских — *h* и отсутствие звука). Произведенное разграничение конкретизируется указанием на последовательность преобразований аялаутного **p* и их хронологии: 1) пратюрк. **p* > прамонг. **p* (позднее в тюркских и монгольских языках **p* > **h* и затем в большинстве языков **h* > 0) > нан., ульч., орок. *p*, маньчж. *f*, эвенк. *h* и т. д.; 2) пратюрк. **h* > монг. 0. Переход **p* > **h* в монгольских языках,

по мнению Г. Дёрфера, проецировался в период с VI в. по XIII в., переход **h* > 0 в тюркских языках — до X—XI вв. Сразу же заметим, что у изложенной точки зрения немало уязвимых мест.

Реконструкция пратюркского аялаутного **p* (>халадж. *h*) опирается преимущественно на материалы тунгусских языков, точнее, на материалы нанайского, ульчского и орокского, для которых характерен начальный *p* (~ *f* ~ *h* ~ 0), отчасти — на материалы халаджского языка. Соответствие *p* ~ *f* ~ *h* ~ 0 — чисто тунгусское, прослеживаемое во многих словах, не имеющих параллелей в тюркских языках, ср.: нан. *pā*, солон. *azi*, маньчж. *jazun*, эвенк. *hakin* «печень»; нан. *pikte*, эвенк. *hute* «ребенок»; нан. *pēje* ~ *fej* ~ *xēje*, эвенк. *heje* «лоб»; нан. *peku* ~ *jeku*, эвенк. *heku* «горячий». Особенности начала слова в южной группе тунгусских языков (*p* ~ *f*) определенным образом проявлялись при освоении заимствованных слов, ср.: др.-тюрк. *ertāk* «палец», ср.-монг. *herekej*, нан. *perke*, маньчж. *jerxe* «палец (большой)»; др.-тюрк. *urug*, ср.-монг. *huraqa*, ульч. *puā* «петля, силок». Понятно, что наличие в нанайском, ульчском и орокском языках начального *p*, соответствующего начальному *f*, *h* или отсутствию звука в других тунгусских языках и встречающегося в нескольких словах тюркского происхождения, само по себе не может служить опорой для реконструкции в тюркском праязыке начального **p*. Подкрепим свой вывод ссылкой на несколько иной, но сходный случай. Звук *h* в словах азерб. (двал.) *havəs* «овес», *haxiz* «девушка не-азербайджанка», *harava* «арба», *hāvātdā* «конюшня», таг. *hateš* «огонь», *hadet* «обучай», *horuč* «пост», тув. *helesin* «песок», *harī* «пчела», уйг. *hāsāl* «мед» отражает особенности происхождения заимствованных слов в тюркских языках, но никак не своеобразие их аялаута в языках-источниках. Не могут служить опорой для реконструкции пратюркского аялаутного **p* и материалы халаджского языка, в котором вторичность начального *h* достаточно очевидна: есть случаи, свидетельствующие о его относительно позднем появлении, ср.: *hYul-* «собирать», *holYul* «тамариск». С одной стороны, здесь налицо утрата начального *j* (ср.: азерб. *jYul-*, *julYun*), с другой — убедительное доказательство протетического характера халаджского *h*, который мог развиться лишь после утраты *j*.

Следует признать, что во взаимодействующих языках факты, являющиеся следствием внутреннего развития и адаптации иноязычных элементов, могут совмещаться с фактами, целиком представляющими гниющую форму заимствованных слов в языке-источнике. Иначе говоря,

Фонетическое освоение заимствований не исключает возможности перенесения на тунгусскую почву тюркских слов с таким начальным согласным, который реконструирует Г. Дёрфер: **pārk* «петли, силок», **pökür* «бык, вол», **pārjak* «палец (большой)», **pabul* «спокойный», **paq* «помет животных и птиц», **pojta* «войлок». И все же подобная праторкская реконструкция обладает минимальной степенью достоверности. Прежде всего, недостаточно убедительны сами примеры. Так, др.-тюрк. *öküz* «бык, вол» — заимствование из индоевропейских языков, почти полностью сохранившее облик тохарского прототипа. Др.-тюрк. *amul* «спокойный, тихий» не имеет параллелей ни в одном из тунгусских языков. Халадж. *harq* «помет животных и птиц, экскременты человека» другим тюркским языкам, древним и современным, неизвестно (ст.-узб. *aryasun* < монг.). Др.-тюрк. *ujta* «войлок», встречающееся в диване Махмуда Кашгари, обнаруживает связь с общетюркским *ujtaq* «войлочный (шерстяной) чулок, валенок, обувь из ведубленной кожи» [3]. Далее, трудно допустить, чтобы в тюркских словах, попадавших в монгольские языки на уровне прамонгольского состояния, начальный **p* изменялся в *h*, а в этих же словах, заимствованных значительно позднее тунгусскими языками, он восстанавливался. Наконец, реконструкция Г. Дёрфера вызывает несогласие по другим соображениям. В тюркском языке надежно восстанавливается во всех позициях, включая начало слова, губной **p*, рефлексам которого в современных тюркских языках являются никогда не исчезающие *p* и *b* (*m*). Возникает необычная ситуация, когда в одной фонетической системе оказываются два *p*, принципиально не отличающиеся друг от друга и не находящиеся в отношениях дополнительной дистрибуции.

Решение сложной и чрезвычайно запутанной проблемы тюркского алаута возможно лишь на основе тщательного и глубокого изучения всех тюркских материалов. Скажем прямо: попытки игнорировать явление протезы или пренебрегать его значение по существу препятствуют дальнейшим поискам. О протетических согласных написано много, и здесь достаточно подчеркнуть, что наряду с *h* и *j* в разных тюркских языках, помимо чувашского, в качестве протетического звука широко представлен также *v*, например: ст.-кыпч. *vajna* «ojna» «играть», *voltur* «oltur» «сидеться, сидеть», *ıjajal* «ujal» «стыдиться», *vur* «ur» «бить» [4], *vuđaq* «ođaq» «очка», *vıraq* «oraq» «серп» [5]. В джукетском говоре узбекского языка с протетическим *v* выступают несколько десятков слов. Та-

ким образом протетические согласные встречаются во многих тюркских языках, на разных ступенях развития, и их наличие — столь же бесспорный факт, как и существование базовых согласных. Различие между ними заключается в том, что один восходит к фонетической системе праязыка, являясь как бы начальным, тогда как другие не связаны с праязыком: их образование происходило в специфических условиях развития отдельных языков после распада тюркского праязыка.

По-видимому, нельзя считать окончательно раскрытой и природу среднемонгольского *h*, тунгусских *p*, *f*, *h*. Напомним, что еще П. М. Меллиоранский говорил об «аттакировании начального гласного с придыханием» в одном из древних монгольских диалектов [6] и тем самым подчеркивал роль дополнительных артикуляций в начале слова, а С. М. Широкогоров, который был склонен относить к вторичным и тунгусские *p*, *f*, *h*, связывал, например, появление эвенкийского *h* с усилением инкурсии [7, с. 102—109]. Кстати сказать, С. М. Широкогоров — автор не только «выдающегося» тунгусского словаря (с. 4), но и не менее выдающейся работы с критическим разбором урало-алтайской гипотезы [7], в которой сделан глубокий анализ проблем, относящихся к тунгусскому алауту. К сожалению, последние не использовались Г. Дёрфером (возможно, оказалась недоступной) и отсутствует в библиографическом списке.

Подводя итог сказанному о ступенях древности тюркских заимствований в монгольских языках и монгольских заимствований в тунгусских, сделаем ставший и без того уже ясным вывод: для реконструкции в тюркском языке начального **p* (> халадж. *h*) и возведения к нему среднемонгольского *h*, а также найшего *p* (~ маьчк. *f* ~ эвенк. *h*) нет убедительных оснований.

С оригинальными взглядами Г. Дёрфера на ступени древности заимствований связано его отношение к ротацизму. Опираясь, в частности, на монгольские материалы, Г. Дёрфер предлагает праторкские реконструкции с первичным *r* для тех случаев, когда во всех тюркских языках, кроме чувашского, ему соответствует *z*, например: **ëkifä* «двойня» (др.-тюрк. *ikiz*, м.-п. *ikire*), **pārja* «немного» (др.-тюрк. *az* «мало, немного», м.-п. *araj* «едва»). Непременность реконструкции Г. Дёрфера очевидна прежде всего из-за соображений типологического порядка. С фонетической точки зрения, пожалуй, одинаково допустимы $s > z > r$ и $r > z > s$, однако последний переход встречается очень редко и иллюстрируется преимущественно примерами из француз-

ского языка XVI в., ср.: *chaire* (<лат. *cathedra*) — *chaise* [8, с. 150], др.-франц. *béricle* (искаженное *béryl*, лат. *beryllus* < греч. — *besticles* [8, с. 84]). Ср. также в манерном произношении куртизанок: *mazy (mari)* «муж», *pèze (père)* «отец» [9], *Pazis (Paris)* «Париж», *mèze (mère)* «мать» [10]. Неясны условия, в которых этот переход происходит. Напротив, переход $s > z > r$ засвидетельствован материалами многих языков, и, что особенно важно отметить, не вызывает сомнений его относительно строгая фонетическая обусловленность: нахождение *s* в позиции максимального ослабления артикуляции (интервокальное положение, конечная позиция в многосложных словах и в односложных словах с этимологическими долгими гласными). На первичность *s* (*z*) в тюркских языках указывают и факты самих тюркских языков. Примечателен процесс паменения близкого к *z* межаубного *ð*, происходивший в аналогичных фонетических условиях, ср.: **adaq* «нога» > чуваш. *ura*, **qod* «ставить» > чуваш. *zur*, **todun* «насыщаться» > чуваш. *taran*. Примечательна также направленность изменений в заимствованных словах: др.-тюрк. *öküz*, чуваш. *văđăr*, ср.-монг. *häker* «бык, вол» (ср.: Тох. А *ökäs*, Тох. В *okso*). Правда, Г. Дёрфер пытается возвести др.-тюрк. *öküz* к индоевропейскому архетипу с начальным *p* и конечным *r* в основе, ср.: лат. *pecor* + (с. 67), однако эта попытка явно неудачна. Непротетический *p* в словах любого происхождения, попадавших в среднемонгольский язык из тюркских языков, никогда не переходил в *h*. Следовательно, ср.-монг. *häker* не может восходить к **päker* или **pökär*.

Далеко не бесспорны и некоторые другие принципиальные установки в подходе Г. Дёрфера к реконструкции тюркских архетипов и объяснению расхождений в тюрко-монгольских параллелях, ср., например, интерпретацию дополнительных гласных в некоторых тюркизмах монгольских языков. Вместе с тем нельзя не отдавать себе отчета в том, что материал исследования в рецензируемой книге обширен и сложен.

Усилиями многих поколений алтаистов не только вносилась ясность в понимание долго не поддававшихся объяснению «темных пятен», но и создавалась невероятная путаница представлений о связях алтайских языков, о характере, количестве и составе совпадающих в них лексических единиц, морфологических показателей, структурных черт. Методическая ошибка корифеев алтаистики В. Банга, В. Котвича и Г. Рамстеда, заключающаяся в недооценке контактов в образовании языковых сходств, сыграла ро-

ковую роль как в формировании взглядов на происхождение так называемого общепалтаистского достояния, так и в выборе способов решения многих вопросов фонетики и морфологии отдельных языков и семей. И, несмотря на то, что каждый из них в конце своей жизни по существу признал эту ошибку, сила инерции оказалась настолько значительной, что вплоть до настоящего времени конвергентные процессы не получили глубокого освещения. С учетом сказанного становится очевидной особая ценность трудов Г. Дёрфера, упорно продвигающегося вперед по пути преодоления заблуждений, которые длительное время поддерживались ортодоксальной алтаистикой. Наши критические замечания по поводу нескольких важных положений теоретической части книги отражают принципиальные расхождения с автором в вопросах реконструкции тюркского праязыка и могут служить побудительным стимулом для расширения дальнейших исследований, однако они несколько не признают выдающейся роли Г. Дёрфера в изучении алтайских языков, его больших достижений в области тюркологии, монголистики и тунгусоведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Harmatta J.* Irano-Turcica // АОН. 1972. XX. P. 272—273.
2. *Clark V. L.* Mongol elements in Old Turkic? // JSFOu. 1977. LXXV. P. 118—120.
3. *Севортян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. (Общотюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974. С. 581.
4. *Zajackowski A.* Materiał kolokwialny arabsko-kipezacki w Słowniku «ad-Durra^t al-muđi'a fi-l-luğat at-turkiya» // RO. 1968. XXX. 1. S. 74.
5. *Houtsma M. Th.* Ein türkisch-arabisches Glossar. Leiden, 1894. S. 15.
6. *Мелиоранский П. М.* Араб филолог о монгольском языке // ЗВО РАО. 1903. XV. 4. С. 162.
7. *Shirokogoroff S. M.* Ethnological and linguistic aspects of the Ural-Altai hypothesis / Reprinted from *Tsing Hua Journal*. V. 6. Peiping. 1931.
8. *Dauzat A. et al.* Nouveau dictionnaire étymologique et historique (de la langue française). P., 1971.
9. *Brunet F.* Histoire de la langue française dès origines à 1900. II. P., 1906. P. 274.
10. *Bourciez E.* Précis historique de phonétique française. P., 1914. P. 209.

Щербак А. М.

Синхронный перевод — один из наиболее своеобразных и вместе с тем наименее изученных видов речевой деятельности, по ряду причин в растущей мере привлекающий к себе в последние годы внимание исследователей. Необычность этого вида устного перевода проявляется прежде всего в том, что в нем совмещены во времени виды речевой деятельности, традиционно и, казалось, с достаточным основанием, считавшиеся несовместимыми: аудирование, восприятие и понимание речи. Для осуществления этого последнего, как принято было считать, необходима встречная латентная речевая активность слушающего, с одной стороны, и собственно говорение, которому должна, как представлялось, также предшествовать активная, концентрированная и самодостаточная мыслительная работа говорящего, с другой. Синхронный же перевод, реальность и осуществимость которого подтверждена теперь уже многолетней успешной практикой работы международных мероприятий и организаций, является наглядным опровержением этих ставших почти аксиоматическими положений и яркой манифестацией резервных возможностей речевого механизма человека, его многоканального, нелинейного характера.

Изучение синхронного перевода (СП), этого «детича XX века» (с. 5), началось по существу только около двух десятков лет назад и является, таким образом, одной из самых молодых отраслей прикладных лингвистических и психолингвистических исследований. На общем фоне пока еще не очень многочисленных изысканий по данной тематике, осуществляемых в США, Франции, ГДР, других странах, работы советских авторов, и в частности Г. В. Чернова и его учеников, а также А. Ф. Ширяева выделяются своей научной фундаментальностью, экспериментальной достоверностью и методологической последовательностью. Следует отметить также тесную связь теории синхронного перевода с профессиональной деятельностью переводчиков-синхронистов и практикой их подготовки, характерную для направления, возглавляемого Г. В. Черновым, который обладает многолетним опытом работы в Организации Объединенных Наций и на ответственных международных форумах. Рецензируемая книга, в отличие от двух вышедших у нас ранее проблемных монографий по этой теме, является первым опытом учебника, систематически излагающего теоретические основы СП [1, 2].

Учебно-систематизирующий характер книги ни в коей мере не идет в ущерб ее проблемно-творческой направленности,

поскольку в ней речь идет, как сказано выше, не об инвентаризации устоявшихся взглядов и общепризнанных положений, а о попытке сформулировать в общедоступном и упорядоченном виде результаты теоретических и экспериментальных изысканий, значительная часть которых выполнена непосредственно автором или его учениками. Этой задаче подчинены построение книги, стиль изложения и все содержание книги.

Книга открывается проблемно-хронологическим обзором истории и современного состояния вопроса, в котором подвергаются критическому анализу различные предлагавшиеся ранее психологические и психолингвистические модели СП, выявляются существенные изъяны многих из них: игнорирование этапа обработки речевой информации при ее восприятии и порождения, а также пренебрежение таким важным психологическим моментом, как осознаваемость контроля со стороны переводчика над своими действиями и операциями в модели Д. Гервера; недостаточный учет многоканальности переработки информации в модели Б. Мозер; недооценка прогнозирования и извлечение его к роли вспомогательного механизма в модели Д. Массаро и т. д.

Большое внимание уделяется разбору так называемой Парижской школы «теории смысла» (М. Пернье, Д. Селескович, М. Ледер). Признавая ее вклад в разработку ряда важных проблем СП, плодотворность принятой ее последователями трактовки СП как прагматически детерминируемого коммуникативного процесса, автор справедливо критикует ее за неспособность подняться до понимания целостности деятельностного характера СП, пойти дальше постулирования передачи смысла в СП, не раскрывая способов реализации и выявления этого смысла в речи и СП.

Констатируя недостаточность объяснений, предлагаемых для раскрытия сущности СП западными исследователями, автор развивает свой собственный подход к данному феномену, основанный на достижениях советской психолингвистической школы. Г. В. Чернов особо выделяет роль принципа коммуникативной значимости, позволяющего «... рассматривать СП ... как вид коммуникативно-речевой деятельности, обеспечивающий двуязычное общение» (с. 31). Важнейшим методологическим принципом, упомянутым Г. В. Черновым, правда, лишь в качестве третьего, «... является принцип встречной активности мозга в процессах отражения (смыслового восприятия), тесно связанный с принимаемым за исходный в настоящей работе принципом опережающе-

го отражения действительности...» (там же).

Названный методологический принцип лежит в основе выявленного Г. В. Черновым ведущего механизма реализации СП — механизма вероятностного прогнозирования при речении и осмыслении сообщения на исходном языке и упреждающего синтеза при репродукции (порождении) сообщения на языке перевода (ср. с. 37).

Реальные условия выполнения СП рассматриваются в главе «Синхронный перевод — деятельность, осуществляемая в экстремальных условиях». Наиболее существенным утверждением, доказательно обосновываемым в данной главе, является положение об истинной синхронности СП, т. е. одновременности слушания и говорения в его процессе. Экспериментальные данные, получаемые автором и другими исследователями, неопровержимо показывают, что в среднем от двух третей до четырех пятых времени говорения переводчика реально совпадает с восприятием им звучащей речи оратора (с. 40), причем отставание переводчика от оратора («фазовый сдвиг»), необходимое для восприятия осмысленного отрезка речевого потока, колеблется в узком диапазоне вокруг среднего значения, равно- го приблизительно 3 сек.

Здесь же дан анализ иных темпоральных параметров СП, в частности соотношения скорости речи переводчика со скоростью речи оратора. В зависимости от этого последнего показателя происходит большее или меньшее замедление темпа речи переводчика (до величины порядка от 70 до 85% темпа оригинала), чем достигается усреднение темпа, а соответственно и оптимизация качества СП на выходе.

Далее автор переходит к рассмотрению смысловой стороны речевой коммуникации в аспекте ее функционирования в качестве инварианта межъязыкового преобразования текста устного выступления в процессе синхронного перевода. В трактовке смысла как явления экстралингвистической природы автор присоединяется к Н. А. Слюсаревой [4] и В. А. Звегинцеву [3]. Такое понимание смысла применительно к ситуации СП представляется несомненно плодотворным, поскольку позволяет учесть включенность переводчика в многостороннюю интеллектуальную и прагматическую структуру деятельности международного форума, в рамках которой осуществляется СП.

В ходе дальнейшего уточнения смыслового субстрата СП автор конструирует понятие семантико-смысловой структуры сообщения, складывающейся из референтной (предметно-пропозитивной), дейкти-

ческой и модально-фактивной составляющих, помимо которых в реальном сообщении «всегда содержится и прагматическая рамка сообщения, через которую выражается взаимоотношение говорящего и слушающего...» (с. 73). Эти структуры и манифестирующие их компоненты находятся в состоянии сложного перекрещивающегося взаимодействия, но именно они в своей совокупности, а не особенно материально-звуковой, лексической и грамматической структур являются объектом перевода, в том числе синхронного. «Вот почему не сообщением как таковое, которое не может быть сообщением вообще, а может быть только сообщением на ИЯ или сообщением на ПЯ, т. е. сообщением на конкретном языке, а именно ССС (семантико-смысловая структура. — Ц. М.) сообщения и рассматривается как инвариант в синхронном переводе» (с. 88).

Решающее значение для объяснения осуществимости СП имеет понимание сути определяющего механизма СП — механизма вероятностного прогнозирования. Автор вводит понятие имплицитивности, с которым связано явление смысловой (субъективной) избыточности сообщения. Это качество сообщения (текста) проявляется в том, что слушающий достигает понимания с помощью вывода, делаемого на основании уже состоявшейся части сообщения. Автор различает смысловой вывод языкового типа, когнитивнотегаурусный вывод, ситуативно-дейктический вывод и прагматический вывод.

Степень избыточности (а соответственно — и прогнозируемости) сообщения дополнительно увеличивается за счет особенностей коммуникативной ситуации СП, в состав которой включаются такие факторы, как «форум» (т. е. конкретное мероприятие некоторой организации, на котором осуществляется СП), «аудитория», «оратор», а также тематические, событийные и временные рамки сообщения и, наконец, факторы цели и мотивы сообщения. Факторы коммуникативной ситуации СП вступают во взаимодействие с компонентами семантико-смысловой структуры сообщения, а это за счет резкого повышения общего уровня избыточности значительно облегчает задачу осуществления СП в характерных для него экстремальных условиях.

Центральное место в рецензируемой работе занимает, несомненно, глава «Вероятностное прогнозирование в синхронном переводе». Основываясь на идеях П. К. Анохина [5] о законе опережающего отражения действительности и используя обоснованное П. М. Фейгенбергом [7, 8] понятие вероятностного прогнозирования, Г. В. Чернов вскрывает положительную корреляцию между избыточ-

ностью языка и речи и успешностью вероятностного прогнозирования.

В ходе осуществления СП эта зависимость реализуется с помощью процедуры кумулятивного динамического семантико-смыслового анализа. Эта процедура основана на диалектическом преодолении противоречия между дискретностью и связностью структуры сообщения, осуществляемом путем последовательного суммирования синхронистом воспринимаемых им смысловых компонентов, ряда промежуточных процедур завлечения смысла из воспринятого и, наконец, «... последовательного построения... на этой основе все более и более четкой и развитой гипотетической семантико-смысловой структуры сообщения в целом» (с. 135).

Существив кумулятивный динамический анализ семантико-смысловой структуры воспринимаемого сообщения, синхронист формирует внутреннюю программу высказывания, которая фактически является начальным этапом порождения речи-перевода. Эвристический характер всех этапов данного процесса определяет собой, в частности, многовариантность выдаваемого конечного результата, сводимого, однако, к ограниченному числу поддающихся исчислению конфигураций отражения тематической структуры высказывания в переводе.

В заключительных главах книги рассматривается целый ряд более конкретных особенностей реализации СП и проявляющихся при этом закономерностей. Наибольший интерес в данном отношении представляет глава «Актуализаторы смысла — информативные пики высказывания». В ней на конкретном языковом материале (сопоставительный анализ исходных сообщений и транскриптов их СП) обосновывается применимость к СП положения о том, что «...при восприятии информации, поступающей в мозг из окружающей среды, вступает в действие особый нейрофизиологический механизм мозга, который обеспечивает восприятие прежде всего по точкам изменения меры информации» (с. 166).

Вслед за Н. И. Жинкиным [6], автор связывает точки изменения информации в сообщении с его элементами, выражающими рему высказывания. В отдельных разделах данной главы Г. В. Чернов показывает, как эта закономерность проявляется при передаче разных типов рем, и отражении рематического состава сообщения и в особенности в воспроизведении оценочной ремы, оказывающейся зачастую доминантной в типичном для ситуации СП сообщении общественно-политической направленности.

Связь теории с практикой, плодотворность применения научных обобщений

в целях оптимизации профессиональной подготовки переводчиков-синхронистов и повышения эффективности их деятельности с наибольшей наглядностью выявляется при рассмотрении проблем синтаксиса, специфичных для синхронного перевода. Здесь показано, что успешность упреждающего синтеза, т. е. возможность непрерывного безошибочного речевого исполнения СП на достаточно длительном отрезке, зависит от шага вероятностного прогнозирования семантико-смысловой структуры исходного высказывания, что в свою очередь обуславливается, с одной стороны, способами выявления ремы, и с другой — предсказуемостью лексического состава высказывания.

В этой связи рассматриваются также пути преодоления трудностей, возникающих в силу различия в порядке слов, способах оформления актуального членения предложения в таких парах языков, как русский-английский, русский-французский, описываются закономерно принимаемые при этом модели синтаксических перестроек. Было бы, конечно, интересно проследить, как эти закономерности проявляются при переводе с языков, порядок слов которых существенно отличается от языка перевода (например, СП в немецко-русской комбинации), но это, очевидно, может быть с успехом сделано другими исследователями с использованием апробированной Г. В. Черновым методики.

Обобщая результаты осуществляемого в работе всестороннего анализа СП как сложного вида двуязычной коммуникативно-речевой деятельности, автор на основе разработанной П. К. Анохиным функциональной системы поведенческого акта строит аналогичную систему СП (с. 224), в которой каждый шаг в деятельности переводчика-синхрониста — от осмысления сообщения на исходном языке через принятие решения о переводе до порождения высказывания и самоконтроля — изоморфен одному из элементов разработанной Анохиным модели.

Вероятностное прогнозирование, являющееся ведущим психолингвистическим механизмом СП, протекает как многоуровневый процесс, опирающийся на избыточность каждого из уровней воспринимаемого переводчиком высказывания, которые Г. В. Чернов считает целесообразным объединить в четырех частично перекрывающихся друг друга ярусах — просодическом (нанизем), синтаксическом (промежуточном), семантико-смысловом (центральном) и имплицитивно-смысловом (высшем) (с. 227—228).

Данная модель предполагает своего рода эвристическое сканирование сообщения переводчиком по всем уровням

с целью выявления спорных моментов, дающих оптимальное основание для вероятностного прогнозирования и упреждающего синтеза.

Как учебник для высшей школы рецензируемая книга содержит и указания относительно методики подготовки переводчиков-синхронистов, основанные на разработанной автором модели СП. Стержнем этой методики является сообщение знаний, способствующих повышению субъективной избыточности сообщения для переводчика, и выработка у него навыков, обеспечивающих необходимый автоматизм его речевых действий. К сожалению, именно этот раздел, представляющий наибольший интерес для преподавателя-практика, изложен крайне лаконично и по существу сведен к схематическому изображению, с трудом поддающемуся расшифровке без помощи опытного методиста (с. 242—243).

В целом книга Г. В. Чернова является ценным вкладом в развитие теоретико-прикладных исследований в области психолингвистической теории перевода, может явиться импульсом для дальнейшего развертывания научных работ в этом направлении, имеющем основание стать од-

ним из приоритетных в современном языкознании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чернов Г. В. Теория и практика синхронного перевода. М., 1978.
2. Ширяев А. Ф. Синхронный перевод. Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода. М., 1979.
3. Саясарева Н. А. Смысл как экстралингвистическое явление // Как подготовить интересный урок иностранного языка. М., 1963.
4. Зевинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973.
5. Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной системы. М., 1978.
6. Жинкин Н. И. Грамматика и смысл // Язык и человек. М., 1970.
7. Фейсберг И. М. Вероятностное прогнозирование в деятельности мозга // Вопросы психологии. 1963. № 2.
8. Фейсберг И. М. Память и вероятностное прогнозирование // Вопросы психологии. 1973. № 1.

Цвилянг М. Я.

Lamprecht A. Praslovanština. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987. 197 S.

Наука о праславянском языке, закономерно обособившаяся от сравнительной грамматики славянских языков, в последние десятилетия достигла значительных успехов. И это вполне понятно, так как вопросы вычленения из индоевропейской общности и становления праславянского языка, его хронологизации и выявления внутривидовых движущих причин его развития относятся к основным проблемам славянского языкознания. Об этом свидетельствует не только множество работ о праславянском языке, но и существующие разногласия в подходах к решению указанных проблем. Именно этим объясняется успех широко информированного и хронологически обоснованного подхода американского слависта Х. Бирнбаума к этой проблематике [1].

Книга известного чешского слависта А. Лампрехта (1919—1985) является обобщающим трудом о праславянском языке. Развивая свои взгляды на праславянский язык [2—5], Лампрехт сформулировал наиболее четко свой подход на VII съезде славистов в Варшаве (1973): «... тот праславянский язык, каким мы его знаем в реконструируемой форме из большей части этимологических словарей и в значительной мере отраженной в древнейших старославянских памятниках, является образованием, возникшим сравни-

тельно незадолго перед фиксацией в старославянских текстах» (с. 11). В связи с этим утверждением указываются основные этапы развития праславянского языка:

I. Ностратический период и его распад около 8000 г. до н. э. (очевидно, в рамках 9000—7000 гг. до н. э.);

II. Индоевропейский период, состоящий из двух этапов:

а) протоиндоевропейского (после распада ностратического сообщества);

б) раннего индоевропейского и собственно классического индоевропейского этапа (примерно до 3000 г. до н. э.);

III. Распад индоевропейского праязыка и образование ранних основных позднейиндоевропейских ареалов (около 3000 г. до н. э.);

IV. Отделение протобалтийских (балтославянских) диалектов от других индоевропейских (после 2000 г., возможно, около 1500 г. до н. э.);

V. А. Начало выделения славянских диалектов из протобалтийского (балтославянского) сообщества (около 400—500 гг. до н. э., возможно, в пределах 700—200 гг. до н. э.). Этот так называемый «ранний праславянский» в фонетико-фонологическом отношении все еще близок к балтийским диалектам;

Б. Возникновение так называемого «классического праславянского» в 400—800 гг. н. э.;

В. Повдний праславянский язык 800—1000 гг. н. э., переходящий постепенно в древнейшую стадию развития отдельных славянских языков или их частных объединений (см. [6]).

Книга содержит девять глав. В первой изложена общая линия развития праславянского языка. К сожалению, автор не касается историко-культурных и археологических моментов, связанных с функционировавшим праславянским языком, ограничившись краткими замечаниями о прародине славян, относительно поздним этногенезе славян по сравнению с кельтами и германцами (ср. [7]).

Вторая глава посвящена характеристике индоевропейской фонологической системы и ее отражению в праславянском. Намечены общие линии развития индоевропейских согласных, сонантов, гласных примерно к III тыс. до н. э., сделаны замечания о фонемной структуре морфем, ударении и интонации.

В третьей главе прослежены фонетические явления в эпоху после распада индоевропейского сообщества до протобалтийского (балтославянского) и раннего праславянского. Речь идет прежде всего об изменении *s* после *i*, *u*, *r*, *k* и переходе палатальных заднеязычных *k'*, *g'* в спиранты *x*, *z*. Изменение *s* в *š* связано с эпохой тесного соседства протобалтийских диалектов с иранскими языками (700—200 гг. до н. э.). Время изменения *s* в *x* вообще не поддается определению. Автор анализирует лексемы с начальным *x*, а также заимствования и образования по аналогии. Система гласных в праславянском после 400 г. н. э. была следующей: *i* — *y*, *ь* — *ъ*, *e* — *ě*, *ě* — *a*. Гласный *ě* представляет собой краткое *a*, из которого позднее возник гласный *o* (в результате лабиализации). В итоге четко обозначилась группировка на гласные переднего и заднего образования и постепенная делабиализация долгих гласных. К этому периоду автор относит также возникновение протетических согласных.

Четвертая, центральная глава посвящена развитию так называемого классического праславянского языка в 400—800 гг. н. э. Подразделение гласных на передние и задние отразилось на системе согласных при осуществлении I палатализации. Завершение делабиализации задних гласных (*y*, *ъ*, *ǫ*) могло произойти или перед I палатализацией, или лишь перед монофтонгизацией дифтонгов. Система согласных раннего праславянского языка включала в свой состав: *p*, *b*, *t*, *d*, *s* (*š*), *z*, *k*, *g* (*ch*). Заднеязычные *k*, *g* уособлились последующим гласным переднего ряда *i*, *ь*, *e*, *ě* и подвергались палатализации: *k* > *č*, *g* > *dž* > *ž*, (*ch* > > *š*). Первая палатализация была осу-

ществлена во всех славянских диалектах еще до 500 г., когда славянские племена стали занимать новые места поселения. С другой стороны, она произошла после заимствования некоторых слов из германских языков (**helmaz* > *šelmъ*, **kinda* > *ědo*). Известно, что готская держава была разгромлена гунами в 375 г. Это первое хронологическое указание. Другие хронологические моменты связаны с восточными славянами, которые в V в. в верховьях Днепра ассимилировали балтийские и финские гидронимы с результатами первой палатализации (*Laukesja* > > *Лучеса*, *Akesa* > *Очеса*, *Ижора*, *Селужеровка*). По убеждению автора, эти данные дают основание считать, что I палатализация проходила примерно в пределах 400—475 гг. (+25 лет). Он ссылается на мнение Л. Новака, который полагает, что для фонетического изменения достаточно 75 лет, т. е. жизни трех поколений [8].

Тенденция к слоговой гармонии проявилась также в праславянских перегласовках '*y* > *i*' ('*ъ*' > *ь*) и '*ě*' > *e*'. Эти перегласовки произошли до монофтонгизации дифтонгов, так как *đi* давало *đ*, а *đi* > *e* изменилось в *i*. Тесное взаимодействие согласных и гласных в составе одного слога в праславянском языке стало проявляться тенденцией к открытому слогу. Закон открытых слогов, или стремление к восходящей звучности слога, действовал на протяжении всей праславянской эпохи (до 800 г. н. э.), от I палатализации и праславянских перегласовок вплоть до перестановки плавных. Отчасти его действие осуществлялось и позднее в виде утраты носовых на части славянской территории и прекратилось после утраты редуцированных в конце X в. (на Руси на 150—200 лет позднее). В середине слов произошла смена слогораздела, причем сохранились лишь такие группы согласных, которые были обычны для начальных слогов. В сочетаниях *tl*, *dl* было возможно двоякое решение. Если слог заканчивался неслоговыми *y*, *ь*, то происходила монофтонгизация дифтонгов, если слог был закрыт *n*, *m*, то возникали носовые гласные, если слог закрывался *r*, *l*, то происходила их перестановка. Все конечные согласные утрачивались.

Монофтонгизация дифтонгов повлияла на систему гласных и согласных фонем. В процессе монофтонгизации *ou*, *eu* возник новый лабиализованный гласный в двух вариантах — *u* и *ju*. В итоге прежняя система гласных была нарушена и был дан импульс к перестройке всей системы гласных, прежде всего в лабиализации кратких гласных (*ǫ* > *o*). В системе согласных монофтонгизация обусловила II палатализацию. В хронологи-

ческом плане, по мнению автора, дифтонги еще существовали около 500 г. Самый процесс монофтонгизации происходил в годы 500—575 или 525—600. Лампрехт опирается в своей датировке на материалы *топонимии* и *этнонимии*, введенные в научный оборот З. Штибером и К. Видуэлом [9, 10]. II палатализация задненёбных проведена была в 575—650 гг. (+25 лет), т. е. через 100 лет после завершения первой палатализации. Она носит общеславянский характер, хотя имеются диалектные явления: группы *kv*, *gv* в начальных слогах для западославянских языков и варианты *sš*. Более сложным является объяснение III палатализации, тождественной по результатам второй. По мнению автора, в III палатализации следует усматривать тенденцию к межслоговой (словной) гармонии. Отмечается мнение Ф. Мареша о действии этой палатализации до закона открытых слогов, точка зрения Ю. Шевелова, в соответствии с которой она предшествовала II палатализации, наконец, интересные материалы, собранные Ф. Копечным в пользу того, что это был словообразовательный тип аффективного характера [11]. Автор не исключает возможности влияния на словную гармонию со стороны алтайских (гуниский, аварский, булгарский) языков.

После палатализации задненёбных начало действовать смягчение зубных (альвеолярных) согласных перед *j*. Различие между славянскими языками проявилось прежде всего в трактовке *tj*, *dj*. Эти процессы могли начаться около 650 г. (на западе) и завершиться на востоке и юге приблизительно в 750 или 775 г. [схематически 675—750 (+25 лет)]. Проблематичным является вопрос о *l* вторичном при губных и его истории в западославянских языках. В итоге для восточнославянских диалектов, на базе которых развился древнерусский язык, актуальна была следующая система согласных: *p — b*, *t — d*, *s — z*, *c' — s' — z'*, *č — ž — ž*, *k — g — ch*, *n — n'*, *r — r'*, *l — l'*.

После 800 г. имеются лингвистические факты о прошедшей перестановке плавных в группах *tort*, *tolt*, *tert*, *telt*. В этих сочетаниях в духе закона открытых слогов вершина звучности перешла на второй компонент. Этот союрный элемент развивал перед собой или вслед за собой гласный признак, который переживал различную историю в славянских языковых группах. Наряду с перестановкой плавных следует учитывать переход *ā* в *o*, ибо от совокупности этих явлений зависел фонетический облик слова после перестановки плавных. Перестановка плавных происходила примерно в 750—825 (или 775—850) годах. У восточных славян этот процесс был живым еще

в IX в., о чем свидетельствует турецкий топоним *Tamantarkan*, изменившийся через *Tymptorokanь* в *Tymutorokanь*. Аналогично развивались и группы *t'ert*, *t'ort*, *t'olt*, *t'olt'*, в которых звучность сосредоточивалась на плавном элементе. Последующая история подобных сочетаний принадлежит уже истории отдельных славянских языков.

Наконец, в праславянском позднего периода возникли носовые гласные *o* и *ę*. Они появились после смягчения зубных, т. е. после 750 г., в 750—825 гг. Довольно быстро носовые утратили носовой привкус, на Русь и в Чехии это произошло около 950—1025 гг.

После происшедших изменений система гласных, нарушенная возникновением лабиализованных *'u*, *u*, получила тенденцию к лабиализации кратких гласных заднего ряда *ъ* и *ā* > *o*. Фонологическая долгота после этих изменений оказалась избыточной, ее место заступило качество гласных *e — o*. Сокращение долгих гласных коснулось прежде всего конца слова. Сокращения не было в трех позициях: 1) в двусложных словах перед ударением: чеш. *tráva* (русск. *травá*), *mouka* (русск. *мука*); 2) в двусложных словах с акутовой интонацией: чеш. *vrána* (русск. *ворона*), *moucha* (русск. *муха*); 3) в трехсложных словах перед внутренним ударным кратким гласным: чеш. *narodъ* (из *narodъ*). На восточнославянской территории возникла такая система гласных: *i — y*, *'u/u*, *ъ — ъ*, *e — o*, *ě — a*. Глава завершается замечаниями о новой структуре славянского слога, системе чередований, праславянском ударе и интонации.

Пятая глава характеризует фонологическое развитие в конце слова при склонении и спряжении. В шестой главе анализируется развитие фонологической системы в позднем праславянском. Здесь разбираются возникновение противопоставления по твердости и мягкости, утрата носовых, проблемы стяжения, утрата и вокализация редуцированных, возникновение нового акута и заместительного удлинения.

Книга завершается кратким обзором фонетико-фонологических систем славянских языков после распада праславянского.

Таким образом, монография А. Лампрехта содержит ценное и систематическое изложение временных границ, периодизации и хронологии развития праславянского языка. Автор не отнюдь в основных идеях своей книги. Он развивает инноваторский подход к периодизации праславянского языка Н. Ван-Вейка, опирается на выводы В. Кипарского, К. Э. Видуэла и З. Штибера. Однако в работе А. Лампрехта содержится весьма привлекательная

для слависта хронологическая приуроченность многих фонетико-фонологических явлений. Это свойство книги будит мысль и приближает нас к установлению абсолютной хронологии праславянских языковых изменений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирбаум Х. Праславянский язык: достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.
2. Lamprecht A. K chronologii foneticko-fonologických změn v praslovanštině // SaS. 1973. Roč. XXIV. C. 2.
3. Pozdní praslovanština a její vývoj na východoslovanském území // Cs. přednášky pro VII mezinárodní sjezd slavistů. Linguistika, Praha, 1973.
4. Lamprecht A. Praslovanština a její chronologické členění // Cs. přednášky pro VIII mezinárodní sjezd slavistů. Linguistika, Praha, 1978.

5. Lamprecht A. Praslovenská geneze slovenské jazyky // Československá slavistika 1983. Praha, 1983.
6. Erhart A. Indoevropské jazyky. Srovnávací fonologie a morfologie. Praha, 1982.
7. Váňa Z. Svět dávných Slovanů. Praha, 1983.
8. Novák Ľ. K najstarším dějinám slovenského jazyka. Bratislava, 1980.
9. Steber Z. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Fonologia. Warszawa, 1969.
10. Bidwell Ch. S. The chronology of certain sound changes in Common Slavic as evidenced by loans from vulgar Latin // Word. 1961. 17.
11. Kopečný F. Lze, nelze, nelzelo // SaS. 1972. Roč. XXXIII. C. 2.

Конрашов П. А.

Л. А. Булаховский и современное языкознание. К 100-летию со дня рождения. Сборник научных трудов. Киев: Наукова думка, 1987. 288 с. (на русском и украинском языках).

Кажется невероятным, что 1988 год был годом столетия со дня рождения выдающегося лингвиста-слависта, академика АН УССР, члена-корреспондента АН СССР Леонида Арсеньевича Булаховского. Невероятным потому, что многие относительно молодые советские лингвисты помнят украинского ученого, хорошо знают его труды (число которых превышает 400 наименований) и развивают его идеи, а студенты-филологи с интересом штудируют его учебники. О том, что Леонид Арсеньевич продолжает оставаться нашим современником, свидетельствует и изданный «Науковой думкой» сборник научных трудов видных советских и зарубежных лингвистов.

В сборнике — две части. Первая, — так сказать, «мемориальная», где дается всестороннее освещение фундаментального наследия Л. А. Булаховского с проекцией в современность; вторая — общелингвистическая, в которой на конкретном материале демонстрируется продуктивность направлений и идей, выдвинутых в свое время ученым. Граница между обеими частями, конечно же, довольно условна, ибо эти части объединены стремлением отразить научные интересы Л. А. Булаховского.

Сборник открывается обобщающим очерком жизни и научной деятельности Л. А. Булаховского, написанным его ученицей Т. Б. Лукиной. Этот очерк предваряет все последующие статьи книги. «Те, кому посчастливилось учиться у Л. А. Булаховского, общаться с ним, помнят его не только как большого

ученого и блестящего лектора, необыкновенно эрудированного, с тонким чувством юмора, но и как очень добродетельного, чуткого, внимательного человека; вместе с тем он умел быть твердым и непреклонным в принципиальных вопросах» — таким видится Учителю автору очерка (с. 10).

В первой части книги удачно собраны работы по тем аспектам языкознания, в которых Л. А. Булаховский оставил глубокий след. А. В. Десицкая определяет в своей статье место украинского ученого в ряду классиков советского языкознания — в ряду, который представлен такими именами, как Л. П. Якубинский, В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский. Особое внимание автор статьи уделяет концепции литературного языка, которая создавалась украинским исследователем в живом творческом диалоге с этими учеными. М. М. Пешак в статье «Л. А. Булаховский о методах в языкознании» демонстрирует методологическую комплексность подхода классика советской лингвистики к языковым фактам: в его трудах используется 21 (!) метод анализа последних (от статично описательного, экспериментального и сравнительно-исторического до статистического и лингвоэтнографического). Важно, что как и у современника Л. А. Булаховского, ленинградского профессора Б. А. Ларина, методологическая широта вытекает из «обеспечения полноты материала» (с. 35).

Целая серия статей первого раздела посвящена славистическому (в широком

смысле) наследию Л. А. Булаховского. В очерке Н. П. Романовой «Проблема межславянских языковых отношений в свете работ Л. А. Булаховского» подчеркивается, что оценка таких отношений как важнейшего фактора развития литературных языков, фактора не менее важного, чем тенденции внутреннего порядка, — одна из основ научной концепции ученого. Анализу проблем современного функционирования русского языка в трудах Л. А. Булаховского посвящена статья М. А. Карпенко. Г. П. Шваторак развивает взгляды ученого на украинско-белорусскую языковую общность, а Л. Л. Гумецкая анализирует его характеристику староукраинского письменнолитературного языка, не скрывая от читателя некоторой ее противоречивости (с. 93). И. А. Стоянов раскрывает болгаристические интересы Л. А. Булаховского, подчеркивая, что они проявились уже в 1911 г., когда молодой ученый откликнулся рецензией на одну из этимологических монографий Ст. Младенова. К. К. Трофимович пишет о Л. А. Булаховском как соратнике, хотя и не скрывает, что интерес к серболужичским диалектам у него был в целом периферийным. При этом автор вносит уточнения в трактовку Л. А. Булаховским возникновения верхнедужицкого литературного языка: оно было, как показывают современные исследования, мотивировано не только национально-культурными моментами, но и другими факторами. Значителен был интерес Л. А. Булаховского к балтистике. В статье А. П. Непокупного не только анализируются различные аспекты этого интереса, но и на материале переписки ученого с балтийскими коллегами (прежде всего — с К. Бугой) раскрываются малоизвестные страницы биографии украинского языковеда. Мемуары Ю. Л. Булаховской о живых творческих контактах ее отца с украинскими писателями (М. Т. Рильским, П. Г. Тычиной, Ю. И. Яновским, М. П. Бажаном и др.) — весьма живой и свежий штрих жизнеописания ученого.

Некоторые статьи первого раздела книги заострены на «уровневом» анализе языковых фактов. Здесь, естественно, представлены прежде всего те аспекты лингвистики, в которых Леонид Арсеньевичем сделано особенно много. В статье В. В. Колесова «Л. А. Булаховский и славянская акцентология» дан основательный разбор монументальных, насчитывающих свыше тысячи страниц типографского текста, трудов украинского академика по акцентологии, показано его подвижничество при отстаивании диалектического подхода к данной проблеме. «Л. А. Булаховский исполнил большую историческую задачу: вывел нас на ши-

рокую дорогу современной акцентологии... Работая в Киеве, он стал учителем нашим, в каком бы городе мы ни начинали» (с. 22), — такова общая оценка его деятельности в этом научном направлении, данная ленинградским фонологом. По мнению В. В. Колесова, «...Булаховский создавал с и с т е м у классической акцентологии, доводи ее осознание до уровня системности...» (с. 24). Вопросам ритмомелодики в трудах Л. А. Булаховского с проекцией их в разработки современных украинских ученых посвящен очерк А. И. Багмут. Здесь хорошо показана связь этих трудов с его общедиалектическими воззрениями на механизм языковой деятельности. Фонологическая проблематика «булаховедения» освещается и в статье М. А. Жовтобрюха «Украинский исторический вокализм в трудах Л. А. Булаховского», где особо подчеркивается значение открытой классиком украинского языкознания закономерности рефлексии *o, e → i*.

Исторический синтаксис украинского языка в освещении Л. А. Булаховского — тема статьи С. Ф. Бевзенко. В очерке Л. С. Паламарчука «Словарный состав языка и его лексикографическая интерпретация в трудах Л. А. Булаховского» подчеркнут вклад ученого в теорию и практику отечественной лексикографии. В этом вопросе Леонид Арсеньевич был максималистом, считая, что лишь полнота описываемого в словарях материала и точность его обработки позволяют исключить дилетантский подход к словарному делу. Статья Л. Г. Скрипник «Вопросы фразеологии в лингвистическом наследии Л. А. Булаховского» напоминает об актуальности предложенных им в свое время классификаций фразеологизмов, особенно — их историко-этимологической проекции.

Второй раздел книги тематически более развернут и общ, хотя и содержит массу новых конкретных фактов. Так или иначе его проблематика связана с кругом интересов Л. А. Булаховского, причем практически все авторы акцентируют современное состояние разработки соответствующих проблем.

Большое место здесь занимает историко-этимологическая проблематика. В статье О. Н. Трубочева «Языкознание и история», открывающей этот раздел, подчеркивается непреходящая важность принципа историзма при этимологической интерпретации слова. Автор отстаивает право этимологов на разночтения в историко-лингвистической интерпретации некоторых слов (*изгой, Русь, праслав. *koptja*). А. Е. Супрун в проблемно заостренном очерке «Алгоритмическое и неалгоритмическое в этимологическом поиске» делится опытом собственной работы над

этимологическим словарем белорусского языка, непринужденно приоткрывая «кухню» историко-лингвистического анализа. Достаточно скептически — и главное — дифференцированно подходить к перспективам автоматизации различных этапов работы этимолога, автор приходит к выводу, что она должна применяться «...отнюдь не для подмены собственно человеческой работы, а для ее облегчения и ускорения, чтобы обеспечить те необходимые этапы этимологизирования, без которых невозможно подлинное, уже неалгоритмизированное исследование» (с. 218). В статье А. А. Беленко «Независимые аналогичные изменения в родственных языках» демонстрируются фонологические, морфологические и словообразовательные потенции и последствия аналогии в индоевропейских языках.

Одна из линий этимологического поиска, настойчиво влекшая Л. А. Булаховского, — деитимологизация в славянских языках — продолжена статьей В. А. Ткаченко. В ней много ссылок на конкретный материал, подтверждающего эту историко-лексическую тенденцию при развитии семантики слов *обруч*, *рушник* и их славянских соответствий. И. М. Железняк предлагает результаты комплексного анализа гидронимии Киева, которая, по мнению автора, «демонстрирует западнославянские параметры общеславянского ареала распространения» (с. 227) и является в какой-то мере изолированной микросистемой. Г. Шустер-Шенц в штудии «К этимологии некоторых славянских слов с начальным *s- (к генезису праславянского *ch-)» предположил несколько конкретных этимологических разработок, связанных с этой фонетической темой (праслав. слова **šerad-*, **šered-*, **šib-*, **šija*, **šipъ*, **šiska*, **šuditi*, **šьdlъ*). По его мнению, праславянский спирант во многих случаях восходит к и.е. **sk-*. Н. И. Толстой очерком о слове *полено* (праслав. **polěno*) продолжает свою хорошо известную славистам серию «Иа географии славянских слов», в которой развивается гипотеза о двух потоках миграции славян на Балканский п-ов. Ареал лексемы **polěno*, для юга Славии концентрирующейся в основном в словенских, отдельных кайкавских, северокарпатских островных и черногорских горах, македонских и болгарских юго-западных горах, свидетельствует о том, «что к южнославянской зоне в целом нельзя подходить недифференцированно и считать ее (на основании анализа нескольких десятков слов) зоной „семантической архаичности“...» (с. 233). Этимологии славянских названий растений, мотивированных числительными, посвящена статья А. Н. Шамоты.

В очерке Ж. Ж. Варбот предлагается

новая этимологическая трактовка глагола *провоорота*; автор связывает ее не со словом *ворота*, метафорически пересмысленным, а с глаголом **ver-* «взывать, связывать, запирать» и далее — с основой **vörn-*, обозначающей отвертеть. Преимущественно в форме распуха, т. е. (в данном конкретном случае) «рот, пасть». Эта этимология убеждает, ибо в ее пользу можно было бы привести и активный ряд славянских народных фразеологизмов типа *разевать рот*, *открывать пасть* и под. со значением «ротозейничать, быть невнимательным» (ср.: *ротозей*, *разаяла* и т. д.). И в статье Г. М. Ягроской «О некоторых параллелях в развитии лексического значения (русск. *живой* — *мертвый*, англ. *alive* — *dead*)» фразеологическая аргументация весьма существенна, ибо антонимическая пара *живой* — *мертвый* воспроизводится во фразеологии разных языков. Собственно фразеологической проблематике посвящен свежий историко-этимологический очерк В. В. Нимчука о древнерусском обороте *рабичья ночь*. Опираясь на богатый диалектный материал, автор возводит первый компонент к лексеме *рабъ* (*рабь*) «куропатка; рябчик», а сочетание в целом расшифровывает как «грозовая ночь, когда масцою гибнут куропатки, рябчики».

А. С. Мельничук в статье «О начальных этапах развития письменности у восточных славян» вновь возвращается к гипотезе о «русских письменах», найденных Кириллом в Херсонесе во время путешествия к хазарам в 860 г., которые имели протоглаголический характер и были впоследствии использованы им для создания глаголицы. В пользу этой гипотезы свидетельствует как языковая ситуация, сложившаяся в Киевской Руси после официального введения христианства, так и — особенно — то обстоятельство, что, отправляясь в Моравию, в которой имело место засилье римской церкви, крайне враждебно настроенной по отношению к греческой, Кирилл как опытный и умный дипломат не мог начать свою миссию с распространения там церковного письма, основанного на греческой графике, которое сразу встретилось бы с решительным сопротивлением Рима (с. 134). Причины и обстоятельства появления и развития славянской письменности у восточнославянских народов раскрывает в своей статье А. Т. Борщ. Очерк Л. Н. Смирнова посвящен истории словакистики в России, где славянским языком интересовались также известные филологи, как П. И. Кептея, И. И. Срезневский, М. П. Петровский, А. А. Соколов, Т. Д. Флоринский.

Большая серия статей, представленных в сборнике, продолжает начатую в свое время Л. А. Булаховским разработку тео-

рии славянских литературных языков. А. Едличка в статье «К развитию науки о славянских литературных языках» анализирует три направления в исследовании этой проблематики — общетеоретическое, монолингвальное, полилингвальное. Здесь подчеркивается и вклад Л. А. Булаховского в развитие богемистики на Украине. В. М. Русаковский, опираясь на наследие Л. А. Булаховского, дает аналитический очерк истории славянских литературных языков. «Сравнительная история славянских литературных языков, — по мнению автора, — с одной стороны, является направлением, интегрирующим историю развития отдельных славянских литературных языков, а с другой — составной частью истории развития славянских культур» (с. 159). В сборник включен и ряд статей по конкретным проблемам, связанным с развитием и функционированием славянских литературных языков: «Среднеадриатический, волынский и подольский говоры и их отношение к новому украинскому литературному языку» (И. Г. Матвилюк), «Украинские лексические элементы в системе выразительных средств русского литературного языка» (Г. П. Ижакевич), «Из украинско-северо-русских лексических параллелей. I» (П. Е. Гриценко), «Функционально-семантический синкретизм реплик художественной прозы» (М. К. Мильх), «Из наблюдений над использованием музыкальной терминологии в украинской поэзии» (В. И. Ярмак).

Имеются в книге и статьи, посвященные анализу различных уровней языка. В. Г. Склярченко исследует подударные редуцированные гласные начального слова в древнерусском языке. В. Т. Коломиец рассматривает прилагательные с суф. *-ат/-оат/-, -ит/-оит/-, -аст, -ист-* в славянских языках. Общие особеннос-

ти и динамические импульсы находит Т. Б. Лукинова, сопоставляя тенденции развития числительных на болгарско-македонской почве. Предметом исследования Н. С. Зарицкого является частлечивидовая соотносительность глаголов современного русского языка, которая, по мнению автора, «не представляет собой универсалии для всей глагольной лексики» (с. 202). В статье Л. Дажё «Типологические гоноры выражения объекта в славянских языках» рассматриваются надежды, выражающие объект, анализируется роль одушевленности и партиципальности.

Как видим, сборник, посвященный столетию со дня рождения Л. А. Булаховского, масштабно представляет основные «сюжеты», вдохновлявшие еще недавно классика украинского языкознания. Важно и то, что большинство авторов этой книги следует основному научному принципу, составляющему, по моему замечанию В. В. Колесова, важную для истории нашей науки особенность Л. А. Булаховского-исследователя: «...ст материала во всей его сложности и противоречивости к последовательным в степенях отвлеченности научным обобщениям, порождающим новую научную теорию» (с. 27). Статьи, объединенные наименованием «Л. А. Булаховский и современное языкознание», и «материальные», и теоретичны, что делает их новым шагом в исследовании проблем, интересовавших Леонида Арсеньевича. Редколлегия сборника (А. А. Белецкий, А. С. Мельничук, Г. П. Пшторак, В. М. Русаковский) во главе со своим председателем Т. Б. Лукиновой, тщательно и любовно отобрал «строительный материал» для этой книги, и возвела тем самым добротный научный монумент к столетию своего Учителя.

Мокиенко В. М.

Дикционар експликатив ал лимбий молдовенешть/Ред. принципал Бережан С. Г. Кишинэу: Карта молдовенешкэ. Вол. 1 (А—М). 1977. 847 паж.; Вол. 2 (Н—Я). 1985. 876 паж.

Выход в свет двухтомного «Толкового словаря молдавского языка» — значительное событие в лингвистической практике и культурной жизни Советской Молдавии. Издание словаря как бы подводит итог многолетней лексикографической работе молдавских языковедов. В последние десятилетия в республике издавались разные словари (двуязычные, терминологические и др.) по различным отраслям знания. Однако значение этого фундаментального лингвистического труда определяется тем, что это первый академический толковый словарь, отражающий

с достаточной полнотой исторически сложившееся на протяжении столетий лексическое богатство, функциональное и стилистическое развитие молдавского литературного языка.

Рецензируемый словарь подготовлен сотрудниками сектора лексической семантики и одноязычных словарей Института языка и литературы АН Молдавской ССР. К работе были привлечены также и некоторые квалифицированные специалисты из вузов республики. Первоначально руководителем работы был В. П. Соловьев, а затем общее руковод-

ство и научное редактирование словаря осуществил чл.-корр. АН МССР С. Г. Бережан. Следует сразу же отметить, что второй том словаря в известной мере отличается от первого. Отличия касаются не так собственно словарного материала, как его лексического представления, основанного на глубоком теоретическом исследовании лексики.

Словарю предпосланы: «Предисловие», «Принципы структурирования и описания лексики», «Особенности техники подачи материала», «Принципы структурирования...» имеют самостоятельную ценность. В данной вводной статье (т. 2) кратко охарактеризованы поставленные задачи, предпосылки создания толкового словаря молдавского языка, изложены современные методы лексикографических и семантических исследований, описана новая методика редактирования материала. Сущность нового подхода состоит в том, что словарный материал описывался не по алфавитному принципу (т. е. не слово за словом), а по морфологическим, семантическим, словообразовательным и тематическим классам с тем, чтобы у каждой группы слов был свой тип толкования. В результате была достигнута более высокая степень унификации толкования слов и оптимизирована система лингвистического описания. Особо следует отметить и приложения, которые составляют неотъемлемую часть словаря. Это «Оттопонимические имена и прилагательные», «Отантропонимические прилагательные», «Образования со статусом имен собственных», «Элементы сложений».

Работа молдавских ученых над словарем велась в течение двух десятилетий. Это сравнительно небольшой срок, если учесть, во-первых, объем словаря (более 220 уч.-изд.л.), во-вторых, то обстоятельство, что его составителям приходилось в процессе работы решать во многом новые для молдавской практической лексикографии проблемы: подготовка специальной картотеки; отбор слов и составление словника; разработка теоретических принципов толкования различных частей речи, лексико-семантических и тематических групп; унификация формул толкования; отбор составных наименований и устойчивых словосочетаний; разработка принципов размещения слов в словарной статье и приемов раскрытия семантики; определение границ отдельных значений слова; семантизация многозначных слов; особенности иллюстрирования значений слов и фразеологизмов; представление в словаре интернационализмов и др.

Решение указанных проблем стало возможным на основе теоретических разработок советской лексикографии и бо-

гатой практики создания толковых словарей различных языков народов нашей страны. Были использованы принципы и методика издания толковых словарей русского языка [1—5], а также опыт румынских лексикографов [6—9]. Двухтомный толковый словарь молдавского языка содержит около 60 тыс. словарных статей. Все лексические элементы, представленные в словаре, в большинстве своем функционируют в художественной, общественно-политической и научно-технической литературе, в периодической печати, в языке радио- и телевидения, а также в разговорном языке на всей территории республики.

Толковый словарь — труд лингвистический, он дает прежде всего информацию о слове [10] как единице лексико-семантической системы языка [11], поэтому одной из главных задач его является точное определение значения слов. С целью представления лексики литературного языка в разных аспектах молдавские лексикографы справедливо ставят на первое место вопрос о типах информации, содержащейся в слове и в самом словаре. Такой многомерный подход к разным аспектам лексики позволяет фиксировать семантику и сферу употребления слов, их грамматические формы, стилистические характеристики, их способность к словообразованию, семантические отношения с другими словами (синонимия, антонимия, омонимия), их нормативность.

Все это способствовало рациональному построению словарной статьи. В ней даются грамматические формы и морфологические характеристики заглавного слова; после толкования значения слова, в скобках, следует указание на сферу функционирования и синтаксические связи слова, приводится его антоним, синоним или деривативная основа. Нужно отметить отказ авторов от толкования слов с помощью синонимов. В результате у синонимичных слов обнаруживается идентичное толкование, отражающее их семантическую эквивалентность. Синоним появляется в толковании слова только в том случае, если он не ограничен в функционировании (как устаревшее, книжное, редко употребляемое и т. п. слово). Приведем примеры описания значений слов. В молдавском языке слова *комерц* и *негоц* семантически эквивалентны, поэтому толкование их основных значений одинаково, ср. перевод толкования: «процесс реализации товаров в форме купли-продажи» (1, с. 597; 2, с. 32). Однако *негоц* обладает еще одним значением — «частная коммерческая деятельность; частная торговля», которого нет у слова *комерц*; последнее может выражать это значение только в сочета-

нии с другим словом: *комерц партикулар*. Кроме того, слово *негоц* отличается от слова *комерц* еще одной чертой — оно является устаревшим, о чем сообщает соответствующая помета в словаре. Смысловая связь между этими словами отражается и толкованием основного значения, и тем, что в статье *негоц* есть отсылка к его синониму *комерц*, но не наоборот. Для сравнения приведем толкование соответствующих слов в румынском толковом словаре, см. [6]: *сотец* «обмен продуктами путем их купли-продажи; отрасль народного хозяйства, в рамках которой происходит обмен товаров»; *негоц* «экономическая деятельность (в частном секторе) по обмену товаров, их продаже и купле; обмен продуктов в форме купли-продажи» (кстати, это значение дано без пометы «устаревшее»).

Во втором томе словаря толкования значений точнее и лаконичнее, чем в первом. Ср., например, толкование одного из омонимичных значений у глаголов *а экзамина* «рассматривать, экзаменовать» и *а обсерва* «замечать, наблюдать». Дефиниция слова является филологической, а не энциклопедической; ср. толкование слова *препелица* «перелетная полевая птица небольшого размера с черными и белыми полосками на спине, с коротким хвостом, на которую охотятся из-за ее вкусного мяса» (т. 2) и того же слова в румынском словаре [7], где дефиниция содержит смешение филологического и энциклопедического подходов: *prepelită* «перелетная птица отряда куриных, бурого цвета с полосами на спине, на которую охотятся из-за ее вкусного мяса». Каждое значение в меру необходимости сопровождается иллюстративным материалом. Так, прилагательное *назал* иллюстрируется словосочетаниями: *фосе назал*, *кавитэцэ назал* «носовая полость», *вокалэ назалэ* «носовой гласный», *тимбру назал* «носовой тембр».

При составлении молдавского толкового словаря ставились две задачи: 1) раскрытие онтологической картины молдавской лексики путем выявления реального количества лексических единиц языка, их значений и потенциальных деривативных возможностей; 2) гносеологическое упорядочение этих единиц путем определения их в отдельных словарных статьях и фиксации возможных системных отношений среди элементов словаря. Принципы, примененные при разработке словаря, позволили внедрить некоторые новшества в способ подачи языкового материала, а именно: 1) с целью более полного отражения инвентаря лексем в отдельные словарные статьи выделены все элементы, имеющие статус самостоятельной лексической единицы; 2) с целью отражения

семьи как элемента языка особое значение уделено определению значений слова; 3) с целью представления как индивидуального, так и категориального содержания объясняемых слов в каждом случае была установлена связь между лексическим и грамматическим значением (например, лексемы *инвизити-ор*, *оаре* «учитель—учительница» рассматриваются авторами как два самостоятельных слова, образующих оппозицию на уровне грамматической категории рода, когда речь идет о двух независимых лексических элементах) [12, 13]. Такой принципиальный подход позволил авторам словаря отразить уровень системного анализа лексики.

Особо следует отметить стремление авторов к единообразному толкованию значений слов в соответствии с частями речи, к которым принадлежит данное слово. В этом и проявилась унификация формул толкования, о которой говорилось выше. К тому же целью унификации служат указания на словообразовательные связи однокоренных слов и одинаковое толкование слов, обладающих одними и теми же аффиксами. Таким образом, читатель получает информацию о мотивированности формы слова в тексте толкования, где содержится лексема, от которой происходит или с которой этимологически связано толкуемое слово. Ср., например, *практикант* «лицо, приобретающее необходимую практику при подготовке к деятельности в определенной области»; *практичан* «лицо, хорошо знакомое с практической стороной своей профессии»; *практикабил* «который возможно практиковать; который может быть внедрен в практику; может быть использован»; *публикабил* «который может быть опубликован»; *ревокабил* «который может быть отменен»; *рекомендабил* «который может быть рекомендован».

В связи с этим отглагольные существительные (инфинитивного происхождения) и отглагольные прилагательные, которые употребляются в именном и адъективном значении, выделены в отдельные статьи. Например, если в 1-м томе существительное *дезбрэкаре* «раздевание» было включено в статью о глаголе *а дезбрэка* «раздевать», то существительное *дезбрэкат* «раздет» — в статью о прилагательном *дезбрэкат* «раздетый». Во 2-м томе зарегистрированы отдельные статьи для слов *а ымбрэка* «одевать, надевать», *ымбрэкаре* «одевание» (процесс — действие), *ымбрэкат* «одевание» (завершенный процесс), *ымбрэкат* «одетый». Таким же образом однокоренные существительные с различными грамматическими показателями представлены как самостоятельные величины, например, *русист* (м.р.)

и *русист* (ж.р.), *типограф*, -е (общий) и *типограф*, -ь (м.р.). В 1-м томе в подобных случаях разные слова объединялись в одной статье, ср. *аутократ* (сущ. и прилаг.), «абсолютный монарх; деспот; тиран».

При описании глаголов важнейшей их характеристикой (в т. 2) считается переходность/непереходность. Если в 1-м томе у одного и того же глагола можно было встретить одновременно три пометы: *транз.* (переходный), *импранз.* (непереходный), *рефл.* (возвратный), например, в глаголе *а ажулке* (неперех. «прибывать», перех. «догонять», возвр. «встречаться; договариваться»), то во 2-м в словарной статье возможны только сочетания переходного и непереходного значений одного и того же глагола, например, в статьях *а неговчи* «вести переговоры; продавать», *а обочи* «устанавливать; утомляться», *а паште* «пасться» и др. Возвратные формы, которые по своей природе являются непереходными местоименными глаголами, выделены в отдельные статьи, когда в них заключены семантика непереходности и материально выраженное грамматическое значение (имеется в виду ненаправленность действия на объект и невозможность управления беспредложным вин. падежом, ср. *а се митыли «встречаться»* и *а митыли «встречать»*). Такой принцип подачи глаголов крайне ограничен в словарях русского [1] и украинского [14] языков. Таким образом, переходность толкуется авторами рецензируемого словаря как лексико-семантическая и грамматическая категория, отсюда и отказ от признания возвратности (рефлексивности) в качестве категории однородной с переходностью / непереходностью.

В связи с этим во 2-м томе перестроена подача глаголов, традиционно называемых в молдавских грамматиках возвратными (рефлексиве): если краткую форму возвратного местоимения в вин. падеже невозможно отделить от глагола с помощью других слов без ущерба для его значения, то такой глагол считается местоименным непереходным и обретает самостоятельный статус в отличие от однокорневого переходного глагола. Так, *а се рушина «стыдиться»* считается непереходным глаголом, а *а рушина «стыдить»* — переходным; ср. еще: *а се уита «смотреть»* — *а уита «забыть»*. Но если возвратное местоимение при глаголе может быть повторено репризой полной формы местоимения [ср.: *се спала не сине «он моет», букв. «он(а) себя моет себя», мшь спала сие, букв. «себе он(а) моет стирает себя»*] или притяжательным местоимением [ср.: *мшь спала кэмишиле сале букв. «себе он(а) стирает свои сорочки»*], то в таком случае данный гла-

гол считается простым переходным, так как возвратное местоимение приобретает здесь синтаксическую функцию [ср.: *еа се спала «он себя моет/он моется»* и *еа мэ спала «он меня моет»*].

В молдавском языке глагол с возвратным местоимением в вин. падеже может иметь, как и в русском, функцию страдательного залога, например, *се фаче о касэ «строится (букв. делается) дом»* равнозначно выражению *о касэ есте фэкутэ* с пассивной формой глагола, в этом случае молдавский глагол *а фаче «делать»* толкуется как обычный переходный. Наконец, глаголы, выступающие в конструкциях с местоимением в дат. падеже (типа *а-шь микилуи «представить себе»*) относятся к переходным, если после них может употребляться прямое дополнение в вин. падеже. Таким образом, при определении статуса глагола учитывается и его форма (морфема *се* вводится в заглавную форму статьи), и его семантика.

Любопытное решение найдено при определении переходности/непереходности глаголов со значением взаимного действия. Если возвратное местоимение в вин. падеже при глаголе может быть дополнено сочетанием *унуа ку аятуа «друг с другом»* (например, *а се чарта «сориться, ругаться»*), то этот глагол считается непереходным местоименным глаголом взаимного действия. Если же возвратное местоимение может быть дополнено словосочетанием *унуа не аятуа «друг друга»*, тогда глагол считается переходным. Дело, однако, в том, что некоторые глаголы могут иметь оба этих управления, т. е. сочетаться как с *унуа ку аятуа*, так и с *унуа не аятуа*; ср.: *а (се) пэруи «таскать друг друга за волосы; вшестись друг другу в волосы»*; *а (се) салута «приветствовать друг друга; здороваться друг с другом»*; *а (се) юби «любить друг друга; испытывать любовь друг к другу»*, и это обстоятельство не учтено в рецензируемом словаре. Кстати, заметим, что в приведенных примерах значение собственно взаимности появляется у соответствующих глаголов только в формах множественного числа, а в формах единственного лишь тогда, когда оно эксплицитно выражено синтаксически дополнением содвигнутого объекта, например, *еа се чарта ку мене «он сорится/ругается со мной», но еа се чарта «он сварлив»*.

Это является доказательством того, как тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены в слове лексическое и грамматическое значения, как трудно их различать и как, все же, необходимо учитывать лексико-семантический и грамматический аспекты слова. Отметим, что в последнее время и румыские лингви-

сты предпринимая попытки пересмотреть традиционную группу «возвратных» глаголов, ср., например, параграфы, посвященные залого глагола в [9, с. 166—169].

В целом толковый словарь молдавского языка обобщает определенный этап в изучении современного молдавского литературного языка. Глубокое и тонкое знание лексики, использование теоретических принципов и новейших методов ее анализа позволили молдавским ученым создать ценный труд, представляющий большой интерес не только для молдавского, но и для романского и общего языкознания, для лексикологов и специалистов ряда смежных наук (историков, этнографов, культурологов и т. д.). Молдавский народ получил теперь возможность более глубоко и полно познать богатство своего родного языка и национальной культуры. Именно в этом заключается основное значение этого труда. Нет сомнения в том, что рецензируемый словарь окажет стимулирующее воздействие на дальнейшее развитие молдавского языка и культуры.

Отмечая высокий редакционный и полиграфический уровень рецензируемого словаря, в порядке пожелания считаем необходимым сделать ряд замечаний, которые могут быть учтены при последующих переизданиях словаря. Прежде всего хотелось бы, чтобы словарь был дополнен. В предисловии задачи и цели словаря определены следующим образом: «представить с надлежащей полнотой состав словаря современного литературного языка, равно как и той части лексики предшествующих периодов, знание которой требуется для чтения классической литературы, прогрессивной публицистики, научных произведений XIX — нач. XX в. и которая стала неотъемлемым компонентом современной ... культуры» (с. 5). Тем не менее в рецензируемом словаре нет слов *пашоптизм* «пашоптизм (прогрессивное движение в буржуазно-демократической революции 1848 г.)», *пращуитор* «опытитель», *радикулитэ* «радикулит», *радиодержитэ* «рентгеновский дерматит», *спондилоаз* «спондилёз», *стикалопластик* «стеклопластик», *гидростат* «гидростат» и др. Очевидно, некоторые из отсутствующих слов были отнесены к диалектам, например, *а нинери* «достигать, попадать», *ожинэ* «полдник», *плицэ* «плис (ткань)», *плоштинэ* «болото», *скарандиу* «капризный», *толлицэ* «родник (с теплой водой)», *требуля* «нужда, дело», *а флекуи* «толоочь», *хускэ* «глыба, ком соли», *шаран* «карп (медкий)» или же к историзмам и архаизмам, как, например, *нахлэп* «водоворот», *пестиленцэ* «чума», *табулхана* «(турецкий) военный оркестр», *фобургэ* «предме-

стье». Но непонятно, почему остались за пределом реестра слова, фиксируемые в других современных словарях [15, 16], например, *пашкэ* «махорка», *палкэ* «палка, розга», *рифэ* «риф (мера длины)», *рытан* «свинья», *а рэжэдуи* «набрасываться (с бранью)», *смотру* «смотр, парад», *строхэ* «объедки сена», *фионгэ* «бант», *фэскуцэ* «кадка для сыра», *хатие* «гаты, запруда» и др., которые встречаются в произведениях классиков молдавской литературы (И. Криягэ, В. Александри, М. Эминеску и др.) и не зафиксированы в рецензируемом словаре.

С другой стороны, составителям словаря следовало бы пересмотреть некоторые толкования с целью их уточнения. Например, слово *оштире* объясняется как «совокупность вооруженных сил страны». Но такое толкование нельзя признать удачным, ср. у И. Криягэ: *Кыте оштире стране ... ау трекут ын времэа копиэарией меле ... прил Хумудешть* «Сколько иноземных войск ... прошло во времена моего детства ... через Хумудешть». В словарной статье *парте* отсутствует широко распространенное в молдавском языке словосочетание *а аяя партиэ* «быть наделенным судьбой, посчастливиться» (И. Некулче, К. Колаки, И. Криягэ, В. Александри и др.). В толковании слова *паяцэ* третье (переносное) значение «человек, лишенный самостоятельности, индивидуальности» стало бы понятнее, если бы ему предшествовало значение «кукла, одетая как паяц», не зафиксированное авторами.

Иногда толкования перегружены избыточной информацией, например, при объяснении лексемы *петардэ* лишними являются слова *пентру армеле де фок* «для огнестрельного оружия»; неудачно толкование *системул де скриере рудиментарэ* «примитивная система письма» к лексеме *пиктограма*, ибо пиктограммы широко используются и в наше время. В толковании глагола *а плути* «плыть» оказывается излишней лексема *мичет* «медленно» [*а се мишка (мичет) пе супра-фаца унуи ликвид* «медленно передвигаться на поверхности жидкости»], что почувствовали и сами авторы, взяв ее в скобки; ср. в связи с этим стихи В. Александри: *Итэ, плутинд пе-а мэрий стумэ, о спринтезэ ковертезэ* «Вот плывет по морской пене резвый корабль», кстати, слово *спринтезэ* в словаре толкуется и с помощью прилагательного *юте* «быстрый». Лишним является определение *натуралэ* «естественный» в толковании слова *ступэ* «улей», так как в молдавском языке *ступэ* обозначает только рукотворный, а не естественный улей (*штюбей*).

В других случаях желательны более точные объяснения значений, например, в словосочетании *орбулэ гвиниэор* (не

только *жемералописе*, но и *миопис*, ср. у И. Крияга) «куриная слепота», *патрула* (не только *де миштарь*, но и *де чивил*, ср. патрулирование добровольных народных дружин), *сос* («соус», в толковании утверждается, что лук и мука являются обязательными ингредиентами этого кулинарного изделия, но *сос алб* «белый соус», например, не содержит лука, а *сос де роши* «томатный соус» чаще всего не содержит муки) и др.

У некоторых лексем следовало бы выделить дополнительные значения, например, значение «астма» в слове *надушало*, «шатер» — в слове *отак*, значение «совокупность документов» у слова *пакет*, «шутка, проказа, затея» — в слове *понос* (ср. у И. Крияга) и т. д. Следует уточнить место ударения в словах *обично* (вм. *обично*) «вершина, холм», *ометичиз* («ометичиз») «пороша, мучная пыль», *пеларгоние* («пеларгоние») «пеларгония», *плайке* («плайке») «рыбное блюдо, плов», *сфжжикэ* (отсутствует ударение) «служанка», *фриптрэ* (отсутствует ударение) «жареное мясо», *фуаде* (отсутствует ударение) «варшис», *центурие* (вм. *центурие*) «центурия», а также исправить написание слов *патожение* (вм. *патожение*) «патогения», *ружэйт* («ружэйт») «рожа (болезнь)», *соржэйте* («соржэйте») «источник (воды)», *тиретококсикозэ* («тиретококсикоз»), *фележэйн* («фележэйн») «пила», *халаважиу* («халаважиу») «торговец халвой» и др.

Высказанные замечания никоим образом не умаляют достоинств рецензируемого словаря. Как уже было сказано, «Толковый словарь молдавского языка» — не только очень крупный и полезный труд, имеющий огромное практическое значение, но и во многом новаторский в теоретическом отношении, впервые представивший лексический состав молдавского языка в обновленном виде через призму современной лексикографической концепции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Словарь русского языка: В 4-х т. 2-е изд. / Гл. ред. Евгеньева А. П. М., 1981—1985.

Архангельский областной словарь. Вып. 1—5/Под ред. Головой О. Г. М.: Изд-во МГУ, 1980.

В 1987 г. вышел из печати 5-й выпуск Архангельского областного словаря.

В рецензируемые выпуски вошли слова на буквы А—В [общее количество — 8372 словарных статьи (без отсмысленных)].

Значение данного издания для науки о русском языке весьма велико. Прежде всего в поле исследования оказались со-

2. Бабкин А. М. Новый академический словарь русского языка. Проспект. Л., 1971.

3. Шедова Н. Ю. Однотомный толковый словарь // Русский язык: Виноградские чтения. IX—X. М., 1981.

4. Малаховский Л. В. Специальные термины в общем словаре: принципы отбора и толкования // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. Л., 1976.

5. Караулов Ю. П. Об одной тенденции в современной лексикографической практике // Русский язык: Виноградские чтения. IX—X. М., 1981.

6. Breban V. Dicționar general al limbii române. București., 1987.

7. Dicționarul explicativ al limbii române / Cond. lucrării: Coteanu I., Seche L., Seche M. București, 1975.

8. Dicționarul limbii române moderne / Sub direcția: Macrea D. București, 1958.

9. Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia / Ciompec G., Dominte C., Forăscu N. et al.; Sub coordonarea: Coteanu I. București, 1985.

10. Киселевский А. И. Об определениях в энциклопедиях и толковых словарях // ВЯ. 1979. № 2. С. 91.

11. Винокур Т. Г. Толковый словарь и языковое употребление // ВЯ. 1986. № 4. С. 16.

12. Березан С. Г. Взаимозависимость между лексическим и грамматическим значениями в составе слова (на основе словарного толкования глаголов) // Исследования по семантике. Общие вопросы семантики. Уфа, 1983.

13. Березан С. Г. Обусловленность словарного значения глагола его грамматическими особенностями // Слово в грамматике и словаре. М., 1984.

14. Словник української мови. Т. I—II. Київ, 1970—1980.

15. Дикціонар ортографіа ал дямбій молдовенешт (ку елементе де ортоепіе). Ед. а 2-а, ревизуэ ши компектатэ. К. Кишинэу, 1978.

16. Дикціонар диалектал (кувинте, сенсурь, форме) / Ред. респонсабил Удлер Р. Вол. I—V. Кишинэу, 1985—1986.

Базина К. В., Семинский С. В.

Архангельский областной словарь. Вып. 1—5/Под ред. Головой О. Г. М.: Изд-во МГУ, 1980.

временные архангельские говоры, сохранившие многие черты древнерусских диалектов, в большей части древневогородского, в меньшей ростоно-суздальского. Если принять во внимание также, что эти говоры сохранили многие черты в словарном составе, не отмеченные памятниками письменности, то значение

данного словаря возрастает не только как источника изучения современного словарного состава архангельских говоров, но и истории языка.

Нельзя не отметить также, что Архангельский областной словарь (АОС) является самым полным собранием диалектной лексики данного региона. Его картотека в период начала работы над текстом словаря насчитывала около 2 млн. карточек и продолжает пополняться. За этой цифрой стоит огромная систематическая работа большого коллектива: было записано и лексикографически обработано более 700 тетрадей, т. е. более 100 000 страниц текста.

О грандиозности рамаха работы свидетельствует также то, что в экспедициях приняло участие около 600 человек, были обследованы говоры более чем 280 населенных пунктов области, причем количество опорных пунктов, в которых работа проводилась от одного месяца до года, составляет 109 населенных пунктов.

Обследовано большое количество носителей диалекта: в каждом опорном пункте информантами были 20—100 человек в возрасте от 50 до 70 лет.

При сборе материалов применялся не только традиционный «ручной» способ записи, но и современная звукозаписывающая аппаратура, обеспечивающая точность передачи больших отрывков речи, что важно для понимания семантики слова и объективного иллюстрирования.

Архангельский областной словарь создается в особых условиях — он идет вслед за опубликованным 100 лет тому назад (1885 г.) и ставшим классическим «Словарем областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении» А. Подвысоцкого. Это открывает, с одной стороны, широкие перспективы для изучения исторического развития словарного состава говоров, с другой, возлагает особую ответственность на составителей словаря.

Составителями словаря была предпринята проверка слов, отсутствующих в АОС и зафиксированных словарем А. Подвысоцкого. Проверка позволила установить, что этот пласт диалектных слов частично вышел из употребления или перешел в пассивный запас.

Словарь открывает целые ряды словообразовательных гнезд, словообразовательных вариантов. Достаточно сказать, например, что с корнем *верх-(верш)-* отмечено более 80 образований, с корнями *брат — брод — (бред-)* более 50, с корнем *бас-(к-)* — 44 и т. п.

Для изучения системных отношений в лексике говоров большую ценность в словаре представляют регулярно приводимые синонимические ряды (ряды ва-

риантности), например, *вечёра*¹ — «зимние вечерние посиделки, вечернее собрание молодежи в помещении для рукоделия и развлечений». Ср.: *бесёда* (в 1-м знач.), *бесёдка* (в 1-м знач.), *бесёдик*, *веселайце*, *веседайка* (в 1-м знач.), *веседае* (в 1-м знач.), *веседаство*, *вечер* (в 1-м знач.), *вечерёна*, *вечерёнка*, *вечеренье*, *вечерёнька* (в 1-м знач.), *вечерильник*, *вечёрна* (во 2-м знач.) *вечеринка* (во 2-м знач.), *вечеринька*, *вечеричка*, *вечеричье*, *вечёрка* (в 1-м знач.), *вечёрник* (в 1-м знач.), *вечёрница*, *вечерова*, *вечероваально*, *вечероваальня*, *вечерованье*, *вечеровка*, *вечеровня*, *вечерок* (в 4-м знач.), *вечерушка*, *вечеруза* (в 1-м знач.), *вечерушник*, *вечерьяльня*, *вечёрья*, *вечёрьяна*, *вечёрьянка*, *вечрушка*, *посёбка*, *посидёнка*, *посёбка*, *сижонка*, *супряжка*. Или: *вдовойца* — «вдова». Ср.: *вдовийца*, *вдовка*, *вдовушка*. Можно сказать, что почти весь материальный и духовный мир говорящих, отраженный в их словарном запасе, нашел отражение в данном словаре. Трудно перечислить в краткой рецензии все группы лексики, представленные в нем.

Полнота материалов позволила составителям АОС отметить, что он значительно богаче Словаря русских народных говоров (СРНГ) (М.; Л., 1965—1987) в соотносительных пределах. Например, отмечается, что в 1-м выпуске АОС (М., 1980) содержится более 2000 слов и значений, не зафиксированных в СРНГ [вып. 1, с. 5], в 3-м выпуске (М., 1983) — 1280 [вып. 3, с. 3], в 4-м выпуске (М., 1985) — 1540 [вып. 4, с. 3], в 5-м (М., 1987) — 1588 [вып. 5, с. 3].

Всего, таким образом, расхождение в словнике СРНГ и АОС на А—В (*a — впрохладку*) составляет около 8400 слов и значений. Не посвященному в историю вопроса читателю может показаться, что СРНГ страдает большим количеством пропусков. Однако дело обстоит значительно сложнее. Прежде всего следует принять во внимание, что АОС развернул свою деятельность (массированный сбор материала) тогда, когда СРНГ был уже составлен на начальные буквы алфавита, почти исчерпав старые, наиболее доступные источники и фонды. СРНГ не мог, следовательно, воспользоваться богатыми материалами АОС, т. к. уходил вперед. Поэтому такое расхождение между словниками словарей вполне естественно. Но дело не только в этом, а также и в принципах отбора лексики. АОС широко включает просторечную, устаревшую, устно-разговорную лексику как элемент системы народного языка. В этом отношении он приближается к Псковскому областному словарю с историческими данными (Л., 1967—). АОС имеет безусловное право на отстаивание и развитие своей позиции. Русская ди-

адектная лексикография обогатилась в последние годы разнообразными типами словарей по содержанию и по форме. В их числе АОС имеет свою яркую индивидуальность. Его материалы открывают такие аспекты лексикологических исследований, которые не могут быть проведены при искусственном отсечении названных пластов лексики.

От начала работы над словарем (в 1959 г.) до выхода первого выпуска (в 1980 г.) прошло около 20 лет. За это время не только были накоплены чрезвычайно богатые материалы, но и опубликован четко разработанный проект словаря [4], в котором изложены теоретические принципы, положенные в его основу, приведены образцы словарных статей. Проект прошел стадию широкого обсуждения, что также способствовало улучшению данного издания. К сожалению, лишь немногие областные словари имеют подобный опубликованный проект. Между тем разработка и издание серьезного проекта являются предпосылкой успешной работы над словарем.

Архангельский областной словарь — словарь дифференциального типа. «Дифференциальность, принимаемая для АОС, представляет собой принцип отличия лексики говоров от нормированного литературного языка в его нейтральном стиле. Любое отличие от литературного слова (исключая регулярные фонетические и грамматические — морфологические и синтаксические — закономерности) является основанием для включения слова в АОС» [вып. 1, с. 8]. Это позволило выявить широкий диапазон диалектных отличий и показать народный язык в его разнообразии и выразительности.

Словарная статья в словаре построена по традиционному образцу дифференциальных словарей с той лишь особенностью, что в ней внимательно прослеживаются разнообразные линии диалектной специфики слова. Отсюда включение в ее состав такого комплекса компонентов, как заглавная форма слова, грамматические пометы, стилистические пометы, порядковый номер значения слова, толкование значения слова, ссылки на синонимы, иллюстрация (пример), указание на район и село (деревню), где записан пример, географические пометы для тех районов, которые не представлены в иллюстрации, особенности употребления, особенности сочетаемости, конструктивно связанное значение слова, оттенок значения, топонимический и ономастический материал, фразеологический оборот, этнографический комментарий [вып. 1, с. 18]. Таким образом, словарная статья, в особенности у слов семантически емких, широко употребительных,

носит более сложный характер, чем во многих областных словарях. Естественно, что такая статья представляет собой географическую сводку разных значений, отмеченных в разных говорах региона.

Заглавное слово в соответствии с принципами традиционной областной лексикографии дается в условной орфографической записи. Вместе с тем иллюстративный материал приводится в строгой фонетической транскрипции, что делает передачу народной речи объективно точной. Поэтому словарь производит впечатление живого звучащего памятника нашего времени.

В Проекте словаря и в предисловии к словарю четко сформулированы принципы семантической характеристики слова. Очевидно, это позволило добиться единообразия в системе словарных определений путем применения рекомендованных приемов семантической характеристики слов через слова-синонимы литературного языка, развернутые определения, способ передодно-толковый, отсылочные слова «то же что».

Семантическая характеристика слов отличается, как правило, семантической точностью, законностью, отсутствием излишних пространственных определений.

Например: *варёной* — «кипячий», *вередитель* — «разрушитель», *вереда* — «вахарка», *глаз* — «открыто, прямо, в глаза», *вслух* — «наглухо, плотно», *всозмать* — «прилагая усилия, поместить куда-н.», *венка* — «двухрядная гармонь», *вених* — «молодые березки, годные для изготовления веников», *веньять* — «тихо и невнятно разговаривать», *веретельница* — «плетеная корзина из прутьев, бересты или драпки с одной или двумя ручками для хозяйственных нужд» и т. п.

Очень ценно, что ботанические названия сопровождаются приведением их латинских эквивалентов. Например, *оволец* — «растение горчак полулучий, *A. геренс* L», *багула* (*бозула*) — «отравляющее растение с мелкими белыми цветами, растущее на болотистых местах, обладающее сильным запахом, *Filipendula ulmaria* (L.)». Это позволяет народные названия ставить в ряды литературных обозначений растений.

Как положительное качество словаря следует отметить богатство иллюстративных материалов за исключением тех случаев, когда составитель был ограничен количеством записей, например, о словах насытого фонда.

Словарь включает большое количество многозначных слов, например, *байна*, *байник*, *бегать*, *беда* и мн. др., словарные статьи дают развернутую систему значений.

Интересно отражаются некоторые этнографические сведения, причем не только в самих определениях, которые лаконичны, кратки, но в совокупности с иллюстрациями, которые содержат разного рода уточняющие детали. Например, *вера*² — «свадебный подарок во время сватовства». *Веру дают, если сеют за кого, дают подарок, потом когда они сойдутся, обратно отдается*. Эти подробности имеют значение не только для изучения языка, но и для этнографического быта северной деревни. Ср. также *венец*² — «свадебный обряд», *весновка* и ряд других.

Большой познавательный и теоретический интерес представляет разработка предлога *В*.

Составители словаря очень внимательны ко всем фактам языка. Для них нет несущественных явлений. Поэтому, когда встречаются примеры с неясной семантикой, эти примеры не исключаются из словаря, а приводятся со знаком вопроса как свидетельство необходимости дальнейших разысканий.

Большой интерес представляет материал, показывающий употребление в народной речи устойчивых сочетаний. Например, \diamond *вареная соль* — «соль, приготовленная ручным способом из воды путем выпаривания», \diamond *вареное масло* — «олифа».

В словаре богато представлена народная фразеология: *на видок видать* — «очень хорошо видно», *остаться на бублях* — «остаться ни с чем, на бобах» и др.

Подробно разработана грамматическая характеристика слова.

Ценным представляется показ реально встречающихся в языке безударных форм (без подравнивания под литературный вариант): *барышной*, -а(я), о(е), *банный*, -а(я), -о(е), *безматерной*, -а(я), -о(е), *безменной*, -а(я), -о(е), *белоплотой*, -а(я), -о(е), *белорукой*, -а(я), -о(е), *великой*, -а(я), -о(е), *вересковой*, -а(я), -о(е) и др.

Обращается внимание на стилистическую характеристику лексики. Применяются пометы стар. «старое», нов. — «новое», бран. — «бранное», пренебр. — «пренебрежительное», экспресс. — «экспрессивная», нейтр. — «нейтральная», детск. — «детское».

Интересно и серьезно решается в словаре проблема ареалов слов и значений. Естественно, что «все слова, включенные в АОС, снабжаются географическими (территориальными) пометами, т. е. указаниями на территорию Архангельской

области (район, населенный пункт), где данное слово (данное значение, оттенок значения слова) зафиксировано» [вып. 1, с. 46]. Вместе с тем после всех иллюстраций на каждое из значений слова приводится исчерпывающая географическая информация — «...все районы и населенные пункты области, в которых записаны примеры употребления слова в данном значении» [вып. 1, с. 46].

Это делает данный словарь важным документированным источником изучения не только лексико-семантической системы архангельских говоров нашего времени, но и проблемы ареальности лексики в пределах данного региона — наиболее слабого звена в изучении диалектной лексики.

При таком подходе к изучению материалов АОС может быть ценным источником для регионального Лексического атласа и общего Лексического атласа. По существу он близок к осуществлению идеи словаря-атласа, по крайней мере для основных звеньев словарного состава говоров, которую Б. А. Ларин считал актуальной для славянской диалектологии [2]. Проект словаря предусматривает в отдельных случаях составление карт-схем, которые, однако, по техническим, видимо, причинам пока не применялись.

Архангельский областной словарь удачно построен. Он отражает все особенности народного языка, включая и акцентологическую систему.

Отдельные недочеты носят лишь частный характер.

В небольшой рецензии нет возможности всесторонне рассмотреть все детали этого содержательного словаря. Поэтому подчеркнем лишь ту главную мысль, что АОС является запечатленной в народном языке энциклопедией материального и духовного мира Русского Севера.

Вперед у составителей еще большой путь. Пожелаем им успешного осуществления этого чрезвычайно ценного издания, пожелаем сохранить верность выработанным принципам и индивидуальность исключительно ценного труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гецова О. Г.* Проект Архангельского областного словаря. М., 1970.
2. *Ларин Б. А.* Опыт областного словаря-атласа // Слово в народных говорах русского языка. Л., 1962. С. 136.

Попов И. А.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

7—9 сентября 1988 г. во Фрунзе проходила V Всесоюзная тюркологическая конференция (ВТК)¹. Она была организована Отделением литературы и языка АН СССР, Отделением истории АН СССР, Советским комитетом тюркологов при ОЛЯ АН СССР и Академией наук Киргизской ССР. В ее работе приняли участие ученые всех тюркоязычных республик и областей, тюркологи Москвы, Ленинграда, Новосибирска; всего свыше четырехсот представителей научных учреждений и вузов из 40 городов нашей страны. Традиционно на конференции были представлены результаты научных исследований в области языкознания, литературоведения, фольклористики, этнографии и истории тюркских народов. Всего было прочитано свыше 350 докладов. Тезисы планировавшихся докладов были опубликованы к началу конференции отдельным изданием (41,7 п. л.); см. [1].

Конференция открылась вступительным словом председателя Оргкомитета ВТК заместителем Председателя Совета Министров КиргССР Р. И. Отумбаевой. Президент АН КиргССР акад. АН СССР Н. П. Лавров обратил к ее участникам с приветственным словом. На открытии конференции выступили народный писатель Киргизии, акад. АН КиргССР, акад. Европейской Академии наук, искусств и литературы, акад. Всемирной Академии наук и искусств Ч. Т. Айтматов и председатель Советского комитета тюркологов чл.-корр. АН СССР Э. Р. Теишев.

Выступление Ч. Т. Айтматова привлекло внимание собравшихся неординарным и заинтересованным взглядом большого писателя и общественного деятеля на место и назначение тюркологии в советской науке. Остановившись на тесней-

ших связях двух крупных этносов нашей страны — славянского и второго по численности, примыкающего к нему исторически, тюркского этноса, Ч. Т. Айтматов отметил огромный вклад русских ученых в становление и развитие тюркологии «как науки опознания эстетических особенностей, культурно-этнических особенностей тюркских народов».

Говоря о достижениях тюркологии, Ч. Т. Айтматов высказал пожелание усилить исторический аспект тюркологических исследований «с тем, чтобы мы могли бы видеть свое прошлое из большей глубины, чем это есть сейчас».

Ч. Т. Айтматов особо подчеркнул важность раскрытия, возрождения, возвращения выдающихся памятников тюркской письменности. Такие великие творения древности, как орхоно-енисейские надписи («которые еще далеко не осмыслены нами достойно, крупным образом»), «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского, энциклопедический труд Махмуда Кашгары «Дивану лугат-ит-турк» и некот. др., были общетюркским достоянием, поэтому тюркские народы, в частности народы среднеазиатского региона, свою письменность, начало своей письменной культуры возводят к этим памятникам. По мысли писателя, такой памятник, как «Кутадгу билиг», должен быть переведен на соответствующую современную графику всех тюркоязычных народов, и его изучение должно входить в школьные программы и учебники, как и сведения о великом филологе XI в. Махмуде Кашгары. По мнению Ч. Т. Айтматова, древнетюркская литература, орхоно-енисейские надписи не должны быть предметом занятий только узкого круга специалистов, но должны стать общедоступным достоянием народа, особенно молодежи, т. е. изучаться как языковой и исторический памятник уже в школе.

Эти мысли Ч. Т. Айтматова представляются особенно актуальными потому, что в результате деформации национальной политики в годы культа, когда произвольно меняли алфавиты и подвергали репрессиям не только целые народы, но

¹ Первая тюркологическая конференция состоялась в 1926 г. в Баку, вторая — в 1976 г. в Алма-Ате (см.: ВЯ. 1977. № 4), третья — в 1980 г. в Ташкенте (ВЯ. 1981. № 4), четвертая в 1985 г. в Анхабаде (ВЯ. 1986. № 6).

и их творения, в том числе и памятники устно-поэтического творчества («Манас», «Идегай», «Гэсэр» и др.), многие народы были «отлучены» от своего многовекового духовного наследия.

«Сейчас, когда советское общество пересматривает всю свою историю, все свое современное состояние...», — сказал Ч. Т. Айтматов, — наша тюркологическая наука... должна воспрянуть, должна снова возродиться, потому что не секрет, что в годы сталинских репрессий, в годы застоя эта наука понесла огромные потери... она в какой-то степени оказалась в тушниковом положении». Об этом тушниковом состоянии, верно отмеченном Ч. Т. Айтматовым, на наш взгляд, красноречиво свидетельствует и «перерыв» в пятьдесят лет (!) между первой (1926) и второй (1976) ВТК. По мысли Ч. Т. Айтматова, наша тюркология страдает определенным провинциализмом, что является следствием самозамыкания, заторможенного развития науки в известный период нашей истории.

Ч. Т. Айтматов считает, что тюркологическая наука сейчас должна пережить свое второе рождение. Он сказал, что на таком небольшом участке тюркологического мира, каким является Киргизия, тоже предпринимаются попытки восполнить «белые пятна», вернуть имена людей, в частности Касыма Тыныстанова, Молдо Кылыча, которые были, есть и остаются национальным культурным достоянием, без которого киргизы не мыслят себя как нация, как народ, имеющий свой язык, свою культуру, свою историю.

В заключение Ч. Т. Айтматов подчеркнул, что тюркологии необходимо «расширить свои интеллектуальные и познавательные возможности». Тюркологи нашей страны должны учитывать опыт и уровень достижений своих зарубежных коллег и налаживать с ними контакты и сотрудничество.

Приветствуя участников V ВТК от имени Советского комитета тюркологов и редколлегии журнала «Советская тюркология», чл.-корр. АН СССР Э. Р. Тенишев кратко охарактеризовал наиболее diskutируемые проблемы, вынесенные на обсуждение конференции, в частности вопросы изучения и возрождения классического наследия и фольклорных памятников. Особенно он выделил «Манас» — величайшее творение, которому нет равного среди эпосов мира, полмиллиона строк ... можно сказать, еще не открывшее свою тайну, ждущее своих исследователей». Э. Р. Тенишев подчеркнул, что решение целого ряда вопросов, имеющих прямое отношение к истории тюркоязычных народов нашей страны,

весьма важно также для зарубежной тюркологии.

К. М. Мусаев (Москва) внес предложение послать от имени участников V ВТК приветствия аксакалам-тюркологам: П. А. Азимову, М. Б. Балакаеву, Н. А. Баскакову, С. К. Кенесбаеву, Э. Н. Наджишу, Е. И. Убратовой и М. Ш. Ширалиеву.

Участники конференции поздравили с юбилеем М. З. Закиева и Т. М. Гарипова. Затем состоялось выступление Народного артиста СССР акына-импровизатора Э. Турсуналиева.

В продолжение первого пленарного заседания было заслушано три доклада: «Состояние и перспективы развития тюркского языкознания в СССР» — И. В. Кормушич, К. М. Мусаев (Москва), акад. АН КиргССР Б. О. Орузбаева (Фрунзе); «Итоги и задачи изучения этнических и историко-культурных связей тюркских народов СССР» — чл.-корр. АН ТССР С. Г. Агаджанов, Т. А. Жданко, Ш. Ф. Мухамедьяров (Москва), акад. АН КиргССР С. Т. Табышалиев (Фрунзе); «К вопросу о происхождении киргизского народа и его языка» [2], «О литературном языке киргизов донационального периода» [3] — чл.-корр. АН СССР Э. Р. Тенишев.

Секция языкознания работала в составе 9 подсекций: исторической грамматики, истории литературных языков, монголистики, морфологии (две подсекции), синтаксиса, проблем двуязычия и многоязычия, терминологии и ономастики, фонетики.

Всего было прочитано 175 докладов (включая доклады на открытии конференции). В целом достаточно хорошо были соотнесены темы широкого, общетеоретического плана и конкретные исследования, реализующие теорию или стремящиеся к этому. В разработке отдельных проблем были охвачены практически все тюркские языки. При этом особо следует отметить внимание к языкам малочисленных народов, и это объясняется не только стремлением ученых включиться в решение национальных проблем, но и тем, что изучение этих языков значительно обогащает общетюркологический фонд знаний любого исследователя.

Хорошо было продумано представительство на конференции всех национальных центров советской тюркологии. Очень важно, что в конференции приняло участие много молодых ученых, уже делающих уверенные шаги в науке и вселяющих надежду в представителей старшего поколения.

Несомненна принципиальная научная

значимость докладов, которые были вынесены на открытие конференции и пленарное заседание секции языкознания. Представляется полезным дать краткий обзор проблематики докладов, прочитанных на перечисленных выше подсекциях.

Для подсекции «Историческая грамматика» наиболее важной оказалась разработка принципов создания исторической грамматики младописьменных языков или тех языков, в работе над которыми создание исторической грамматики еще только выдвигается как большая, чаще всего коллективная тема, в которую органично должны вписаться и исследования отдельных подсистем языка.

В подсекции «История литературных языков» обсуждались проблемы, связанные с принципиальным разграничением объекта исследования — литературного языка и выделением его из истории общепароходного языка. Здесь также состоялся важный разговор о принципах разработки истории литературных языков, методах анализа и интерпретации литературных памятников, типологии литературных языков и т. д., хотя, следует сказать, не все доклады непосредственно соотносились со спецификой тематики именно данной подсекции.

На подсекции «Монголистика» были в основном представлены доклады по комплексному рассмотрению лингвистических и филологических вопросов, что не могло не вызвать интереса, поскольку собственно филологический аспект изучения языка литературного пронаведения во многом утрачен в силу разведения ученых по интегрирующим наукам — языкознанию и литературоведению.

Доклады подсекции «Морфология» в силу объективной многоаспектности этой сферы языка были посвящены очень разным проблемам, среди которых следует отметить прежде всего доклады общетеоретической направленности. В них подчеркивалась значимость творческого освоения идей современной лингвистики, необходимость более корректной организации понятийного аппарата и внимания к терминологии, чтобы избежать появления разных вариантов метаязыка исследования.

В секции «Синтаксис» основное внимание занимали проблема структуры предложения, в том числе и усложненной структуры, в интерпретации которой заметную роль начинает играть новосибирская школа тюркологов-лингвистов. Продолжаются поиски в сфере структурно-семантического моделирования тюркского предложения. К сожалению, проблемы коммуникативного синтаксиса еще мало привлекают внимание тюркологов, если судить по тематике докладов этой подсекции.

Актуальным и значительным проблемой социолитературистики была посвящена работа подсекции «Проблемы двуязычия и многоязычия». Следует отметить стремление выработать теоретически обоснованные позиции, на основе которых в настоящее время приходится решать жизненно важные вопросы языковой политики, которая нуждается в точном знании языковой ситуации, умения ее прогнозировать и корректно учитывать в практике общественной и народно-хозяйственной жизни нашей страны.

В подсекции «Терминология и ономастика» были представлены как доклады теоретической направленности, так и поставлены конкретные вопросы об источниках и путях развития терминологии в тюркских языках. Следует подчеркнуть растущий научный интерес к инженерно-компьютерному аспекту терминологической работы и исследований по ономастике.

Подсекция «Фонетика» обсуждала обширный круг проблем — вопросы общетеоретического характера (например, сущность тюркской просодии), вопросы экспериментального исследования фонетической системы, причем существенно, что в интерпретации данных такого анализа сделан важный шаг в диахронию. Следует отметить значимость докладов, которые были посвящены реконструкции фонетической системы младописьменных языков.

Конференция не только познакомила широкую научную общественность с итогами тюркологических исследований последних лет, но и была полезной для научного общения большого коллектива тюркологов, дала возможность оценить состояние разных областей тюркологии, соотнести результаты своей личной работы с теми задачами, которые стоят перед ней, почувствовать необходимость непрерывных усилий и творческого труда, чтобы быть на уровне требований, предъявляемых сейчас любой наукой.

Можно сделать некоторые замечания по работе лингвистической секции.

В развитии тюркологии при всем ее количественном и качественном росте заметна замкнутость в границах частных языкознаний. В этом можно усматривать определенную опасность, если это станет тенденцией. Все научные достижения на материале отдельных тюркских языков должны становиться общим достоянием. Необходимо стремиться к тому, чтобы в тюркологии развивалось интегрирующее начало, а им может быть только теория, и задача ученых — всемерно развивать ее во всех сферах тюркологических исследований. Представляется, что и на данной конференции число теоретически ориентирующих, более глубоко

раскрывающих лингвистическую теорию докладов могло быть и больше, и это пожелание хотелось бы видеть реализованным на следующей конференции.

Тюркологические конференции, подобные проведенной, — это напряженная работа. Чтобы она была более продуктивной, как кажется, следует подумать о совершенствовании ее организации. Работа подсекции проходила в жесточайшем цейтноте, большинство докладчиков смогли поделиться лишь малой частью добытых результатов, оставив за пределами докладов аргументацию, языковые факты. Кроме того, синхронная работа подсекции не дала возможности познакомиться с докладами других секций и подсекций. Следует что-то менять в организации таких конференций. Здесь может быть предложена концентрация наиболее значимых теоретических вопросов с их последующим обсуждением. Желательным представляется усиление дискуссионного компонента таких научных форумов.

9 сентября в рамках V ВТК был проведен Всесоюзный симпозиум по эпосу «Манас» (см. [1]). Вступительное слово провнес председатель симпозиума Ч. Т. Айтматов, охарактеризовавший «Манас» как «сгусток духовной, творческой энергии народа». Затем состоялись выступления акынов, манасчи. Состязания акынов сопровождалась пояснениями Ч. Т. Айтматова, который подавал им реплики и вступал с ними в диалог. Накал вдохновения акынов, накал, близкий к экстазу, передавался всему залу. Это было незабываемое, уникальное переживание!

На заключительном пленарном заседании были заслушаны доклады чл.-корр АН КиргССР В. М. Плоских (Фрунзе) «К вопросу о дореволюционной киргизской письменности» и Ю. С. Ху-

дякова (Новосибирск) «Киргизы в Центральной Азии».

Затем состоялось подведение итогов работы конференции, были заслушаны отчеты руководителей секций. С анализом работы секции языкознания выступила Э. А. Грунина (Москва). От имени лингвистов — участников конференции она выразила сердечную благодарность ее организаторам. Все выступавшие отметили высокий уровень организации работы V ВТК и насыщенный, познавательный характер ее культурной программы.

Д. М. Насилов (Ленинград) огласил текст резолюции конференции, который был принят с целым рядом дополнений и поправок. Было высказано пожелание придать форуму советских тюркологов статус Международной конференции. Остается выразить надежду, что резолюция V ВТК будет реально воплощена в жизнь, и участники VI ВТК, которая состоится в 1992 г. в Казани, смогут оценить, насколько наша тюркологическая наука продвинулась в решении своих актуальных исследовательских задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тюркология—88: Тез. докл. и сообщ. V Всесоюзной тюркологической конференции (7—9 сентября 1988 г.). Фрунзе, 1988.
2. Тенишев Э. Р. К вопросу о происхождении киргизского народа и его языка // СТ. 1989. № 4.
3. Тенишев Э. Р. О киргизском литературном языке в донациональный период // ВЯ. 1989. № 5.

Грунина Э. А., Галимова Г. А.
(Москва),
Конкобаев К. (Фрунзе)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» в 1989 г.

СТАТЬИ

Апресьян Ю. Д. О работах И. Е. Аничкова по идиоматике	6
Баранов А. Н. Аксиологические стратегии в структуре языка (паремиология и лексика)	3
Боголюбов М. Н. Иранские названия Утренней звезды	4
Бомхард А. Р. Очерк сравнительной фонологии так называемых «ностратических» языков	3
Бондарко Л. В. Фонетический фонд современного русского языка	3
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения	3
Векшин Г. В. К проблеме суперсегментной организации стиха (Лингвостететический аспект)	6
Винтер В. Некоторые мысли об индоевропейских числительных	4
Гиппиус А. А. Система формальных признаков языка древнерусской письменности как предмет лингвистического изучения	2
Гринберг Дж. Х. Предыстория индоевропейской системы гласных в сравнительной и типологической перспективе	4
Гуревич В. В. Модальность, истинное значение, референция	6
Десицкая А. В. О понятии вторичного генетического родства и о его значении для исследования проблем балканистики	6
Еськова Н. А. К интерпретации некоторых фактов русской глагольной морфологии	5
Зиндер Л. Р. Несколько слов о междуровневых дисциплинах	3
Зиндер Л. Р., Касевич В. Б. Фолема и ее место в системе языка и речевой деятельности	6
Калиньш Л. Э., Клепикова Г. П. К вопросу о значении многоязыковых атласов для изучения славянского диалектного континуума (На материале ОЛА и ОКДА)	3
Касаткин Л. Л. Одна из тенденций развития фонетики русского языка	6
Кибрик А. Е. Типология: таксономическая или объяснительная, статическая или динамическая	1
Кияк Т. Р. О видах мотивированности лексических единиц	1
Климов Г. А. Рефлекс индоевропейского ларингального в карельских языках?	6
Князев Ю. П. Конструкции с русскими причастиями на -и, -т в семантической классификации предикатов	6
Кривонос Б. А. О соотношении единиц языка и форм мышления	1
Ли Тоан Тханг. К вопросу о пространственной ориентации во вьетнамском языке в связи с картиной мира (Этнопсихолингвистические проблемы)	3
Лихачев Д. С. О готовящемся издании трудов по языкознанию И. Е. Аничкова	6
Майрхофер М. О принципах составления древнеиндоарийского этимологического словаря	2
Маслова В. А. К построению психолингвистической модели коннотации	1
Матвеев А. К. Субстратная микропонимия как объект комплексного регионального исследования	1
Медведева Л. М. Типы словообразовательной мотивации и семантика производного слова	1
Мурясов Р. З. Словообразование и теория номинализации	2
Оде С. Сопоставление русской и голландской интонационных систем: перцептивный и лингвистический анализ	4
Откупщиков Ю. В. К вопросу об огласовке корня латинских сигматических форм	6
Падучева Е. В. Идея всеобщности в логике и в естественном языке	2

Панов М. В. Лингвистика и методика преподавания русского языка . . .	1
Петренко В. Ф., Нистратов А. А., Романова Н. В. Рефлективные структуры обыденного сознания (На материале семантического анализа фразеологизмов) . . .	2
Плугин В. А. К определению результата (универсальна ли связь результата и определенности?) . . .	6
Полинская М. С. Порядок слов «объект — субъект — глагол» . . .	2
Рахилина Е. В. Отношение причины и цели в русском тексте . . .	6
Родионов В. А. «Цельносистемная типология» vs. «частная типология» . . .	1
Степанов Ю. С. Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках . . .	4,5
Тарланов З. К. О лексико-синтаксическом изоморфизме в истории языка . . .	1
Татарницев Б. И. К согласованию ностратической теории с результатами изучения тюркских языков . . .	3
Тенишев Э. Р. О киргизском литературном языке в донациональный период . . .	5
Топорова Т. В. Проблема оригинальности: готские сложные слова и фрагменты текста . . .	1
Ходорковская Б. Б. К проблеме корневого вокализма индоевропейского сигматического аориста (Вокализм сигматических образований глагола в латинском языке) . . .	6
Хурьх Б. Фонетика и фонология или фонология и фонетика . . .	3
Чижевский Ф. Фонологические системы гласных в украинских владарских говорах . . .	5
Чрешавицки К. Т. К типологическому изоморфизму баскского и иберийско-кавказских (грузинского, бацбийского, кубачинского) языков . . .	6
Шервашидзе И. Н. Фрагмент общетюркской лексики. Заимствованный фонд . . .	2
Шмидт К. Х. Относительная хронология и картвельские языки . . .	4
Щека Ю. В. Гармонема и тактема как интонологические единицы и их особенности в турецкой разговорной речи . . .	5

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Виноградов В. В. Из истории слов . . .	4
Гиндин С. И. Представления о путях развития языка русской поэзии в канун XX в. . .	5
Лаптева О. А. Мысли Виктора Владимировича Виноградова о социальных и личностных факторах речи в связи с теорией литературного языка . . .	4
Флоренский П. А. Термин . . .	1,3
Юшманов Н. В. Этюды по общей фонетике на материале неиндоевропейских языков (Из трехлетней переходящей темы «Стадиальная фонетика» 1940—1942 гг.) . . .	5

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Гак В. Г. К типологии форм языковой политики . . .	5
Демьянков В. З. Теория языка и динамика американской лингвистики на страницах журнала «Language» (К 65-летию основания журнала) . . .	4
Трубачев О. Н. О работе секции языковедения X Международного съезда славистов . . .	3

Рецензии

Алексеев А. А. Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков . . .	4
Алексеев М. Е. Studies in ergativity . . .	1
Бахиян К. В., Семчинский С. В. Дикционар експликатив ал лимбий молдовенешть . . .	6
Белошапкина В. А. Черемисина М. И., Колосова Т. А. Очерки по теории сложного предложения . . .	5
Блинова О. И., Телия В. Н., Шаховский В. И. Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. Проблемы семантики . . .	5
Богданов С. И., Голубева А. В., Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка . . .	

Верещагин Е. М. <i>Gröber B., Müller L. Vollständiges Wörterverzeichnis zur Nestorchronik</i>	2
Виноградов В. А. <i>Noun classes and categorization</i>	2
Живов В. М. <i>Studia slavica mediaevalia et humanistica Riccardo Picchio dicata</i>	2
Журавлев В. К., Климов Г. А., Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии	4
Золн С. Т. <i>Колесникова Н. А. Словоупотребление в русской поэзии начала XX века</i>	5
Зубкова Л. Г. <i>Маковский М. М. Лингвистическая комбинаторика</i>	4
Колосова Т. А. <i>Шурев Е. Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке</i>	5
Кондрашов Н. А. <i>Lamprecht A. Praslovanština</i>	6
Крыси Л. П. <i>Словарь иностранных слов</i>	5
Кубрякова Е. С. <i>Ulrich M. Thetisch und Kategorisch. Funktionen der Anordnung von Satzkonstituenten am Beispiel des Rumänischen und anderer Sprachen</i>	3
Куркина Л. В. <i>Rigler J. Rasprave o slovenskem jeziku</i>	3
Лейчик В. М., Шедов С. Д. <i>Ишкитина С. Е. Семантический анализ языка науки</i>	3
Маковский М. М. <i>Althochdeutsches Glossenwörterbuch</i>	1
Маясия Н. С. <i>Butler Chr. Statistics in linguistics</i>	1
Моисеев А. И. <i>Милославский И. Г. Краткая практическая грамматика русского языка</i>	4
Мокиенко В. М. <i>Л. А. Булаховский и современное языковедение. К 100-летию со дня рождения. Сборник научных трудов</i>	6
Московой В. А. <i>Храковский В. С., Володин В. А. Семантика и типология императива. Русский императив</i>	1
Мусаев М. С.-М. <i>Хайдаков С. М. Даргинский и мергеский языки. Принципы словоизменения</i>	1
Нелюбин Л. Л. <i>Автоматизация анализа научного текста</i>	3
Орел В. Э., Осипова М. А. <i>Етимологичний словник літвинських географічних назв Південної Русі</i>	1
Попов И. А. <i>Архангельский областной словарь</i>	6
Резвина О. Г. <i>Именные классы в языках Африки</i>	2
Розенберг Я. Я. <i>Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība. Latviešu literāras valodas vēstures pētījumi</i>	4
Ромбандеева Е. И. <i>Munkácsi — Kálmán. Wogulisches Wörterbuch</i>	1
Скредлина Л. М. <i>Аласова Т. Б., Репина Т. А., Тариердиева М. А. Введение в романскую филологию</i>	5
Цвиллинг М. Я. <i>Чернов Г. В. Основа синхронного перевода</i>	6
Шарынкин С. Я. <i>Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период</i>	5
Шаховский В. И. <i>Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц</i>	4
Шмальstieg У. Р. <i>Сазокия М. М. Посессивность, переходность и эргативность. Типологическое сопоставление древнеперсидских, древнеармянских и древнегрузинских конструкций</i>	3
Щербак А. М. <i>Doerfer G. Mongolo-Tungusica</i>	6

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Николаева Т. М., Розанова Н. Н. <i>О деятельности Постоянной Комиссии по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР</i>	3
Хроникальные заметки	1,2,3,4,6
<u>Академик Б. А. Серебрянников</u>	4

Технический редактор *Н. Н. Беллева*

Сдано в набор 29.08.89	Подписано к печати 11.10.89	Формат бумаги 70×100 ^{1/2}
Высокая печать	Усл. печ. л. 13,0	Усл. гр.-отт. 72,8 тыс.
Тираж 5332 экз.	Зап. 3389	Уч.-изд. л. 15,5
		Бум. л. 5,0
		Цена 1 р. 60 к.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волкова, 18/2. Институт русского языка.
Тел. 203-00-78

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6